

ЖУРНАЛ «ЛЕХАИМ»

ИЮНЬ

2012г.

СИВАН

5772

N 6(242)



ЛЕХАИМ 6/242
выходит с 1991 года

Главный редактор
Борух Горин

Административный директор
Яков Ратнер

Ответственный секретарь
Елена Калло

Художественный редактор
Евгения Черненко

Выпускающие редакторы
Лариса Беспалова, Ишайя Гиссер, Галина Зеленина, Александр Иличевский,
Ирина Мак, Афанасий Мамедов, Йеуда Рабейко, Михаил Эдельштейн

Помощник художественного редактора
Дмитрий Кобринский

Корректор
Виктория Рябцева

Авторы макета
Андрей Бондаренко
Дмитрий Черногаев

Переводчик
Ишайя Гиссер (с. 14)

Художники
Павел Шевелев (с. 42) Дмитрий Шeviонков-Кисмелов (с. 76)

Фотографы
Александр Ларцев (с. 1), Jay Wolke (с. 4), Rafael Herlich (с. 7), Susan Harris (с. 15), из личного архива Товы Альтгойз (с. 22, 25, 29–31), Николай Бусыгин (с. 38, 52), Гали-Дана Зингер (с. 53), из личного архива Эли Авиви (с. 56), Вадим Бродский (с. 59, 61, 127–128), Эрнест Аранов (с. 62, 86), Катя Сытник (с. 105), Paweł Eibel (с. 119), Katarzyna Paletko (с. 120)

Фото предоставлены агентствами
РИА «Новости» (с. 11, 98)
Фотобанк ООО «Библиотека изображений» (с. 47)
AFP/East News (с. 122, 124)
PhotoXPress (с. 125)

На обложке
Пленные солдаты египетской армии во время Шестидневной войны
(фрагмент)
Фото Cornell Сара, 1967 год

Подписано в печать 14.05.12.
Формат 60×90/8. Тираж 30 000 экз.
Объем 16 печ. л. Цена договорная
ISSN 0869-5792

*Журнал «Лехаим» зарегистрирован в Комитете РФ по печати,
регистрационный номер 01126 от 22.05.92*

© «Лехаим», 2012

Адрес редакции: 127018, Москва,

2-й Вышеславцев пер., 5а.

Тел.: (495) 710-88-03

E-mail: [@](mailto:lechaim) lechaim.ru

Internet: <http://www.lechaim.ru/>

*За содержание рекламных материалов и кошерность рекламируемых
продуктов редакция ответственности не несет.*

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»

143200, г. Можайск, ул. Мира, 93

Сайт: <http://www.оаомпк.ru>, <http://www.оаомпк.рф>

Тел.: (495) 745-84-28, (49638) 20-685

КОЛОНКА РЕДАКТОРА



О Хаиме Граде часто говорили, используя превосходную степень: «самый знаменитый», «самый талантливый», «самый глубокий». И поскольку всегда эта характеристика была оценочной, то так или иначе оказывалась спорной. Был ли он самым знаменитым еврейским писателем своего времени? Конечно, нет. Не только братья Зингер, но и гораздо менее одаренный Шолом Аш публике были известны куда больше. Была ли его проза самым увлекательным чтением? О нет. Уголовные романы Опатошу значительно динамичней.

Молва назначила его вечным соперником Башевису. Этому поспособствовала и жена Граде, Инна, не скупившаяся на ушаты помоев на голову единственного писавшего на идише нобелевского лауреата. Да и сама жизнь развела их в разные стороны. Башевис успел все то, что Граде упустил. Первый перебрался из Варшавы в США как раз вовремя, за четыре года до конца света. Второй бежал из Литвы в глубь СССР, когда немцы уже подходили к Вильнюсу. Башевиса отъезд из «алтер гейм» разлучил с идеологически чуждой женой, предпочитавшей суровое царство восточного тирана веселому оскалу Дядюшки Сэма. Граде во время бегства оставил обессилевшую возлюбленную, как оказалось, на страшную смерть.

Добравшись наконец до Башевисовой Америки, Граде все равно остался там, в не разрушенной еще Вильне, с ее еврейскими молельнями в кривых переулках, ее большой любовью и мелкой ненавистью, великими знаниями и убогими скандалами. А для Башевиса Польша осталась его молодостью, и только. Оттого его Варшава — не совсем его, она скорее литературный вымысел, а Вильна Граде — оттиск безусловной реальности, его реальности.

Башевис мог позволить себе со стороны рассматривать обезумевших, потерявших все, несчастных выживших. Граде же был одним из них — тех, кого с прошлым связывают только воспоминания, потому что больше от прошлого ничего не осталось.

В литературном процессе, конечно, много случайностей. Но в том, что главным американским еврейским писателем стал Башевис, а не Граде, на мой взгляд, ничего случайного нет. Башевис хотел и знал, как понравиться американской публике. А Граде в Америке, похоже, хотел лишь одного: вопреки действительности продлить жизнь выкорчеванному — нет, не райскому саду, но родному дому.

Именно Хаим Граде увековечил две легендарные страницы еврейской истории. Благодаря Рембрандту мы знаем, как выглядел еврейский Амстердам. Шедевры Граде навсегда сохранили облик литовского Иерусалима — Вильны и литовского Явне — Новогрудка. «Немой миньян», «Мамины субботы», «Брошенная жена» — великий некрополь великому городу, и «Цемах Атлас» — памятник новогрудской ешиве Хазон-Иша. Что-то мы уже издали, остальное обязательно издадим, и читатель, уверен, поймет, почему творчество Граде сравнивают со свитками Мертвого моря.

ПИСЬМА О ВОСПИТАНИИ

לְיָתוֹרָא אֵלֶיךָ יְיָ אֱלֹהֵינוּ



20 אָבָבָא II 5736

<...> Что касается Вашей дочери — думаю, нет нужды говорить, что Вы должны сделать все, что в Ваших силах, чтобы ее образ жизни был достоин еврейской девушки, дочери Сары, Ривки, Рахели и Леи[1]. Это звание — не просто красивая фраза, но, как любое, освященное временем и традицией еврейское высказывание, несет многоуровневую смысловую нагрузку. Во-первых, каждой еврейской девушке с рождения присущи качества праматерей нашего народа. А во-вторых, от нее ждут проявления этих качеств в жизни и повседневном поведении.

Что касается идеи послать ее в Страну Израиля, то следует связаться с официальными организациями, которые этим занимаются. Однако в первую очередь следует убедиться, что для нее это будет подходящим решением, поскольку, возможно, лучше попробовать записать ее в хорошую [местную] школу, пронизанную духом еврейской традиции. Постарайтесь решить, где ей будет лучше, в Иерусалиме или в США. Друзья-хабадники, о которых Вы упомянули в своем письме, несомненно, будут рады дать Вам хороший совет, насколько это в их силах.

Вне всякого сомнения, нет нужды распространяться о необходимости следовать Торе и заповедям в повседневной жизни. Хотя делать то и другое следует бескорыстно, это надежный способ удостоиться благословения своим деяниям. Когда речь идет о добродетели и святости, о Торе и заповедях, всегда есть место для роста! <...>

7ÀÀÀÐÀ 5721

<...> Я получил письмо, в котором Вы сообщаете об уже полученном образовании и о сегодняшней учебе, а также о Вашем желании поступить в ешиву с продолжительным сроком обучения.

Вне всякого сомнения, это очень хорошая идея, поскольку учеба в ешиве — это не только возможность приобрести глубокие познания в Торе, хасидизме и этике, но и благоприятная <для религиозного еврея> среда, чье влияние во всем, связанном с повседневной жизнью, не менее важно, чем регулярные занятия. Ведь в конечном счете главное не рассуждения, а поступки, как сказано в Мишне[2] и как неоднократно говорили наши мудрецы.

Я уверен, что Вы уже привели Вашу повседневную жизнь в соответствие с Торой, которую называют Торой Жизни, — и это относится как к обыденной жизни, так и к заповедям, согласно которым живут евреи. Было бы хорошо, если бы у Вас возникло желание предпринять в этом направлении дополнительные усилия, поскольку всегда есть что улучшить, когда речь идет о Торе и заповедях, чей источник — Всевышний, называемый Эйн-Соф («Бесконечный»). <...>

5ÒÈÒÐÀÐ 5721

<...> Вы совершенно правы, полагая, что для Вас лучше будет учиться в ешиве, расположенной в другом городе, в соответствии со словами Мишны: «Отправляйся туда, где изучают Тору...»[3] Желательно предпринять этот шаг, даже если он сопряжен с определенными трудностями. Тем не менее Вам стоит написать в ешиву или попросить сделать это кого-либо из Ваших друзей [и навести справки], чтобы можно было понять, нельзя ли полностью или хотя бы частично решить проблемы заранее. <...>

5ÝÈÓËÀ 5710

<...> Я получил Ваше письмо от 7 августа, в котором Вы пишете о том, что высоко цените образование и воспитание, которое Ваш сын получил за четыре года учебы в ешиве, и признаете, что это лучшее, что могло с ним произойти, за что Вы глубоко мне признательны. Разумеется, благодарность в данном случае полагается не мне, а Всевышнему, который дал Вам столь замечательного сына, пожелавшего стать достойным «сосудом» для воспитания в истинном духе Торы и богобоязненности, корни которого — в учении хасидизма.

В свою очередь, Ваш сын заслуживает похвалы, поскольку на основе полученного воспитания смог осознать, что долг человека — двигаться вперед по пути, ведущему к святости, поднимаясь все выше и выше [в своем стремлении] к Бесконечному. Это особенно важно в юности, [когда человек находится в] наиболее восприимчивом возрасте. В это время правильное образование и воспитание дает наилучшие плоды, которыми он будет пользоваться на протяжении всей дальнейшей жизни.

Исходя из этого, а также из общего духа Вашего письма, я был искренне изумлен и разочарован, прочитав в конце письма, что Вы хотите остаться в городе N[4], что решительно противоречит тому, что Вы писали в начале! Это тем более странно, что Ваш сын только этим летом достиг возраста бар мицвы, с которого еврей обязан жить согласно Торе и соблюдать ее заповеди. И в этот критический момент Вы думаете о том, чтобы вырвать его из уже привычной среды и лишиться воспитания, которое принесло ему столько пользы, поскольку Вы и Ваша жена больше не можете жить в разлуке с сыном?!

Разумеется, я прекрасно понимаю чувства, которые испытывают родители в отношении своего ребенка, особенно такого, как Ваш. Жизнь вдали от него — серьезное испытание. Вместе с тем очевидно, что, когда речь идет о формировании характера и о воспитании, непродолжительная разлука на несколько лет — крайне незначительная вещь в сравнении с наградой, [полагающейся за это], а также с тем, чем рискуют в противном случае.

Я не хотел бы подробно писать о других сторонах этого дела, тем более что ваш ребенок перед отъездом сказал мне, что он поехал домой только после того, как мать обещала, что он вернется в ешиву в месяце тишрей. Думаю, не нужно объяснять, что утрата доверия и, как следствие, разочарование в родителях будут иметь долговременные последствия, как на сознательном, так и на бессознательном уровне, и невозможно предвидеть, к чему это приведет. Хотя одного этого [обещания] вполне достаточно, чтобы Ваш сын вернулся в ешиву.

Главное же в этом деле следующее: во все времена, и особенно в наши дни, следует делать все, чтобы уберечь ребенка от лишних кризисов, поскольку их, возникающих помимо нашего желания, и так более чем достаточно. Поскольку Ваш сын глубоко привязался к ешиве, вынес оттуда много хорошего, приобрел множество друзей среди соучеников и т. д., то нет сомнений: если забрать его оттуда и поместить в совершенно другую обстановку (даже наполненную Торой и богобоязненностью), это может вызвать кризис, как внешний, так и внутренний, затрагивающий самые глубокие уровни его души. А это может иметь очень тяжелые и долговременные последствия, упаси Б-г!

Кроме того, зная, как обстоит дело с религиозным образованием в N, я могу утверждать, что подходы, принятые здесь, в ешиве, и принятые там, существенно различаются. Поэтому переход, скорее всего, пройдет не слишком гладко и потребует от Вашего сына серьезно измениться или даже переломить себя — опыт, которому изначально не следует подвергать даже взрослого человека, а тем более ребенка, и особенно такого чувствительного, как Ваш сын.

Поэтому я хочу подчеркнуть, что Вам стоит еще раз тщательно обдумать, не лучше ли перетерпеть непродолжительную разлуку, чем рисковать физическим и особенно духовным благополучием сына. Вспомним также совет наших мудрецов: «Отправляйся туда, где изучают Тору...»[5] Исходя из личных наблюдений и жизненного опыта, могу заверить Вас, что родители, поступавшие в соответствии с этим советом, впоследствии, несмотря на принесенные ради этого жертвы, были щедро награждены, видя счастье и радость своих детей.

Я надеюсь, что Вы простите мне прямоту и откровенность, поскольку, лично зная и Вашего сына, и обстоятельства дела, я полагаю это своим долгом. Трудно переоценить важность его возвращения в Нью-Йорк, где в это время царит особая атмосфера, до Рош а-Шана, чтобы он мог быть со своими друзьями во время молитв и трапез и испытать вместе с ними религиозный подъем.

Я молюсь, чтобы правильное решение далось Вам без труда. Всевышний, несомненно, компенсирует Вам [горечь разлуки] радостью и счастьем, которые доставят Вам другие Ваши дети.

Наши мудрецы говорят, что заповедь Торы: «и внушай их детям твоим»[6] относится также и к ученикам[7]. И действительно, [в ешиве] к ученикам относятся как к собственным детям. Поэтому для меня будет большим облегчением узнать, что Вы приняли верное решение. <...>

23 NÈÁÀÌÀ 5718

<...> Я получил письмо, где Вы пишете о планах относительно дальнейшей судьбы Вашего сына и просите меня использовать все свое влияние, чтобы убедить его поступить в колледж.

Я думаю, Вы не станете спорить, что во всех, без исключения, случаях основным и неизменным условием счастливой жизни являются душевный покой, отсутствие внутренних конфликтов. Это было верно во все времена, но особенно верно в нашем поколении, живущем в полном чудовищных потрясений мире всеобщего замешательства, в атмосфере враждующих идей и идеологий. Ничто не свидетельствует о состоянии умов нынешней молодежи лучше, чем беспрецедентный бунт против общества, подростковая преступность и падение нравов. Все это — симптомы нашего смутного времени.

Соответственно, лучшее, что мы можем сделать для наших детей, — это постараться избавить их от внутренних конфликтов, а также привить им твердые религиозные и моральные принципы, чтобы они не стали жертвой дурного влияния других людей. Это особенно важно в критическом подростковом возрасте, когда формируется мировоззрение человека.

После этого краткого предисловия я возвращаюсь к тому, что Вы считаете проблемой: стремление убедить сына записаться в колледж и его опасения, связанные с этим. Я уверен, что он руководствуется исключительно достойными намерениями — желанием посвятить несколько лет изучению

Торы. В его возрасте заставить его отказаться от того, что наиболее соответствует его интересам, от того, что кажется ему правильным и священным, к чему он искренне, от всего сердца стремится, означает сильно расстроить его, нарушив тем самым его душевный покой. Даже если он никак не будет проявлять свое негодование, это чувство может развиваться на подсознательном уровне, что обычно гораздо опаснее. Кроме того, весьма сомнительно, что Ваши попытки заставить его изменить свою точку зрения будут успешны.

Наконец, насколько учеба в колледже пойдет ему на пользу? Вы полагаете, что высшее образование даст ему больше возможностей с точки зрения заработка. Однако на практике благодаря полученному образованию зарабатывает лишь небольшая часть выпускников колледжа. В конечном счете невозможно загадывать и строить планы на будущее, не беря в расчет Всевышнего. С одной стороны, Он — Творец мира, Его Провидение распространяется на всех и вся, и только от Него зависит чей-либо успех или неудача. С другой стороны, Он тот, кто дал нам Тору. Поэтому нелогична и невозможна ситуация, при которой у еврейского юноши, посвятившего несколько лет исключительно изучению Торы, меньше шансов преуспеть в этом мире в силу подобного выбора.

Как уже сказано, материальная выгода от учебы в колледже сомнительна. Вместе с тем, если выпускник ешивы несколько раз в неделю подвергается давлению враждебной среды, существует реальная опасность ситуации испытания, поскольку между ешивой и колледжем, где большинство студентов не евреи, а большинство студентов-евреев, к сожалению, не религиозны, колоссальная разница в общественном климате и идеологии. Студент не может избежать общения с другими студентами и преподавателями. Поэтому, даже если бы Ваш сын сам хотел учиться в колледже, было бы весьма проблематично советовать ему это, поскольку невозможно предвидеть все конфликты и опасности, с которыми это может быть связано. И коль скоро Вам повезло, что Ваш сын не стремится туда, но хочет посвятить себя учебе в ешиве, хочет оставаться в ее здоровой атмосфере, лишенной перечисленных выше проблем и противоречий, следует, вне всяких сомнений, поддержать его в этом мудром решении.

Разумеется, я знаю, что многие молодые люди посещают колледж параллельно с изучением Торы. Мне доводилось встречаться с ними, и я могу Вас уверить, что лишь немногим удастся пройти через это испытание, избежав болезненных внутренних конфликтов. Даже те из них, кто внешне выглядит «неповрежденным», не имеют душевного равновесия, и лишь немногие из тех, кто сочетал учебу в ешиве и колледже, смогли сохранить внешний и внутренний покой.

Я уверен, этих строк будет достаточно, чтобы Вы смогли понять, какую радость следует испытывать от того, что Ваш сын сам решил избежать западни и полностью посвятить себя учебе в ешиве. Вам следует всячески поддержать его в этом, чтобы он мог учиться, ни о чем не задумываясь, и со временем он станет для вас источником подлинного удовольствия, причем не только духовного, но и материального.
<...>



20 ÈÈÑÈÁÁÀ 5718

<...> Я получил Ваше письмо от 7 кислева. Что касается учебы в ешиве, то Вы совершенно правы, решив, что «если не сейчас, то когда»^[8], особенно в Вашем возрасте. Поскольку речь идет о вещах,

влияющих на всю Вашу дальнейшую жизнь, очевидно, что время, которое Вы, прежде чем заняться бизнесом, посвятите учебе в ешиве, является хорошим «вложением» и ни в коем случае не должно рассматриваться как потраченное зря, упаси Б-г!

Что же касается заработка, то он в конечном счете зависит от благосклонности Провидения, как сказано в молитве после трапезы: «Он дает пищу всякой плоти, ибо велика милость Его». Разумеется, необходимо приготовить «сосуд», способный принять посылаемое Свыше, однако прежде следует укрепить духовные основы дальнейшей жизни, что в Вашем случае означает посвятить год или два исключительно изучению Торы. <...>

19 YĖÓĖÀ 5708

<...> Что касается чтения для Вашей дочери, то все, что было издано нашим центральным офисом, передавалось и будет впредь передаваться Вашей общине через наш региональный офис или его отделения. Там есть и материалы, подходящие для нее. Что же касается светских книг, то совершенно невозможно высказать мнение о них, не ознакомившись с ними предварительно.

Поскольку Вы сами затронули этот вопрос, я вынужден подчеркнуть, что основное внимание следует уделять не исправлению мелких изъянов, [подбирая дочери] материалы для чтения (или даже учебники), — хотя они, безусловно, полезны, а небрежность (не хочу употреблять более сильных выражений) в этом вопросе недопустима. Нужно решить главную проблему: найти для Вашей дочери учебное заведение и подходящее окружение. Допустим, в настоящий момент ни в одной из местных «кошерных» школ действительно нет для нее подходящего класса — почему бы Вам не подумать о том, чтобы самому открыть таковой? Ведь Вы уже предпринимали шаги в подобном направлении, и разве они не увенчались успехом?

Вопрос состоит не в том, чтобы найти для Вашей дочери класс, который соответствовал бы ее способностям по одному или нескольким предметам, но в том, чтобы найти для нее подходящее место, где она укрепилась бы в своем еврейском выборе. Это крайне важно в переходном возрасте, особенно с учетом того, что жизненный уклад в нашей прежней стране^[9] отличается от европейского.

Что касается Ваших слов, что происходящее глубоко огорчает Вас, то Вы, несомненно, хорошо знаете любимое выражение моего наставника и тестя: «Один поступок важнее тысячи вздохов».

Я позволил себе остановиться на этой проблеме подробнее, хотя никогда не делал этого раньше, так как до сих пор Вы не давали мне повода начать разговор на эту тему. Тем не менее прошу меня извинить за вмешательство. <...>

1 I ĖÑÀĪÀ 5716

<...> Отвечаю на Ваше письмо от 21 адара и предшествующие ему.

Я не ответил ранее не в силу гнева и недовольства (упаси Б-г!), а из-за множества забот, тем более что в общем, как видно из Вашего письма, у Вас все в порядке, и не всегда правильно давать издали частные указания, тем более что на местах есть самостоятельное руководство и т. д. Хотя не скрою, меня огорчает и удивляет все это, как сказано: «Поставили меня стеречь виноградники...» (т. е. сама Тора свидетельствует, что это виноградники, нуждающиеся в заботе, и тем не менее), «...моего собственного виноградника я не стерегла»!^[10]

Это буквально сказано о Вас и еще о нескольких уважаемых людях, которые ныне совершенно ничего не делают в «винограднике» Хабада (а то немного, что делали ранее, прекратили через непродолжительное время в силу малопонятных, невнятных причин), хотя в чужих «виноградниках» активно работают, действуют и всем довольны! Понимающему достаточно. <...>

***Īādāāā nāī āēēēēīā, ēāēōā ē ēāēōā Ōāēy Āīādōūāēā, Ėāāūū Āāēēēāā, Āāāī ēy Ėāāēīā, Yēē
Yēūēēīā***

[1]. *Парафраз традиционного родительского благословения дочерям: «Да уподобит тебя Всевышний Саре, Ривке, Рахели и Лее».*

[2]. *Авот, 1:17.*

[3]. *Пиркей Авот, 4:18. Полностью это высказывание звучит так: «Отправляйся туда, где изучают Тору, и не говори, что она сама придет к тебе или что твои товарищи помогут тебе усвоить ее».*

[4]. *Название города при публикации указано не было. Как видно из контекста, адресат письма прежде думал о переезде в Нью-Йорк, где учился его сын.*

[5]. *Пиркей Авот, 1:14.*

[6]. *Там же, 4:18.*

[7]. *Дварим, 6:7.*

[8]. *См., напр., комментарий Раши к Дварим, 6:7: «Сынам — это об учениках...»*

[9]. *В СССР.*

[10]. *Шир а-ширим, 1:6.*

ДОМ, ОТКРЫТЫЙ ДЛЯ ГОСТЕЙ

Берл Лазар

В прошлой беседе, разбирая четвертую мишну «Пиркей Авот», мы поняли, как сделать еврейский дом всегда открытым для Торы. Пятая мишна продолжает эту тему, но под другим углом зрения: здесь речь идет о том, как открыть наш дом для людей. Первая часть мишны гласит: «Пусть двери твоего дома всегда будут широко открыты, пусть бедные будут твоими домочадцами».

Прежде всего, что такое «широко открытые двери»? Это основа обустройства дома, в корне отличающаяся от широко распространенного принципа «мой дом — моя крепость». Традиция учит, что первый еврейский дом, дом праотца Авраама, имел двери со всех четырех сторон — чтобы путешественник или странник, откуда бы он ни шел, никогда не видел перед собой глухую стену. Гостеприимство — самая важная основа еврейского дома. Это не означает, конечно, отказа от приватности, от личного жизненного пространства. Но «приватность по-еврейски» — это не закрытость, а наоборот, готовность всегда принять гостя, показать ему свой дом, рассказать о своей жизни, поделиться своей радостью. Любой гость должен чувствовать себя в еврейском доме, как дома!

Открытость еврейского дома достигает одновременно двух целей. Во-первых, так человек помогает ближнему: дает ночлег путешественнику, кормит голодного, обеспечивает доброжелательное общение одинокому. А во-вторых, и это не менее важно, он открывает свой дом для благословения от Б-га, всегда воздающего сторицей за выполнение заповеди любви к ближнему. Сказано в Торе (Дварим, 15.5): «...когда будешь давать, не должно скорбеть сердце твое, ибо за то благословит тебя Б-г во всех делах твоих, и во всем, что будет делаться твоими руками». Давая радость другим, мы доставляем не меньшую радость самим себе.

Известна история о богатом бо-гобоязненном еврее, жившем в одном из городов Российской империи. Этот человек распространил свое гостеприимство настолько, что открыл странноприимный дом, где каждый проезжий еврей мог бесплатно получить еду и ночлег. Но все же он не был уверен, что осуществил заповедь благотворительности — и, когда в город прибыл Алтер Ребе, обратился к нему за советом. «Я опасюсь, — сказал еврей, — что делаю это не ради истинного служения Б-гу, а ради удовольствия, что меня хвалят и прославляют как мецената...» Алтер Ребе задал только один вопрос: «А люди, которые у тебя останавливаются, уходят сытыми?» И, услышав утвердительный ответ, успокоил собеседника: «Главное — состояние тех, кому ты помог: если у них все хорошо, значит, ты выполнил заповедь как следует».

Итак, ты даешь гостю все самое лучшее и сам получаешь благословение от Б-га на все твои дела. Но возникает вопрос: не нарушает ли принцип «все лучшее — гостю» прав твоей собственной семьи? Если твой дом всегда открыт, а сам ты каждый день проводишь время в заботах о приезжих, о бедных, обо всех, кто постучал в двери, — не будут ли твои собственные дети чувствовать себя обездоленными, лишенными должного внимания? В конце концов чувство обиды может породить у детей неприязнь к самому принципу гостеприимства, и они, когда вырастут, вообще не захотят помогать ближнему. Мишна дает нам указание, как избежать этого: «Пусть бедные будут твоими домочадцами».

При поверхностном взгляде кажется, что в этих словах содержится призыв уважительно относиться к тем, кому помогаешь. Отчасти это и верно: еврейская благотворительность традиционно выполняет двойную задачу — помочь человеку в нужде и одновременно не повредить его чувству собственного достоинства. Одно дело — дать нуждающемуся человеку деньги и отправить его идти своей дорогой; совсем другое — принять его как родного, показать, что ты его уважаешь и ценишь, и, если помочь, так помочь как другу и близкому человеку. Недаром в Талмуде сказано, что совершающий благотворительность получает шесть благословений, а совершающий благотворительность так, чтобы получатель чувствовал себя комфортно, удостоивается одиннадцати благословений...

Однако в не меньшей степени требование «сделать бедного своим домочадцем» направлено на решение проблем, которые могут возникнуть в самом еврейском доме. Если дети видят, что родители

относятся к гостям как к «домочадцам», как к близким родственникам — такое отношение передается и детям, и всем членам семьи. И тогда никто не станет возражать против того, что самая красивая, самая парадная комната в доме называется «гостиная» — комната для гостей!

ЛЕХАИМ ИЮНЬ 2012 СИВАН 5772 – 6(242)

ВОСПОМИНАНИЯ РЕБЕЦН

Хана Шнеерсон

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО В № 11 (235), 12 (236); № 1 (237), № 2 (238), № 3 (239), № 4 (240), № 5 (241)

ÄÀÆÁ ÊÀÌ Í È Í ÈВÑÀÈÈ!.

Затем наступил Суккос[1]. Сукку мы построили сами и за свой счет, пристроив к нашей комнате подобие сеней — чтобы не пускать в дом холод, как мы объяснили хозяйке. Она попросила сделать там еще и крышу, однако мы сказали ей: сейчас на это нет денег, но к зиме, когда наступят холода, они, возможно, появятся, тогда доделаем крышу.

Еще через неделю был праздник Симхас Тойре. В этот день евреи танцуют со свитками Торы, но у нас их не было... «Трудармеец» из Литвы[2], который приходил к нам на дневные праздничные трапезы, теперь стал сторожем и по ночам должен был дежурить в поле, охраняя урожай от воров, так что вечером мы с мужем остались вдвоем. Он помолился, потом начал читать акофойс[3]... Я, увы, человек недостаточно красноречивый, чтобы передать всю гамму переживаний, которую выражало его лицо.

Муж произносил: «Ато орейсо лодаас ки а-Шем у о-Эло-ким, эйн ойд милвадой!»[4] — на тот же напев, что в Днепропетровске, в синагоге, где собирались сотни евреев, и у нас дома во второй вечер праздника, когда приходили только близкие, несколько десятков человек. И в синагоге, и дома в те дни были не просто танцы — казалось, камни начинали танцевать от царившего там веселья!

Похожего состояния мужу, несмотря ни на что, удалось добиться и сейчас. Он произносил все положенные отрывки, после каждой акофы пел и танцевал (естественно, в одиночестве), напевая нигун, который в Днепропетровске называли «раввинским»[5]. Между кроватью и столом было немного свободного места — там он и делал круги, произнося: «Зах вейшор, ойшио но!.. Тов умейтив, онейну бейом корейну!»[6] То была самая настоящая, чистейшая радость, слышимая в каждом слове, произносимом из глубины его сердца: «Йодея махашовойс, ойшио но!.. Лойвеш цдокойс, онейну бейом корейну!»[7] Я с трудом могла все это выдержать. Сидя в углу на деревянной табуретке, я наблюдала за мужем на протяжении его танцев во время всех семи акофойс, восхищаясь его величием, силой и любовью к Торе...

На следующее утро он так же жизнеутверждающе произносил: «Сису весимху бе Симхас Тойре»[8].



Èàçàõñòàí. Èííàõ 1930-õ - íà:àèí 1940-õ ñáíá

Í ÐÀÇÁÍ ÈÈÈ ÑÎ ÑÈÁÇÀÌ È ÍÀ ÄÈÁÇÀÕ

Как уже упоминалось, в тот год[9], в отличие от предыдущих, в нашем поселке оказалось довольно много эвакуированных евреев, практически полноценная община. В месяце тишрей, как известно, у большинства евреев — даже живущих в Советском Союзе, даже тех, кто в остальные дни года не столь ревностно соблюдает заповеди Торы, — религиозность усиливается. К мужу начали приходить люди, и наш дом превратился в центр еврейской жизни Чиили. Каждый шел со своими вопросами и просьбами — евреи из Бессарабии, Польши и множества других мест. В большинстве своем это были женщины, особенно из Бессарабии, откуда людей забирали в ссылку целыми семьями, но по дороге обстоятельства разлучали жен с мужьями... Они приходили с одними и теми же вопросами — о местонахождении своих мужей. У всех на сердце было очень тяжело и горько...

Лишь небольшая часть евреев попала сюда из Москвы и других крупных городов. Они были довольны тем, что оказались вдалеке от опасностей войны, к тому же им удалось привезти с собой достаточно много вещей, часть из которых обменивалась на еду. Но даже они с трудом переносили тесноту жилищ и не слишком благоприятный климат. Некоторые из тех, что помоложе, пытались заниматься разнообразными гешефтами, но на них тут же начинали поглядывать косо, жизнь их становилась очень беспокойной...

Несмотря на все тяготы, на праздничные молитвы собралось немало людей. Увы, среди них не было благочестивых евреев, которых можно было бы поставить шалиах цибур, бааль крия или бааль ткия[10]. Это были люди не слишком грамотные, а многие — не очень-то и религиозные. Свиток Торы у нас тогда уже был, шофар я в свое время привезла из Днепропетровска. Моему мужу пришлось самому и читать Тору, и трубить, и вести молитву — отдавая этому служению себя целиком, в полном соответствии с написанным: «Все кости мои скажут...»[11] Такой молитвы у него не было уже пять лет: в миньяне, в окружении множества людей, где каждый — в возвышенной чистоте и святости, со слезами на глазах... Это было непередаваемо!

Чтобы добраться от дома, где собирался миньян, до нашей квартиры, нужно было идти достаточно далеко, к тому же дорога сначала шла под гору, а потом в гору. На исходе Йом Кипура, когда муж, отмолившись весь день и успев еще и освятить новую луну, наконец вернулся домой, я с трудом его узнала — так исказилось его лицо. Но он был счастлив, что ему удалось провести Грозные дни[12] в точном соответствии — насколько это было возможно в тех условиях — с требованиями еврейского закона.

В первый день Суккос, к сожалению, уже нельзя было молиться в том доме, где прошел Йом Кипур, однако в следующие дни праздника удалось найти новое место для молитв. А радость Симхас Тойре я просто не могу передать словами. Песни, танцы и праздничное застолье были такими, что многие потом говорили нам: даже в прошлые годы, когда мы были дома, у нас не было такого веселого праздника! При виде моего мужа, пляшущего со свитком Торы в руках, люди забывали о своих бедах — таково было его влияние на окружающих.

Несколько человек из числа молящихся устроили кидуш у себя дома, пригласив гостей. Такого размаха празднования не было ни в одном из окрестных городов — только в Чиили, где находился мой муж. Многие говорили, что никогда не забудут, как он вел себя в эти праздничные дни. И в самом деле, видя его во время молитв и праздничных застолий, можно было подумать, что этому человеку не довелось пережить страданий и лишений! Увы, физически он был уже в плохом состоянии, хотя дух его еще был крепок...

יְעִיבֵן יִיִאִיִאֵ-אֵיִיִאֵוֹ אֵאֵאֵ!

Закончились праздники, которые немного отвлекли от подавленного настроения и унылой будничности и дали возможность ощутить себя на более высоком духовном уровне. Началась повседневная жизнь, в которой не было интересных событий, заслуживающих упоминания.

В конце осени ударили сильные морозы, со снегом. По словам местных жителей, таких холодов не было уже лет тридцать. При этом они нередко добавляли, что плохую погоду принесли с собой жиды[13]...

Поскольку обычно необходимости в отоплении жилищ не возникало, печей для обогрева в домах не устраивали. Стены делались из глины (на казахском — «саман»). Лето в таких домах переносится без особых проблем, а вот зимой в них холодно и сыро. По утрам, когда нужно было надевать ботинки или более привычные местным жителям валенки, они постоянно оказывались мокрыми. Пока обувь не высыхала

и ноги не согревались, ходить было не очень-то приятно. Стены от постоянной сырости покрывались плесенью.

Я нашла еврейского печника, взявшегося устроить в нашей комнате небольшую печурку, на которой можно было бы варить и жарить и сейм тайм[14], как тут говорят, обогревать с ее помощью жилище. Но у мастера не было кирпича, а достать его было негде. Пришлось мне самой заняться этим. С помощью всевозможных ухищрений удалось раздобыть (именно раздобыть — купить не было никакой возможности) более сотни кирпичей, из которых, слава Б-гу, мастер в конце концов сложил печку в нашей комнате. Здесь я остановлюсь, поскольку вся эта история не заслуживает того, чтобы о ней рассказывали с такими подробностями.

Возникли новые проблемы. Во-первых, с топливом. Раздобыть его было нелегко, но с этим мы кое-как управились. Во-вторых, дымоход у нас был общий с хозяйкой дома. Когда затапливались обе печи, их дымы «встречались» в трубе и в результате весь дым шел в нашу комнату, находиться в которой становилось практически невозможно. После этого вся комната становилась черной от сажи.

Нам посоветовали не топить печь в одно время с хозяйкой. Обычно это помогало, но иногда на нее находили приступы ненависти к евреям, и она специально растапливала печь так, чтобы весь дым шел к нам в комнату. Впрочем, даже без этого у нас бывало полно дыма — особенно когда дул сильный ветер...

«ב צאֵיִ םֹנִיִ םֵאֵיִ םֵאֵיִ ...»

К трудностям и без того суровой зимы прибавились, пусть убережет нас от такого Всевышний, эпидемии: сыпной тиф и грипп. Мой муж тоже заболел. Он слег и пятнадцать дней провел в постели, вставая с нее лишь ценой огромных усилий.

Примерно месяц спустя у меня тоже начала подниматься температура — до сорока! Чтобы меня осмотрел врач, нужно было попасть в больницу. Она находилась километрах в пяти от места, где мы жили, причем дорога все время шла в гору, так что мы решили пока туда не идти.

В Чиили был один ссыльный доктор-нееврей. Так как он не имел права практиковать, ему приходилось, идя к нам, переодеваться в чужую одежду, чтобы остаться неузнанным. По той же причине он приходил обычно в час-два ночи. Осмотрев мужа, он выписывал лекарства, но личной печати, которую положено ставить на рецепты, у него, естественно, не было. Однако, благодаря тому что аптекарь был в хороших отношениях с моим мужем, благословенной памяти, мне выдавали лекарства по такой бумажке, хотя этим аптекарь подвергал себя большой опасности.

Я пролежала с температурой несколько дней, и мы решили все-таки позвать нашего доктора. Он сказал, что у меня, возможно, сыпной тиф — очень заразная болезнь...

В кишлаке неподалеку жила семья эвакуированных — шойхет и его жена. Они пришли к нам просить мужа договориться с врачами в больнице, чтобы уберечь шойхета от мобилизации в армию и отправки на фронт. Остановились они у нас, несмотря на протесты хозяйки квартиры (в то время было запрещено пускать в дома проезжающих по железной дороге).

Жена шойхета увидела меня, лежащую в кровати, те условия, в которых мы живем, и моего мужа, стоящего у печки и готовящего мне кашу, попутно разбирая, что «сказано у Мааршо[15]» по поводу того, нужно ли сначала заливать молоко или засыпать крупу... Она заявила, что не покинет нас до тех пор, пока я не выздоровею и не встану с постели. Я сказала: моя болезнь заразна и может представлять большую опасность для тех, кто находится рядом. На это она ответила, что нисколько не боится и не намерена изменять свое решение. Сняв с себя дорожную одежду и переодевшись в домашнее, она покормила своего мужа и сразу принялась за дело. Начала с меня — первым делом сняла одежду, в которой я пролежала несколько дней, без конца потея от сильного жара. Потом постелила свежее белье на кровать и на подушки — старое так пропиталось потом, что затвердело и резало меня, как нож. Тот, кто не пережил подобного, не сможет понять, что это было за удовольствие — лежать на чистой постели! Потом жена шойхета сварила мне манную кашу, причем без всяких пилпулей[16], так что у меня наконец было что поесть...

Температура не спадала, и наш знакомый доктор продолжал — с обычными своими предосторожностями и под покровом ночи — свои визиты. Когда он уходил, муж обычно доставал книгу Теилим, которая сейчас здесь, со мной[17], и говорил: «Я займусь лечением...»

В нашей комнате жили теперь четыре человека, так что мужу моему приходилось спать на полу у двери — другого места не было, к тому же он опасался заразиться от меня сыпным тифом, который при его слабом здоровье наверняка оказался бы для него смертельным.

Наша гостья, жена шойхета, устроила себе место рядом с моей кроватью. Поскольку в комнате находился посторонний мужчина — мой муж, а перегородки отсутствовали, она практически все время проводила одетой. Она и ее муж не могли ни кашлянуть, ни сделать лишнего движения — хозяйка не должна была догадаться, что они ночуют в нашей комнате.

В таких условиях, в атмосфере неопределенности (врач так и не мог с уверенностью сказать, чем я больна) моему мужу не оставалось другого выхода, кроме как садиться за стол и читать Теилим. Слезы текли у него рекой. Я часто наблюдала, лежа в постели, за этим чтением и видела, с каким разбитым сердцем муж произносит слова псалмов. Казалось, даже камни тронуты его слезами! Я верила полной верой — и верю и по сей день, что именно его Теилим помогли моему исцелению от болезни...

Шли дни, жар постепенно начал спадать. Одновременно с этим уменьшались и наши опасения, что я больна «сыпняком». Если бы у меня была эта болезнь, то в тех условиях, в которых мы находились, не было ни малейшей возможности осуществить все необходимые для лечения процедуры...

«I Ū NĒŪŌAĒĒ, xŌI ĀĀŌA ĀĒĪĀ Ī ĀCĪĎĪĀĀ ...»

Наступила пятница — канун шабоса, а у нас в доме не оказалось ни кусочка хлеба. Как я уже говорила, нас тогда в комнате жило четыре человека, и у наших гостей к пятнице закончились лепешки, которые они привезли с собой. Рыбу мы купили на базаре, жена шойхета ее приготовила. Ее муж принес два ведра воды — тоже не такое простое дело: веревка, на которой мы опускали ведра в колодец, порвалась, а наши нееврейские соседи не желали одолжить нам другую... Но в конечном счете со всем удалось справиться, мы даже убрали комнату и помыли полы в честь святой субботы. Однако хлеб! Хлеба не было, как не было никакой возможности найти что-нибудь ему на замену.

Мы сидели в комнате сильно обеспокоенные. Муж мой сидел у окна, ему было очень невесело: скоро шабос, и ничего нельзя сделать! Вот уже подходит время благословить субботние свечи...

Вдруг мы увидели, что по улице идет девушка в нееврейской одежде, закутанная в огромную шаль так, чтобы никто не мог разглядеть ее лица. Она постучала в дверь и зашла в комнату, направившись прямо к моему мужу. «Вы раввин Шнеерсон?» — спросила девушка и достала из-под шали большую буханку хлеба, завернутую в полотенце! «Моя тетя прислала вам этот хлеб, — сказала она. — Мы слышали, что ваша жена нездорова...» Тетя этой девушки руководила государственной пекарней и имела возможность время от времени выпекать лишний хлеб — за счет уменьшения веса каждой буханки на несколько грамм. Однако тех, кто попадался на этом, ждало самое строгое наказание!

О, что за вкус был у этого хлеба! Конечно, это был самый обычный черный хлеб, но я говорю сейчас не о вкусовых его качествах в буквальном смысле, а о том, что эта буханка позволила нам ненадолго забыть о голоде, тем более накануне субботы. Муж тут же разрезал буханку на две части, накрыв их салфеткой. Таков был наш лехем мишне[18] в тот шабос...

Девушку, принесшую хлеб, проводили до ворот, стараясь, чтобы ее не увидела квартирная хозяйка, которая в последнее время начала бурчать что-то вроде: «К попу слишком много ходят»[19], — а нам такое внимание было совершенно ни к чему, поскольку вполне могло привести к увеличению срока ссылки еще на пару лет!

Перед этим, в ночь на пятницу, мой муж читал Теилим. Это было не обычное чтение Теилим, не просто чистые рыдания и не проявление упадка сил... Он изливал всю свою душу — с величием и силой истинной веры, с чувством подлинной близости к Б-гу.

В шабос я уже смогла сесть на кровати, еда у нас тоже была. Мой муж и наш гость, шойхет, молились вместе, оба в талесах. После молитвы устроили фарбрэнген.

Есть такая поговорка: «Когда радуется бедняк? Когда теряет, а потом находит». Я начала потихоньку оправляться от своей болезни. ***Ī ĀĪĪĀ Ī ĒĒŌĀ ŌĀĒ ĀĒŌĀ ĀĒĒĪ ĀĪĎĪ. Ī ŌĪĪĒĀĪ ĒĀ ĪĒĪĪĪŌ***

[1]. *Здесь ребецн вспоминает о праздниках 5703 года (осень 1942 года).*

[2]. *См. о нем: Лехаим. 2012. № 5. Гл. «Гости в Йом Кипур».*

[3]. *Танцы с Торой в праздники Шмини ацерет и Симхат Тора.*

[4]. *«Ты убедился воочию, что Г-сподь — Он Б-г, нет другого!» (Дварим, 4:35) — первый из отрывков Танаха, произносимых перед началом акафот.*

[5]. *См.: Лехаим. 2012. № 4. Прим. 3.*

[6]. *«Чистейший и Справедливый, спаси нас!.. Добрый и Творящий добро, ответь нам в день, когда мы взываем к Тебе!» — из текста, произносимого на третьей акафе.*

[7]. *«Тот, Кому известны помыслы [всех творений], спаси нас!.. Великолепный в милосердии [Своем], ответь нам в день, когда мы взываем к Тебе!» — из текста, произносимого на четвертой акафе.*

[8]. *«Веселитесь и радуйтесь в Симхат Тора!» — отрывок, произносимый в утренней молитве праздника.*

[9]. *Ребецн снова возвращается к рассказу о последнем годе жизни мужа — 5704-м. Осенние праздники, о которых здесь говорится, по гражданскому календарю выпали на октябрь 1943 года.*

[10]. *Ведущий общественную молитву, чтец Торы по свитку и человек, трубящий в шофар.*

[11]. *Теилим, 35:10.*

[12]. *Дни между Рош а-Шана и Йом Кипуром (1–10 тишрея).*

[13]. *Это слово в рукописи ребецн написано по-русски.*

[14]. *Одновременно (англ. same time).*

[15]. *Шмуэль-Элиэзер бен Йеуда а-Леви Эдельс (1555 или 1565 — 1631) — один из крупнейших комментаторов Талмуда.*

[16]. *Пильпуть — термин, обозначающий методы талмудических дискуссий. По-видимому, ребецн использует его, как и упоминание Маарша несколькими предложениями ранее, шутливо-иронически.*

[17]. *Книга хранится в библиотеке «Агудас Хасидей Хабад». На обложке рукой ребецн написано:*

«Эта книга Теилим принадлежала моему мужу, благословенной памяти. По его просьбе я послала ее в поселок Чиили, что в Казахстане, где он находился в ссылке.

Если бы у этих страниц был язык, они многое могли бы рассказать. Многое... Каждая из них была обильно полита его слезами, так что они стали мокрыми насквозь...

Со дня ареста в марте 1939 года [9 нисана 5699 года] его физическое состояние ухудшалось день ото дня. Но дух был крепок.

Очень трудно было слышать его стенания, идущие из самых глубин разбитого сердца. Он больше страдал от отсутствия нормальных условий для духовной жизни, чем от самого обычного голода, когда не было даже хлеба, и от прочих невыносимых материальных лишений.

Эта книга была с ним до дня смерти — 20 менахем ава 1944 [5704] года. Мы находились тогда в Алма-Ате, столице Казахстана.

Благодаря усилиям наших верных друзей, которые занимались этой работой с полным самопожертвованием и большой опасностью для жизни, нам удалось получить разрешение для моего мужа, Леви-Иццока, благословенной памяти, сменить место ссылки и переехать из поселка в большой город. Там ему было гораздо лучше во всех смыслах — и в материальном, и в духовном. Но главное — в городе была еврейская община!

Да воздаст Всевышний этим людям за их добрые дела и да уберезет от всякого зла. Омейн».

[18]. *Два цельных (по возможности) хлеба, которые должны быть на столе во время каждой из субботних трапез.*

[19]. *Эта фраза в рукописи ребецн написана по-русски.*

БЕСКОМПРОМИССНОСТЬ ЛЮБВИ

Адин Штейнзальц

Он очень редко покидал свою резиденцию в Бруклине, на Истern Парквей, 770. Его жизненный ритм годами оставался неизменным: личные аудиенции, затягивающиеся далеко за полночь, ответы на тысячи писем, в субботы и праздники — публичные выступления и беседы. Деловой совет, наставление, ответы на вопросы, необходимую информацию, идеи — каждый получал от него то, в чем нуждался, и не только соратники и приверженцы, но и люди «со стороны», обращавшиеся к нему со всех концов земли. Впрочем (и это подчеркивают все, кому довелось общаться с Ребе), для него не было «посторонних», его внимание и радушие никогда не были избирательными.



Любавичский Ребе — Менахем-Мендл Шнеерсон на похоронах ребеци Хаи-Мушки. 10 февраля 1988 года

Почти полвека Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон, человек необычайных душевных качеств и феноменальных способностей, возглавлял Хабад, Всемирное движение любавичского хасидизма. На протяжении всего этого времени он вел непрерывную, упорную и настойчивую деятельность — без единого дня на отдых, без права на усталость. В 1951 году, когда он еще не был известен широким кругам еврейской общественности и согласился принять титул «ребе», руководителя хасидской общины, его личность представляла собой настоящую загадку даже для многих последователей Любавичского движения. С одной стороны, он был зятем предыдущего, шестого, Любавичского Ребе, Йосефа-Ицхака Шнеерсона, его доверенным лицом и, как все лидеры этого хасидского направления, прямым потомком Алтер Ребе — рабби Шнеура-Залмана из Ляд, основателя династии. С другой стороны, он был представителем лишь седьмого поколения и относился к боковой ветви этой славной семьи. Впрочем, «все седьмые — особенно дороги» (Ваикра раба, 29:11).

В начале 1940-х, чудом бежав из оккупированной Франции в США, рабби Менахем-Мендл возглавил руководство образовательной сетью любавичских хасидов, а также систему социальной помощи и книгоиздательство. Но и в этот период подавляющему большинству хасидов было известно о нем лишь то, что этот необщительный, крайне собранный и организованный человек — блестящий знаток Торы, за плечами которого были не только многие годы постижения священных текстов, но и Берлинский университет и парижский Политехнический институт. Лишь через год после ухода из жизни тестя, после столь же долгих, сколь и настойчивых уговоров, вопреки собственному желанию, рабби Менахем-Мендл Шнеерсон согласился принять на себя обязанности руководителя Хабада. И практически сразу всем стало ясно, что эта уникальная личность способна направить деятельность Любавичского движения в совершенно новое русло.

Ребе продолжил дело, начатое его предшественником, который доказал всему еврейскому миру, что Любавичское движение, уже пустившее могучие корни на новом, Североамериканском континенте, обладает гигантским потенциалом. Под руководством нового Ребе оно революционным образом изменило свое место в еврейском мире: в лице любавичских хасидов ортодоксальное еврейство впервые перешло от обороны, от попыток сохранить осколки рухнувшего традиционного мира к экспансии — широкому распространению идей хасидизма, еврейского образа жизни, традиционных ценностей среди ассимилирующихся евреев, теряющих связь с иудаизмом. Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон, значительно расширив и углубив начатую его предшественником деятельность эмиссаров — слухим, способствовал взрывному развитию Хабада, интенсивному росту численности его сторонников и беспрецедентному влиянию на общины всего мира. Однако невиданное доселе распространение Хабада в разных странах мира среди евреев всех общин, говорящих на различных языках, — лишь одна из сторон его разнообразной деятельности.

Ребе своим личным примером оказал осязаемое влияние на уклад и образ жизни любавичских хасидов всего мира. Хабадники не ищут лазеек, стараясь «облегчить себе жизнь» в вопросах исполнения заповедей Торы: в этом отношении они столь же ригористичны, как и приверженцы крайне ортодоксальных кругов иудаизма. Однако бескомпромиссность в этих вопросах — и не только по отношению к самим себе, но и по отношению к другим — не вызывает отторжения или неприятия у тех евреев, кто делает свои первые шаги в иудаизме и стремится вернуться к собственным корням. Поскольку к любому из них любавичские хасиды относятся с пониманием и терпением, их деятельность лишена высокомерия или ненависти к кому бы то ни было. Два наиболее характерных качества подлинного хабадника — это бескомпромиссность в отношении принципов иудаизма, с одной стороны, и безграничное уважение ко всем людям, даже к наиболее непримиримым противникам, — с другой.

Многогранность и разносторонность личности Ребе проявилась также и в том, что он стал одним из величайших учителей еврейского народа для нескольких последних поколений. До сего дня нескончаемым потоком продолжается публикация его наследия. Его комментарии и алахические решения, дневниковые записи и письма, беседы и провидческие высказывания влияют не только на тех, кто считает себя любавичским хасидом, но и, прямо или косвенно, на жизнь всех общин, всех евреев.

Ни для кого нет сомнений в том, что «целевой группой» для Ребе являются не столько хасиды, сколько еврейство как таковое, «сообщество Израиля». Именно этот подход принципиально отличает Ребе от многочисленных руководителей различных направлений религиозного еврейства. Ребе принимал во внимание не только интересы общины — хотя его активность и на этом поприще оставалась более чем несомненной и очевидной, — но полностью посвятил себя решению проблем и широкомасштабной поддержке всего мирового еврейства. Несмотря на то что такие проблемы неизбежно были связаны с различными политическими аспектами, высказывания Ребе и здесь удивляли не только своей бескомпромиссностью, но и максимальной корректностью и тактом; таким образом, ему практически всегда удавалось избегать любого отождествления с теми или иными политическими сферами или группировками.

Мы свидетели чуда: деятельность Ребе не только не завершилась, но продолжает расширяться день ото дня. Можно по-разному объяснять этот феномен, но факт остается фактом: все его начинания лишь развиваются и крепнут. Главным итогом его деятельности стало то, что Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон осуществил переход от руководства движением к руководству еврейским народом в целом, став образцом — пока что недостижимым — подлинного главы Израиля.



***וְאֵלֶּיךָ אֵלֹהֵינוּ אֵל אֱלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ עַל עֵינֵינוּ «עִנְיָנוּ וְעֵלְמֵנוּ עֵלְמֵנוּ».
 עֵלְמֵנוּ. 1821 אָא / יְעִיבֵנוּ אֵלֹהֵינוּ אֲבוֹתֵנוּ יְעִיבֵנוּ. 1817 אָא***

Среди законов, касающихся одежды, в Торе есть такой: «На женщине не должно быть мужской одежды (кли гевер), и мужчина не должен одеваться (ло ильбаш) в женское платье, ибо мерзок пред Г-сподом, Б-гом твоим, всякий делающий так» (Дварим, 25:3). В еврейской традиции есть два основных мнения о смысле этого запрета. Рамбам считал ношение одежды противоположного пола подражанием язычеству, поскольку именно так поступали жрецы некоторых древних культов (Книга заповедей, Запрещающие заповеди, заповедь 40). А по мнению Ибн-Эзры, этот запрет направлен против разврата.

Списков специальной мужской и женской одежды в Торе, разумеется, нет. Некоторые примеры можно найти в Талмуде: мужская — тюрбан или латные доспехи, женская — яркое, пестрое платье или золотые украшения (Назир, 59а). Однако, как отметил Рамбам, в конечном счете «в этих вещах нужно руководствоваться обычаями страны» (Законы об идолопоклонстве, 12:11): если в каком-либо месте определенная одежда не считается женской, мужчина может ее надеть, даже если в других местах ее носят только представительницы прекрасного пола — таков, например, похожий на юбку килт.

Алаха не дает однозначного ответа на вопрос, является ли запрет носить одежду противоположного пола абсолютным. По мнению знаменитого польского раввина Йозеля Сиркиса, этот запрет относится к ситуации, когда мужчина хочет выглядеть женщиной или женщина — мужчиной. Если же это одежда для утилитарных целей, например для защиты от неблагоприятной погоды, то особой проблемы нет. Поэтому мужчина, выходящий зимой из дома на мороз, может, не задумываясь, накинуть шубу своей жены или матери (Бах на Йоре деа, 182).

Однако это мнение не стало общепризнанным. Некоторые раввины начисто отвергли логику р. Сиркиса — например, анонимный польский раввин XIX века, писавший под псевдонимом Яд а-Ктана («Маленькая рука»). Другие принимали его позицию лишь с существенными оговорками. К примеру, р. Шабтай Коен (Шах; 1621–1662) утверждал, что если одежда делает мужчину похожим на женщину (или, соответственно, женщину на мужчину), то надевать ее нельзя ни в коем случае, даже чтобы укрыться от мороза, дождя или палящего солнца.

Помимо мужского и женского платья, уже в древние времена существовала одежда, которую сегодня назвали бы «унисекс». Впервые подобное одеяние упоминается в Талмуде: жена одного из мудрецов, р. Йеуды, связала нечто вроде кофты, в которой супруги по очереди ходили на рынок (Недарим, 49а). Комментируя эту историю, польский раввин XVI века Шмуэль Эдельс (Маарша) вывел отсюда важное правило: если некое платье встречается в гардеробе представителей обоего пола, то носить его могут и евреи, и еврейки (Хидушей агадот на Недарим, 49а).

Перейдем теперь к основной теме нашей статьи — женским брюкам. Эта проблема стала актуальной во второй половине XX века, когда в промышленно развитых странах брюки прочно вошли в

женский гардероб. Нетрудно догадаться, что эта революция в моде существенно прибавила работы раввинам — которые, как следовало ожидать, к единому мнению на этот счет так и не пришли.

Иерусалимского раввина Ицхака Вайса, возглавлявшего религиозный суд одной из наиболее консервативных общин (Эда харедит), как-то спросили, можно ли женщине носить брюки, если по цвету и покрою их никак нельзя принять за мужские. Раввин запретил так поступать. По его мнению, брюки, независимо от цвета и фасона, в принципе являются мужским платьем. А потому женщина в любых брюках, безусловно, нарушает запрет (Минхат Ицхак, 2:108).

Категорический запрет на женские брюки поддержал и другой известный раввин, Элиэзер Вандерберг. По его мнению, брюки — нескромная одежда, поскольку подчеркивают женские формы. Соответственно, брюки попадают под общий запрет носить вызывающую и соблазнительную одежду, которой женщина подчеркивает свою сексуальность. Как гневно писал раввин, «женские брюки — это ловушка для мужчин» (Циц Элиэзер, 9:62).

Впрочем, далеко не все раввины были столь категоричны. К примеру, венгерского раввина Менахема-Мендла Панета (1818–1884) как-то спросили, может ли женщина надеть штаны под юбку, если на улице слишком холодно. На это раввин ответил, что, поскольку это было разрешено еще Бахом и Шахом, он лично не видит в этом никакой проблемы. Более того, по словам раввина, в Польше так поступали многие богобоязненные женщины, и он не слышал, чтобы кто-нибудь против этого возражал. Другое дело, когда женщина надевает пиджак или шляпу с единственной целью — внешне походить на мужчину. В этом случае, полагал раввин, нарушается библейский запрет ло ильбаш (Авней Цедек на Йоре деа, 72).

По мнению сефардского раввина Овадьи Хадаи, запрет кли гевер нарушается только в том случае, если женщина носит мужские штаны. Если же определенный фасон характерен для женских брюк или даже подходит и мужчинам, и женщинам, то ничего страшного нет. Тем не менее, полагал р. Ходайя, женские брюки все же следует запретить, поскольку это «дикая, нескромная и развратная одежда» (Яскиль Авди, 5; Йоре деа, 20).

Тому же раввину был задан вопрос, может ли муж развестись с женой, если она отказывается выполнить его требование не носить брюки. На это р. Ходайя ответил, что, поскольку брюки все больше входят в моду, их часто носят и порядочные женщины. Более того, из всех видов новомодной одежды не обтягивающие тело брюки являются наиболее приемлемыми — поскольку в них, по крайней мере, не видно обнаженного тела. Поэтому, заключил раввин, нельзя назвать женщину «развратной» только на основании того, что она ходит в брюках, — и, следовательно, поводом для развода это считаться не может (там же; Эвен Эзер, 52).

Наиболее либеральную позицию занял бывший главный сефардский раввин Израиля Овадьи Йосеф. По его словам, с брюками вообще нет проблемы. Во-первых, можно носить штаны для защиты от жары или холода. Во-вторых, женские брюки обычно отличаются от мужских цветом и/или фасоном, поэтому их никак нельзя назвать мужской одеждой. И наконец, в-третьих: даже если эти брюки внешне не отличаются от мужских, запрета на одежду «унисекс» не существует (Явиа Омер, 6; Йоре деа, 14:7). Тем не менее, продолжал р. Овадья, крайне нежелательно, чтобы женщины, особенно молодые, носили брюки, поскольку эта одежда возбуждает у мужчин недозволенные мысли, и поэтому «порядочные еврейские девушки» не должны так одеваться.

Как-то раз р. Йосефа спросили, что делать, если девушка отказывается носить достаточно длинные юбки, прикрывающие хотя бы колени. Р. Йосеф ответил: «Если девушка не станет нас слушать и не будет носить юбки, входящие хотя бы до колен, то пусть лучше ходит в штанах — пока мы не сумеем убедить ее одеваться, как подобает подлинной дочери Израиля».

Итак, позиции раввинов весьма различны. Как же все-таки нам следует поступать на практике? Позволим себе несколько соображений.

Первое. Иудаизм, как известно, религия не индивидуальная, а общинная. Поэтому нужно следовать нормам общины, в том числе относительно дресс-кода, — независимо от того, есть ли в алахе другие мнения.

Второе. Нельзя забывать, что общество мыслит стереотипами, и изменить их нелегко. Хотя в наши дни многие религиозные женщины носят брюки, это по-прежнему не укладывается в общественном

сознании. Поэтому, если соблюдающая еврейка ходит в штанах, велика вероятность, что другие люди не догадаются о ее религиозных убеждениях. В результате могут возникнуть ситуации, которых можно было бы избежать, если бы окружающим было очевидно, с кем они имеют дело. Решая, в чем выйти из дома, еврейской женщине стоит об этом помнить.

И наконец, последнее. Как мы могли убедиться, все мнения относительно допустимости или недопустимости женских брюк были высказаны самыми уважаемыми раввинами, чьи огромные познания в Торе не вызывают никаких сомнений. А потому не следует слишком поспешно судить женщину «по одежке». Даже если она одевается не так, как принято в нашей общине, это далеко не всегда свидетельствует о ее меньшей (или большей) религиозности.

ЛЕХАИМ ИЮНЬ 2012 СИВАН 5772 – 6(242)

ДЕЛО НАДО ДЕЛАТЬ

Ишайя Гиссер

Удивительная дата — третье число еврейского месяца тамуз. На нее пришлось несколько знаменательных событий еврейской истории. Так, во времена завоевания Эрец-Исраэль, именно в этот день, по слову Йеошуа бин Нуна остановились солнце и луна. В решающем сражении, когда стало понятно, что до заката бой не завершить, Йеошуа обратился ко Всевышнему. «И остановилось солнце среди неба и не спешило к заходу почти целый день!» (Йеошуа, 10:13) — столько, сколько было необходимо для завершения разгрома союза пяти эморейских вождей.



Διά Εἰρήῃ-Ἐὐδαιῆ Οἰκιστῆ ἰηρῆ ἰδεαυοῦ ἁθεῆ, ἢ δαῖα - Ἰ ἰδαῖαε Ἀόσεῖ. 1929 ἄᾶ

Можно спросить: если Творец так помог евреям, то почему бы Ему не поступить более радикально. Способы могли быть разными, были прецеденты: у египтян была тьма, а у евреев — свет в жилищах; войско Санхерива, осадившее Иерусалим, просто вымерло в одно прекрасное утро. Так почему это чудо было каким-то «неполным»: евреям все равно пришлось воевать, проливать свою и чужую кровь?

Оставим на время эту давнюю историю и вспомним о событиях более близкого времени. Предыдущий Любавичский Ребе, Йосеф-Ицхак, когда пришла советская власть, был единственным из духовных лидеров евреев, который не уехал, не покорился, а начал выстраивать систему противодействия политике советской власти. Он создал разветвленную подпольную организацию, добивался финансирования из-за границы, получал и распределял его, направлял посланников, расстраивал планы властей.

Так, например, Ребе сорвал мероприятие, равного которому в еврейской истории не было со времен Наполеона Бонапарта. В 1807 году последний собрал «Синедрион» (так он назвал этот съезд представителей еврейства Франции), чтобы тот признал и объявил во всеуслышание, что некоторые положения Торы устарели. Затея принесла ему хорошие дивиденды, хотя и не оправдала всех возлагаемых на нее надежд.

В 1927 году в Ленинграде советская власть попыталась собрать нечто подобное. И поскольку вокруг раввинов стояли люди в кожанках, сценарий был известен всем, проект резолюции был уже готов, никто не ожидал сложностей. И тогда слово взял Любавичский Ребе. Он напомнил почтенным раввинам, что есть нечто страшнее изгнаний, арестов и расстрелов: сохранив материальное существование, можно утратить жизнь вечную; они должны сперва решить для себя, есть Б-г или нет, и лишь тогда принимать резолюции. После чего собрание было сорвано, голосование не прошло.

Конечно, стерпеть все это советская власть не могла, и однажды ночью Ребе был арестован и препровожден в тюрьму. После долгих издевательств его приговаривают к смертной казни за антисоветскую деятельность. Примерно тогда же были расстреляны митрополит Введенский, несколько видных представителей духовенства разных конфессий. Все прекрасно работало! А вот с Любавичским Ребе вышла осечка.

Технически это произошло так. В то время латвийский сейм должен был ратифицировать первый торговый договор с советской властью, которая находилась в международной изоляции. Для большевиков это был прорыв. А представителем сейма на переговорах был депутат Мордехай Дубин, любавичский хасид, который объяснил: «Вы можете расстрелять Ребе, но тогда договора не будет. Решайте, что вам важнее». Так говорил Дубин, а ведь были еще и протесты Госсекретаря США, парламентариев разных стран и т. д.

Это было в первый раз, когда Совдепия разжала зубы и выпустила смертника из пасти. Большевики заменили расстрельный приговор десятью годами лагеря на Соловках, потом — тремя годами ссылки в Кострому. Ребе выехал туда третьего числа месяца тамуз.

Большевики не считались с издержками, добиваясь своих целей. Отмена смертного приговора, то, что они выпустили Ребе, — чудо! Но вновь можно спросить: почему, как и во времена Йеошуа, чудо

было несколько «неполным»? Перед Ребе не извинились, не выплатили компенсации, Сталин не пришел распахнуть дверь камеры лично... Человека из тюремной камеры отправили в ссылку. Какое-то невпечатляющее чудо. Чтобы понять, что оно произошло, надо вдуматься, осмыслить.

Позволю себе воспоминание из моей жизни. Восемнадцать лет тому назад, в 5754 году по еврейскому календарю (1994 год), я был посланником Ребе в Одессе. В ночь с четверга на пятницу в моей квартире раздался телефонный звонок, звонил раввин Мойше-Хаим Левин из Нью-Йорка. Он сказал: «У Ребе второй инсульт! Жди хороших новостей — вот-вот раскроется Машиах! Ведь хуже быть не может!»

Мы и мысли не допускали, что болезнь Ребе может завершиться его уходом! Вы не поверите, в те дни я ложился спать одетым, рядом лежала сумка с талитом и тфилин, чтобы не тратить время — как только скажут: «Машиах пришел!» — встать, взять и идти! Было полное ощущение, что Избавление уже на пороге...

Надо понимать атмосферу, в которой все это происходило. В беседах Ребе звучало лейтмотивом: «Готовьтесь, евреи! Приходит время Избавления! Долой Изгнание, хватит! Оно лишь в вашем сознании, прочистите мозги!» Вокруг были явные чудеса: бескровно рушились тоталитарные режимы Восточной Европы, советская власть пала, без войны развалилась советская империя. Человеческая история не знала таких перемен без рек крови! А потом война в Персидском заливе, взрывы иракских «скадов» в Израиле, десятки взрывов без жертв...

Была внутренняя готовность к глобальным переменам, постоянно подогреваемая событиями, — ведь сам все видишь, все у тебя на глазах, — к тому, что еще чуть-чуть, и придет Машиах. Потом Ребе вдруг выступает и говорит: «Я не понимаю, почему Машиах все еще не пришел?! Я сделал все, что мог. Сделайте теперь вы что-нибудь. Если будет хотя бы несколько человек, которые хотят прихода Машиаха по-настоящему, он откроется!» Ой как хасиды старались — и каждый был уверен, что он-то хочет по-настоящему...

А потом у Ребе инсульт, он утратил дар речи. Все были потрясены, но вскоре взяли себя в руки — наверное, так и надо, вспомнили цитаты из Писания, успокоились, даже как-то воодушевились: «Чтобы всплыть, надо оттолкнуться от дна» — вот оно, наше дно... Потом второй инсульт, звонок Мойше-Хаима, а через пару дней — уже знакомая нам дата 3 тамуза — он вновь звонит и говорит: «Сегодня похороны Ребе». Как! Этого не может быть! Ведь Ребе сам нам объяснил, что мы последнее поколение, что работа закончена, что Машиах здесь, у порога... И вдруг... Нет, сейчас все изменится, мы будем в радости встречать Машиаха! А как же иначе?! Сейчас, уже сейчас начнутся чудеса, ждите... С тех пор прошло восемнадцать лет, мы ждем...

Хабад — единственная религиозная группа в иудаизме, которая требует системного изучения Скрытой Торы от всех своих последователей. В еврейском мире были, есть и будут одиночки, небольшие группы, систематически изучающие каббалу, Скрытую Тору, но это не массовые течения. Для нас понятие «Ребе», или «цадик», имело абсолютно конкретный смысл: это хорошо известный нам человек, который весь растворился в Б-ге, исполнился самоотрицания, устами которого говорит Шхина. Пример был у нас перед глазами, нам было на кого смотреть, было с кем сравнивать. И как понять происходящее?

В одном из своих трудов Ребе разбирает мидраш, который комментирует слова «И приняли иудеи...» из книги Эстер. Мидраш объясняет, что евреи «приняли то, что получили ранее», то есть Тору. Они получили ее на горе Синай, но окончательное принятие произошло только в Пурим. Ребе спрашивает: как это может быть? Разве можно сидевших на пиру Ахашвероша и гордившихся тем, что их «за людей считают», сравнить с поколением Исхода? С теми, о ком сказано, что последняя служанка видела во время перехода через море больше, чем Йехезкель в своем пророчестве. А тут — вавилонский плен, Ахашверош, Аман — евреи далеко не в лучшей форме... И это было подлинным принятием Торы?

Да, объясняет Ребе, не удивляйтесь, так и было. Когда тебе что-то спущено Сверху с молниями и громами — это может быть очень хорошим началом. Но если это остается выданным пайком, то не очень-то и ценится. Человек, получивший нечто дорогостоящее, может радоваться приобретению, но по-настоящему ценить его никогда не будет. Что же произошло в Пурим? Своим поведением, готовностью к самопожертвованию евреи подтвердили ценность дарованного на Синае. Они доказали, что без Торы им не жить — вот это и было ее подлинное принятие! Тогда Тора действительно стала Торой Жизни, а не только даром Свыше. Если бы они повели себя иначе, результат был бы плачевным.

Нечто подобное можно видеть и во времена Йеосуа: евреи должны были воевать сами, своим мечом отвоевывать дарованную им страну. Чудо лишь создало им условия для служения: чтобы не говорили, что «было темно и невыносимые условия работы». Для овладения Страной Израиля евреи должны были сделать все зависящее от них, не оставляя усилий, не жалея себя. Они должны были подтвердить важность для самих себя Земли обетованной, подтвердить своей самоотверженностью, своей кровью. Потому она и остается нашей страной уже три с половиной тысячи лет.

В истории с Ребе Йосефом-Ицхаком столь же явно прослеживается идея необходимости самоотверженности для достижения целей, поставленных Творцом перед человеком. Евреям Свыше было послано испытание в виде советской власти. Какой соблазн! При условии забвения Торы и ее заповедей стало возможно, впервые в истории, быть таким же, как все, занять даже высокое положение, и при этом не надо было отрешиваться от своего происхождения. Этому можно было противостоять только при условии понимания того, что еврейство — та ценность, ради которой стоит жить и без которой существование теряет смысл. Людям, способным мыслить подобным образом, не надо приказывать, им надо дать возможность, лишь указав путь. Поэтому Любавичский Ребе прошел и тюрьму, и ссылку. Религиозное еврейство СССР праздновало его спасение, прекрасно понимая, что впереди будут страшные годы.

В кровавые тридцатые, когда начали расстреливать и сажать меламедов, учителей, собрались томим — элита любавичских хасидов — и решили, что женатых нужно освободить от преподавания, ведь их семьям, в случае потери кормильца, грозила голодная смерть. Но кто-то же должен выполнять эту работу! И несколько десятков холостых ребят, учеников подпольной ешивы «Томхей тмимим», сами вызвались отправиться туда, где расстреливали учителей, чтобы дать возможность женатым растить своих детей. Вот это отношение, это понимание своего долга и миссии сформировал Ребе Йосеф-Ицхак своим примером. И когда советская власть начала разваливаться, стало абсолютно ясно, что ее распад надо отсчитывать с отмены приговора Ребе. Именно тогда чудовище дало первую слабину — начало торговаться.

Возможно, сказанное выше может помочь понять, что имел в виду наш Ребе, когда сказал: «Я сделал все, что мог. Теперь делайте вы». Ведь чудеса бывают разными... Их так много вокруг нас: удивительные совпадения, удачные стечения обстоятельств, неучтенные возможности, но никто не обращает на них внимания. Когда-то Голда Меир сказала об арабах: «Они никогда не упустят возможность упустить возможность». Так это не об арабах, это о евреях! Евреи просто не понимают происходящего с ними, и это хорошо объясняет нынешнюю ситуацию.

После 3 тамуза 5754 года, после того, как сотни тысяч людей проводили гроб с телом Ребе на кладбище Монтефиори в Квинсе, даже самым пылким хасидам стало понятно: Всевышний не готов даровать нам Избавление. Согласно словам Ребе, Машиаха в этот мир должны привести те, кому он нужен. Следовательно, он еще не пришел потому, что тех, кому он нужен по-настоящему, недостаточно. Позволю себе предположить почему: люди решают личные проблемы и в большинстве своем ждут (если ждут!) прихода Машиаха лишь как способ их разрешения. Если же они могут быть решены иными путями, Машиах становится лишним. И поэтому мы имеем то, что имеем, и выглядим так, как выглядим...

С моей точки зрения, у всех этих, столь разных, событий, произошедших 3 тамуза, есть нечто общее, некая идея, которая придает смысл происходящему. Да, Всевышний мог все сделать иначе, но ведь и люди должны делать свое дело! В день смерти Ребе Йосефа-Ицхака вышел из печати его последний труд, последнее обращение, смысл которого можно подытожить так: евреи, перестаньте себя жалеть! Есть безумие глупости, есть безумие святости. Безумие святости — самоотречение. Пока твое личное благополучие является основным мерилем и критерием, ты не сможешь служить Творцу полноценно. Ты не сможешь вернуть в этот мир изгнанную Шхину. Б-га изгоняют люди, и чтобы Его вернуть, тоже нужны люди. Те, кто живет этим, кто немножко «забыл себя».

У хасидизма и психоанализа есть нечто общее: уверенность в том, что, поняв источник проблемы, человек обретает возможность ее решения. Было бы желание.

ЛЕХАИМ ИЮНЬ 2012 СИВАН 5772 – 6(242)

КНИГА ИОВА

ŃĬÂĐĂĬ ÂĬĬ ŪĒ ÂÂĐĒÂĬ Ò

ÂĬŃŪĬĬ ĒĬÂĬ ĒĒ ÔÂÂÂÂĬ ĒĒĬÂ, ÇÂĬ ĒŃÂĬĬ ŪÂ ÂÂÂĒÂĬĬ ØÂÛÛÂĐĬĬ

Това Альтгойз

Меня зовут Това Альтгойз, из семьи Марголиных, я родилась в Бобруйске в 1933 году. С мамой жила бабушка, которая была очень религиозной. Она соблюдала (насколько это было возможно в тех условиях) кашрут. Мать работала, а хозяйство, в том числе и готовка, лежало на бабушке. В Бобруйске в те годы еще был шохет, бабушка пользовалась его услугами, пекла перед субботой и праздниками халы. Она держала дома корову, сама доила ее, чтобы был «холов Исроэл», и делала творог, простоквашу, сыр. Мама очень любила бабушку, поэтому меня, первого своего ребенка, родившегося после ее смерти, назвала в ее честь — Гитой. Товой я стала в Палестине, но об этом расскажу чуть позже.



Νααύττᾱ Ὀράτῃ ε ῤᾱεεᾱᾱ. Ἐῶαδ-Ὀᾱᾱᾱ. 1954 ᾱᾱ

Ἰᾱᾱᾱᾱ ᾱᾱᾱᾱ ῤᾱεεᾱᾱ ᾱᾱᾱᾱ Ἰᾱᾱ ὀᾱᾱ ὀ Ἰ εἰ ὀᾱᾱ Ἀεῦᾱ ᾱεεε, Βἰεεᾱ-Ἐἰᾱᾱ ᾱᾱεεεἰ ε ῤεεεε Ἐᾱἰεᾱἰ

Ἀ ὀᾱᾱ ὀ ὀᾱ ᾱᾱᾱᾱ ῤᾱεεᾱᾱ ᾱᾱᾱᾱ ἰ ὀ ἰᾱᾱ ᾱᾱ ᾱᾱᾱ Ἰ εἰ ὀᾱᾱ Ἀεῦᾱ ᾱεεε, ῤᾱ ἰεἰ (ᾱ ᾱᾱεεε ὀεεεἰᾱ) ᾱᾱᾱ Ὀράτῃ ῤεεεε Ἐᾱἰεᾱἰ

Алего нэаа. Ытá бот'тэ. Нт нэа-аи е нот'тэ Ыт'оан Аеио нэе е Ыт'еа-Ет'но Дан'еи

Алего н'оаа. Сэеэе Отаа аи аио а н'аи о-е'тэ са т'ан'еиет аи ае аи н' адо е Сэеэа

Муж Гиты, мой дед Менахем-Мендл Каплан, был настоящим хабадником. В Бобруйске его все знали и уважали. И потому, что он был очень честным и прямым, и потому, что всегда и всем был готов помочь. Каждый год он ездил к Ребе Рашабу на йехидус^[1]. Сперва в Любавичи, а потом — в Ростов. Однажды, уже после кончины Ребе Рашаба, дедушка поехал в Ростов к новому Ребе — Раяцу. Какие-то бандиты сбросили его с поезда. Дед очень сильно разбился, его подобрал возле полотна железной дороги проезжавший мимо русский крестьянин и выходил, спас от верной смерти. Когда дедушка немного пришел в себя, он продолжил путь и все-таки добрался до Ростова, но так и не сумел оправиться от ран, полученных во время падения с поезда. Он попросил тамошних хабадников, чтобы его похоронили возле могилы Ребе Рашаба. Мы знаем, что эту просьбу выполнили, но где в точности находится его могила, так и осталось неизвестным. Несколько лет назад, когда мои знакомые хабадники поехали в Ростов, я попросила поискать могилу дедушки. Но они так ничего и не обнаружили. Хотя могила Ребе Рашаба сохранилась, возле нее в годы советской власти проложили дорогу, которая, по всей видимости, разрушила могилу деда. Алтер Ребе как-то сказал, что человек не имеет права думать о смерти и просить смерти, а должен думать только о жизни. Мой же дед озаботился не тем, как будет жить дальше, а где его похоронят. И смерть пришла.

Спустя несколько месяцев в наш дом ночью постучался один человек. Он очень не хотел, чтобы кто-то из посторонних его увидел, поэтому поговорил с моей бабушкой в неосвещенных сенях, не заходя в комнату, и тихо выскользнул за дверь, в полуночную тьму. Человек этот занимал важный пост в бобруйском ЧК и пришел предупредить моего дядю Элияу, что на следующее утро его намерены арестовать.

Дядя был сионистом, что покойному дедушке очень не нравилось. Собственно, дедушке не нравилось вовсе не то, что его сын собирается уехать в Палестину строить еврейское государство. Это он как раз приветствовал. Не нравилось ему, что тот отошел от религии, ведь тогда сионисты были неверующими. Чекист предупредил бабушку, что начинаются большие гонения на сионистов. Уже составлены списки, и самое лучшее, что может сделать Элияу, — это немедленно уехать. И не просто из Бобруйска, а вообще из СССР. Чекист сказал: «Приди к вам, я рискую головой. Если об этом пронюхают, я окажусь в тюрьме раньше вашего сына. Но я считаю своим долгом помочь ему, потому что ваш покойный муж когда-то спас мне жизнь».

Оказалось, что этот чекист еще в годы Гражданской войны был коммунистом. Когда в Бобруйск в очередной раз пришли поляки, кто-то написал на него донос в контр-разведку. Его арестовали и хотели повесить. Он, понятно, стал все отрицать, да так правдиво, что польский офицер сказал ему: «Если ты приведешь мне надежного свидетеля, который подтвердит, что ты не большевик, я тебя отпущу». И тогда он назвал имя моего деда: «Есть в Бобруйске Менахем-Мендл Каплан, он всем известен своей честностью и прямоотой. Послушайте, что он вам ответит». Позвали деда: «Нам сообщили, что этот парень большевик, а он клянется, что нет. Где тут правда, а где ложь?» И дед сказал: «Когда еврей говорит, я ему верю».

Он, конечно, знал, что этот парень большевик, — Бобруйск городок маленький, всем про всех все было известно. Но как же можно в такой ситуации не помочь еврею? Сказано в Торе: «Тот, кто спас хотя бы одну душу, как будто спас целый мир». Как выяснилось потом, дед спас тем самым не только этого еврея-коммуниста, но и собственного сына Элияу, а через многие годы — и меня, свою внучку. Той же ночью дядя скрылся из Бобруйска, благополучно добрался до Одессы и уплыл на первом же пароходе в Палестину. Ни бабушка, ни моя мать больше никогда его не видели.

Моя мама, звали ее Нехама, вышла замуж за своего двоюродного брата Зушу Марголина. Он происходил из семьи миснагидов^[2], и перед свадьбой мою бабушку все спрашивали: «Как же так, Нехама — дочь такого большого хабадника и выходит замуж за миснагида?» Бабушка ответила: «Это большая мицва — взять зятя миснагида и сделать его хабадником».

Бабушка сама происходила из семьи миснагидов, и когда дед Менахем-Мендл объявил, что женится на ней, все тоже удивлялись такому браку. И дед сказал ту самую фразу, которую через много лет повторила бабушка: «Это большая мицва — превратить миснагида в хабадника».

Пока была жива бабушка, она была ответственной в семье за готовку и соблюдение кашрута. Но и когда она скончалась, в доме ничто не изменилось. Мама не работала, воспитывала меня и мою старшую сестру Минну и продолжала соблюдать все, как было при жизни бабушки.

На Песах мама вычищала весь дом, и мы ели только мацу. Ее не покупали, а делали сами. Не у нас и не в синагоге, помню, как мы шли куда-то, где была большая печь, и там пекли мацу. В Бобруйске все еще работал шохет. Мама выращивала у нас во дворе гусей и перед Песахом отправлялась к шохету, чтобы приготовить мясо на праздник. Не только для нас, но и для сестры Дрейзл. В Ленинграде тогда было трудно с кошерным мясом, и мама взяла на себя заботу о том, чтобы обеспечить и семью сестры. Мама умела как-то так приготовить этих гусей, что они сохранялись долгое время без холодильника. Настолько долгое, что они прибывали в Ленинград в обычной почтовой посылке ничуть не испортившимися. Когда мама делала это доброе дело, то и не подозревала, что благодаря ему она спасет от голодной смерти двух своих дочерей...

В сорок первом году, за несколько месяцев до войны, мама, как всегда перед Песахом, пошла на почту, чтобы отправить гусей тете. С собой она взяла Минну, которая помогала нести кошелку с посылкой. Мама приготовила ее дома, запаковала и написала на ней адрес. Но на почте сказали, что от посылки идет слишком сильный запах и в таком виде ее не могут принять. Сотрудница почтового отделения посоветовалакупить несколько метров плотной бумаги и хорошенько завернуть в нее гусей, тогда запах станет слабее.

Мама оставила Минну сторожить посылку и отправилась в город на поиски бумаги. Не возвращалась она довольно долго — в СССР даже простая оберточная бумага была дефицитом. Пока мама ее нашла, пока вернулась, сестра от нечего делать и так, и этак рассматривала посылку. И столько раз прочитала написанный на ней адрес, что запомнила его наизусть. Минна до сих пор — спустя почти семьдесят лет — помнит этот ленинградский адрес нашей тети, спасший нам жизнь.

Немцы оказались возле Бобруйска буквально через несколько дней после начала войны. У нас дома на стене висело радио — большая черная круглая «тарелка» из плотного картона. Как сейчас помню: мама, я и Минна стоим возле этой тарелки и слушаем. И кто-то, захлебываясь от волнения, кричит из нее: «Товарищи жители Бобруйска, немецкие бомбардировщики приближаются к городу. Бегите, спасайтесь куда можете».

После такого предупреждения родители не медлили ни минуты — схватили нас, какие-то вещи, и мы убежали. К нам присоединилась семья брата отца — жена с детьми, ее мать, сестра — тоже с детьми. Мама в момент бегства была на девятом месяце беременности и двигалась с трудом. Поэтому, хотя ей помогал отец — его еще не успели призвать, — далеко убежать мы не смогли. Но самое главное — мы все же успели оказаться на другой стороне реки Березины, разделяющей Бобруйск на две части.

Когда мы переходили мост, Бобруйск уже пылал от немецких зажигательных бомб. Не знаю, что произошло выше по течению, может быть, разбомбили какое-то судно или уже шел бой, но на мосту я увидела, что река изменила свой цвет. Она стала красной от крови. Мои внуки, когда я им про это рассказываю, спрашивают: «Бабушка, ты ведь была еще маленькой девочкой, как ты помнишь, что река покраснела от крови?» Что я могу им ответить, есть вещи, которые забыть невозможно.

Как-то я описывала им свою жизнь в детдоме. Внучка спросила: «Бабушка, что ты думала тогда? Ты планировала, как будешь дальше жить, что будешь делать?» Я ответила: «В тот момент я думала только о том, как бы достать еще одну корочку хлеба». Эта девочка, выросшая в Кфар-Хабаде, где если и говорят о еде, так только о том, с помощью какой диеты быстрее похудеть, вряд ли была в состоянии меня понять...

К концу дня мы оказались в каком-то городке, и от всего пережитого у мамы начались схватки. Отец хотел остаться с нами, но его мобилизовали. Он просил, умолял, чтобы ему позволили дождаться родов, позволили помочь жене в первые дни, хотя бы устроить ее с детьми на поезд. Но куда там — его и слушать никто не стал. Немцы наступают, Родине нужны солдаты — марш в строй!

Мы остались одни, четыре женщины и пятеро детей, все мужчины уже были в армии. Через день мать родила мальчика — нашего единственного братика. Назвали его в честь дедушки — Шмарьяу. Немцы приближались, промедление было воистину смерти подобно. Как мать после родов сумела найти в себе силы и идти с новорожденным младенцем на руках, я не понимаю. Но шла — все же лучше, чем оказаться под властью немцев.

Мы шли без остановки несколько дней, ночевали в лесу, в канавах. Потом сумели сесть на какой-то поезд. Ехали долго, каждые несколько часов поезд останавливался, и кто-то кричал: «Налет, налет!» Мы выскакивали из вагона и бежали куда глаза глядят. Главное — подальше от железной дороги. А

сверху пикировали немецкие самолеты и поливали нас пулями — женщин и детей, больше ведь в поезде никого не было.

Эта картина тоже до сих пор стоит у меня перед глазами — поле, вокруг толпа бегущих женщин и детей. Я бегу рядом с мамой, у нее на руках Шмарьяу. Все кричат, да так страшно!.. И вдруг — рвущий уши рев моторов, самолеты проносятся прямо над нашими головами и стреляют, стреляют без остановки. А потом делают круг, возвращаются и снова стреляют. Когда они улетали, оставшиеся в живых бежали назад к поезду, и он сразу же трогался с места.

В конце концов мы добрались до Сталинградской области. Нас направили в какой-то совхоз, где мы и прожили до следующего лета. Поселились в одной избе, добродотная хозяйка отдала нам печь — большую русскую печь, и мы все вместе спали на ней. Мама пошла работать в поле, поэтому, хотя еды было мало, мы не голодали. Проблем с кашрутотом не возникало — ели мы только хлеб и мерзлую картошку, которую мама приносила с поля. И еще она где-то доставала макуху из шелухи подсолнухов. Ею кормили коров, но и мы были очень рады, когда нам доставался кусочек такой макухи.

Летом сорок второго года немцы снова оказались рядом. Мы уже знали тогда, что они делали с евреями, и надо было срочно уезжать. Наша хозяйка (из бывших кулаков), стала отговаривать: «Куда вы бежите, немцы интеллигентная нация, любят простой народ». Но мама сказала нам: «Если не немцы нас убьют, так эти немецкие подпевалы». И мы убежали — на последнем поезде, вывозившем какое-то оборудование. Это был даже не вагон, а открытая платформа, на которой стояли ящики со станками. Мы примостились между ними, стояла летняя жара, и холод не донимал нас даже по ночам.

Так мы добрались до Ташкента. Вышли из здания вокзала и оказались в каком-то городском парке. Там сидело много людей, очень много — все эвакуированные. Мать пошла в эвакуопункт, и нас направили в колхоз. В эвакуопункте ей сказали, что там нам будет хорошо, во всяком случае, всегда найдется какая-то еда. У нас уже имелся опыт жизни в Сталинградской области, и мать подумала: «Если там мы с голоду не пухли, то уж здесь, в Ташкенте, и подавно выживем». Тогда даже такая поговорка была: «Ташкент — город хлебный». Но все оказалось совсем не так, как рассчитывала мама, а намного ужасней.

Колхоз представлял собой маленькую, нищую деревушку. Нашим трем семьям выделили одну, правда большую, комнату в бараке. Каждая из семей разместилась в своем углу. Была в бараке еще маленькая кухонька, но мы ею почти не пользовались за ненадобностью. Нам выдавали паек — четыреста граммов хлеба на человека, но этого катастрофически не хватало.

Мать пошла работать на фабрику по переработке хлопка, моя сестра, которой тогда еще и тринадцати лет не исполнилось, пошла вместе с ней. Я, десятилетняя, оставалась дома с братиком. Он все время просил есть, но мне было ему нечего дать — все, что ему оставляли на целый день, он до крошки подметал еще утром. Вечером появлялись мама и сестра, приносили паек, мы съедали по кусочку хлеба, пили воду и шли спать. Каждый от своей порции отрезал кусочек — маленькому на следующий день. Это только кажется, что четыреста граммов хлеба — много. Если больше ничего нет, то этого крайне недостаточно. А хлеб в те годы делали уж не знаю из чего, и он был очень тяжелый, намного тяжелей, чем сейчас.

От такой жизни все вокруг болели и умирали. Заболела и мама. Очень тяжело. И умерла.

Мы остались втроем — Минна, я и маленький Шмарьяу. Минна продолжала работать, но, понятно, ее пайка не хватало на всех. Я сейчас просто не понимаю, как мы вообще выжили, как протянули эти несколько месяцев. Конечно, нам помогали родственники — тетя Хана (жена брата отца) и ее сестра. Но чем они могли помочь — сами голодали. Мать тети Ханы умерла от истощения за несколько месяцев до мамы.

И тогда тетя предложила: «Давайте отдадим Шмарьяу в детдом, вы, девочки, не сумеете его выходить». Мы поехали в близлежащий детдом, но таких малышей — а Шмарьяу было всего два годика — туда не брали. Прошло три месяца, мы голодали и холодали. Спали втроем — на охапке соломы. Шмарьяу спал плохо. Все время просыпался, просил пить, кушать. Но как-то одну ночь он спал спокойно, ни разу нас не побеспокоил. Утром Минна встала и говорит: «Гита, что случилось с нашим Шмарьяу? Он ни разу за ночь нас ни о чем не попросил и до сих пор спит как убитый». Я подошла к кровати, а братик наш — мертвый. Умер во сне, от голода. У него, бедного, наверное, сил уже не было плакать.

У нас даже лопаты не было, мы с тетей вырыли руками яму и похоронили в ней Шмарьяу. И тетя Хана сказала нам: «Девочки, вы должны себя спасти. Так дальше продолжаться не может, вы обе погибнете. Идите в детдом, вас хоть как-то будут кормить». Так мы и сделали. И там таки три раза в день нам давали похлебку с ломтиком хлеба. Немного, но нас это действительно спасло от голодной смерти.

В детдоме были только русские и украинские дети, поскольку он эвакуировался из Киева. Мы выделялись среди всех, в основном из-за акцента. Я очень сильно картавила, поскольку у нас в семье говорили на идише. И хотя отношение к нам было нормальным, мы все равно чувствовали себя другими. Не могу сказать, что чужими, но другими — это уж точно.



Ààèííòááííàÿ ñòòàíèàòàÿÿ àíàíàíàÿ òíòíàòòèÿ. Ñèààà íàíòààí: íòáò Òíàí — Çòòà Ì àòàèèí, Òíàà, àààòòèà Ðàòàèü Ì èííà Ñòíèò: ì àòü Ì àààì à 1940 àà

Однажды директор детдома собрала всех нас и говорит: «Дети, Красная Армия гонит врага на Запад. Большая часть Украины уже освобождена, у вас, наверное, остались какие-то родственники. Подумайте, попытайтесь вспомнить их адреса. Мы постараемся их разыскать».

И тут Минна вспомнила адрес тети, который выучила наизусть, когда сидела возле почты с посылкой и ждала, пока мама вернется из города с бумагой. Из детдома направили запрос в Ленинград, оттуда ответили, что семья тети эвакуировалась по Дороге жизни, куда — неизвестно. Мы продолжили поиски и обратились в центральное розыскное бюро, находившееся в Ташкенте. И через несколько месяцев нам прислали из Ташкента их адрес. Раскины оказались в Алма-Ате — совсем рядом с нами.

Мы сразу же отправили тете письмо. Постарались сдержать свои эмоции и просто рассказали, что с нами случилось и где мы находимся сейчас. Ответил муж тети, Янквив-Йосеф. Он написал, что не решается рассказать тете, что ее сестра и племянник умерли. Сперва он ее потихоньку подготовит, а только потом сообщит эту страшную весть.

В письме Янквив-Йосеф прислал сто рублей. Как их не украли, я до сих пор не возьму в толк. Но не украли, и эта купюра стала для нас огромным подарком, ценность которого мне даже сложно описать. Мы тут же побежали на базар и купили лепешку — большую, толстую, белую. Я до сих пор помню ее вкус, ее запах! Это было самое большое лакомство моего военного детства.

Как только Минне исполнилось четырнадцать лет, ее отправили в Ташкент, учиться в ФЗУ. Я была настолько истощена тогда, настолько обессилена, что мне уже было все равно, что происходит. Я пребывала в постоянной апатии, жила, словно в тумане, действовала, как какой-то робот. И беспрекословно выполняла все, что мне говорили. Сопротивляться, бунтовать просто не было сил.

И тут пришло письмо от тети Ханы: «Девочки, милые, что с вами, как вы? Бобруйск уже освободили, скоро мы туда поедem, и я заберу вас с собой». Г-споди, как я обрадовалась, как целовала этот клочок бумаги! Письмо словно оживило меня, вывело из почти сомнамбулического состояния! Передо мной словно распахнулся горизонт, появилась надежда, что я скоро покину унылый, опостылевший детдом — это вместилище бесконечной скорби и печали.

Сколько раз я потом представляла себе: вот в один прекрасный день появляется тетя и забирает меня. Я гордо выхожу со двора, закрываю за собой ворота и машу на прощанье рукой оставшимся в детдоме. Я еду домой! Мы едем домой! Вы слышите, все, весь мир: у меня есть семья, у меня есть близкие, любящие меня! У меня есть свой дом! Вместе с тетей мы отправляемся в Ташкент — за Минной, а оттуда — в Бобруйск, в наш добрый, теплый, милый дом.

Но через несколько месяцев в точно такой же полдень, в который мне столько раз представлялся приезд тети, в детдом прибыла новая партия детей. К нам постоянно доставляли детей, родители которых скончались от голода. Как правило, привозили их на открытом грузовике, в деревянном, выкрашенном в ярко-зеленую краску кузове. Когда грузовик въехал во двор, я увидела в этом зеленом кузове бледные, исхудавшие лица трех моих двоюродных братьев — сыновей тети Ханы. И сразу поняла: тети больше нет.

В Ташкент мы приехали тремя семьями — четыре женщины и шестеро детей. Приехали не на фронт, не в гетто или концлагерь, а в глубочайший тыл, в теплую, богатую, благодатную республику, где жили добрые, гостеприимные люди. Никто нас не преследовал, не убивал. Но всего через три года в живых остались только пятеро детей: я, Минна и три моих двоюродных брата.

От Раскиных не поступило ни одной весточки. И хотя я регулярно писала тете, она не отвечала. Я терялась в догадках — почему? Как это может быть, чтобы она не интересовалась нашей судьбой? Позже мне стало известно: тетя не писала как раз потому, что думала о нас и заботилась о нашей дальнейшей судьбе.

Я уже говорила, что тетя и ее муж были настоящими, преданными хабадниками. Когда они попали в Алма-Ату, сразу же связались с отцом Ребе — Леви-Ицхаком Шнеерсоном^[3], отбывавшим ссылку в этом городе. Когда реб Леви-Ицхак заболел, Янквив-Йосеф ухаживал за ним. И, понятное дело, за Янквивом-Йосефом и всей его семьей начали приглядывать органы.

Служка стала особо плотной после того, как отец Ребе скончался и Янквив-Йосеф устроил похороны, шиву, чтение кадиша в его доме — все, что полагалось. Органам это сильно не понравилось, и угроза ареста буквально нависла над ним. Естественно, что в такой ситуации тетя опасалась устанавливать с нами регулярную связь, боясь своими письмами привлечь и к нам внимание органов. Когда отец Ребе скончался, Янквива-Йосефа больше ничто не удерживало в Алма-Ате, и, чтобы избавиться от опасности, он при первой же возможности вместе со всей семьей уехал в Москву. И там произошло чудо: к ним домой пришел... мой отец!

Всевышний услышал наши молитвы и спас ему жизнь. На фронте смерть много раз проносилась совсем рядом, порой опаляла его своим дыханием. Отец получил ранение, но не тяжелое. Его эвакуировали в полевой лазарет, а потом отправили в тыл.

И вот в поезде он случайно разговорился с одним евреем. Шли тогда поезда долго, с частыми остановками. И попутчики коротали время за разговорами. Ну, слово за слово — кто ты, откуда едешь, где служишь, и отец посетовал: «Ищу семью и никак не могу найти». А еврей тот оказался из Ленинграда. Отец на всякий случай поинтересовался: «Может, вы знали в Ленинграде моего зятя — Янквива-Йосефа Раскина?» Тот аж подскочил: «Раскин? Я несколько дней назад в Москве столкнулся с ним на улице!» И дал отцу адрес.

Отец, конечно, сразу поехал в Москву. Что уж тут говорить, ждали его страшные известия: девочки в детдоме, а все остальные умерли от голода. Янквив-Йосеф сказал ему: «Все, теперь твоя главная задача — дети. Ты обязан поехать в Узбекистан и привезти их к нам, в Москву». Но как?

У Янквива-Йосефа была сестра, Сара Каценеленбоген, которую все звали муме Сора (тетя Сара). Выдающаяся женщина — деловая, хваткая, умевшая делать деньги буквально из воздуха. И к тому же очень красивая. С помощью своих красоты, энергии и денег она добивалась невозможного.

В годы войны она оказалась в Самарканде, где была большая колония хабадников. Отец написал муме Соре, попросил посмотреть, как обстоят дела у Минны в ФЗУ, и проверить, можно ли ее оттуда забрать.

Минна жила в комнате с еще тремя девочками. Хотя было очень голодно, но девочки — это девочки. Им тогда уже было по 14–15 лет, и они хотели как-то принарядиться. А как — денег-то у них не было ни копейки. И они придумали следующее: целую неделю не будут есть хлеб, который им выдают в ФЗУ. Продадут его и на вырученные деньги купят одной из них платье. А потом немного подождут — и купят таким же образом платье для следующей.

Минне досталась первая очередь. Она купила белое платье в красный горошек и просто не могла на него налюбоваться. Естественно, она его не носила, а хранила на какое-то праздничное мероприятие или на особый случай. А может быть, чтобы в воскресенье вместе с подружками прогуляться по городу. Это была ее первая обновка с начала войны, по существу — первое взрослое платье. Да еще и купленное самостоятельно.

Короче говоря, Минна так любила свою обновку, что даже спала вместе с ней, положив платье под подушку. Но через несколько дней после покупки, так ни разу не выйдя в нем на люди, она проснулась утром и — о ужас! — платья под подушкой не оказалось. Кто-то вытащил его ночью, а Минна даже и не слышала. Г-споди, какое горе было у нее!

Минна так расстроилась, что даже не пошла на занятия. Она сидела на своей кровати и плакала, когда в комнату вошла муме Сора и сказала ей: «Я за тобой, пошли». Муме Сора обо всем договорилась с руководством училища, оформила все необходимые документы. Они уехали в Самарканд, где Минна прожила полгода до приезда отца.

В Самарканде все любавичские нашли себе хорошую работу — ткали чулки. Фабрика устанавливала им дома ткацкие станки и назначала объем выработки. А дальше уже было твое дело, как его выполнить. Хочешь — работой днем, хочешь — ночью. Главное, чтобы в конце месяца ты отчитался по установленному для тебя плану. Эти планы были большие, трудиться приходилось много, но такая работа давала уникальную возможность соблюдать субботу и праздники. И приносила пусть и небольшой, но твердый заработок. Минна тоже включилась в эту работу и не голодала все время, пока жила в Самарканде.

Папа приехал в детдом точно в День Победы, 9 мая. Б-же, какое это было счастье для меня и моих двоюродных братьев!

Я не была в гетто и в концлагере. И не числюсь среди тех, кого называют «ницолой Шоа» — выживших в Катастрофе. Но я отношу себя к ним с полным основанием: я пережила не меньше горя, смертей и ужаса. Человек — слабое создание, на которое окружающий мир оказывает сильнейшее воздействие. И порой достаточно совсем малого, чтобы расправиться с ним, — чуть меньше еды, чем надо, отсутствие в нужный момент нескольких таблеток, просто сквозняк в вагоне. Но иногда человек бывает крепче стали. Как я выжила, почему сохранила не только физическое, но и душевное здоровье? Не понимаю. И мои дети, когда я им все это рассказываю, тоже не понимают. А о внуках и говорить нечего: для них бабушкины истории примерно то же самое, что и сказки. Они не могут себе представить, что все это было на самом деле, с реальными, а не вымышленными людьми. Что все это не придумано, а пережито. И слава Б-гу, что не могут.

Забегая чуть вперед, расскажу, что мой будущий муж, Зелиг, был единственным из всей его большой хабадской семьи, кто выжил в ленинградской блокаде. Он потерял всех до единого. Просто всех!

Но вернусь в сорок пятый год. Мы прибыли в Москву точно в праздник Суккот и с вокзала прямиком отправились в синагогу, в сукку. Там мы столкнулись с дядей Янкивом-Йосефом. Не могу забыть своего удивления — и не только оттого, что впервые за много лет я вновь оказалась в сукке, но и оттого, что на столах стояло довольно много тарелок с едой и никто не набрасывался на нее. Люди спокойно сидели, пели песни, делали «лехаим», закусывали. Я уже отвыкла, что возле еды кто-то спокойно сидит. Все последние годы, когда на столе оказывалась пища, ее моментально сметали до последней крошки. У меня полились слезы, но я как-то сумела себя сдержать. А у Минны началась настоящая истерика.

Янкив-Йосеф вывел нас из сукки и отвел к себе домой. Когда мы зашли в квартиру, он не пустил нас в комнаты, а проводил на кухню и позвал тетю, чтобы она полностью раздела нас. Потом взял наши грязные, совершенно завшивленные вещи и, хотя это был праздник, сжег их в печке. Он велел тете немедленно разогреть воду и вымыть нас. Да не просто вымыть, а выдраить мылом и мочалкой.

В сорок шестом году начался отъезд польских евреев из России. Ребе написал письмо: тот из хабадников, кто может выехать, причем любым путем, пусть уезжает. Но как? Мы ведь не польские евреи, а русские. Реб Мендл Футерфас создал целую подпольную организацию, которая наладила производство фальшивых документов. Раскиным в числе первых удалось получить такие документы. Минна выехала вместе с ними, они записали ее как свою дочь. И тут наш добрый ангел муме Сора раздобыла у реб Мендла Футерфаса бумаги на выезд для семьи своего старшего сына. В них вписали меня и двух моих оставшихся в живых двоюродных братьев как его детей. И в сорок шестом году по этим фальшивым документам мы благополучно выехали из Советского Союза. Когда я расставалась с отцом, то думала, что разлука будет недолгой, — он должен был уехать со следующей партией хабадников. Но организацию реб Мендла раскрыли, и отец застрял в СССР на долгие двадцать лет.

Когда мы встретились, я уже была замужем, имела свой дом, семью, детей. Судьба распорядилась так, что детство мое прошло, по существу, без родителей — без ласки матери, без совета отца. Была у нас в детдоме такая песенка, я помню ее до сих пор: «Я не мамкина, я не папкина, я на улице росла, меня курица снесла». Но, к счастью, ко мне не прилипли обычаи и привычки улицы, я осталась религиозной еврейской девочкой.

В Польше нас встретили представители «Джойнта» и дали еду. До сих пор, хотя я уже шестьдесят лет живу в Израиле, первое, что мне приходит на ум, когда я вспоминаю Польшу, — еда. И не только Польшу. Еда тогда и еще много лет спустя была для меня самым главным. Я, конечно, понимала, что уже больше нечего опасаться — голод не вернется. Но, несмотря на магазины, полные продуктов, на собственную кухню, забитую ими, поделаться с собой ничего не могла. Вечно припрятывала где-нибудь маленькие запасы — для чего, зачем? Но я запасалась едой и не могла себя превозмочь...

Из Польши мы напрямиком направились в Германию, в перевалочный лагерь Покинг. Там уже находилось около восьми тысяч евреев, спасшихся в Катастрофе. Скоро там собрались многие наши родственники — Раскины с Минной, маленький Хаимке и Додик, приехавшие с какими-то хабадскими семьями из Самарканда. Всем им устроила документы муме Сора.

В Покинге началась более-менее нормальная жизнь. Еды было вдоволь и к тому же кошерной. С детьми начали заниматься, а хабадники организовали ешиву. И тут появился мой дядя из Эрец-Исраэль. Тот самый сионист Элияу Каплан, который чудом ускользнул из лап чекистов в Бобруйске. Он узнал, что сестра скончалась, ее муж застрял в СССР, а мы, две его племянницы, остались неприкаемыми. Кстати, рассказал ему об этом известный хабадник Пинхас Альтгойз — дядя моего будущего мужа. Он занимался помощью русским евреям и был в курсе всех дел. Много лет спустя я назвала в его честь одного из моих сыновей, который сейчас является представителем всех раввинов СНГ в Израиле. Он часто ездит в Россию, вхож там в самые высокие круги. Кто мог знать, что жизнь примет такой оборот?

Дядя Элияу приехал в Покинг в начале сорок седьмого года. Он не видел тетю Дрейзл больше двадцати лет и боялся, что его внезапное появление испугает ее. Ему указали на бараки, где жили хабадники, а он все ходил вокруг да около, не решаясь войти. Потом подозвал какого-то мальчика, игравшего во дворе, и научил его, что говорить.

Тот зашел в барак и спросил у тети: «Дрейзке, у вас есть брат в Эрец-Исраэль?» «Конечно, есть. Но я его уже много лет не видела и не имею о нем никаких вестей. А что ты вдруг спрашиваешь?» — ответила она. «Да потому что он стоит там, под домом, во дворе», — сказал мальчик.

Дрейзл не поверила, решила, что произошла какая-то ошибка или над ней подшучивают. Мальчик выбежал во двор и рассказал это Элияу. И только тогда он решился войти в барак.

О, какая это была встреча! Как они смеялись от радости, как целовали друг друга! И сколько слез пролили вместе! Им надо было о многом друг другу рассказать, ведь столько времени прошло с тех пор, как он мальчиком ночью убежал из дома. Целая жизнь!

Элияу пробыл в Покинге несколько дней, все разузнал и предложил, чтобы я вернулась вместе с ним в Эрец-Исраэль. У него в заграничном паспорте была записана дочь, примерно моего возраста. И он спокойно мог ввезти ее в Палестину, тогда ведь такого жесткого паспортного контроля, как сейчас, не было. Задурить голову англичанам не представляло особого труда — дядя просто должен был сказать, что возвращается вместе с дочерью из путешествия за границу.

Когда мы приехали в Палестину, я поменяла свое имя. Дядя сказал мне категорически: «Здесь нет галутных имен. Надо выбрать ивритское имя». Ну, понятно: Гита — это Това[4]. Так я стала Товой.

Дядя жил в мошаве Авигаль, возле Нетании. Он очень хорошо устроился в Палестине, был довольно состоятельным человеком, имел свой дом, фирму, сбережения в банке. И семья у него была хорошая — жена, трое детей. Но все годы его мучило, что он один, совершенно один, все его родственники остались в СССР. Поэтому он очень старался помогать мне и Додику.

Но он не знал, что с нами делать. Мы ведь словно явились с другой планеты. Хотя мне уже минуло тринадцать лет, я была маленькой и очень худой. Когда я шла спать, всегда брала с собой в кровать несколько кусочков хлеба. Понятно, как это смотрелось и кем меня потихоньку считали мои двоюродные братья и сестры, выросшие в Палестине и не знавшие, как люди умирают с голоду. «Ницолей Шоа» — спасшиеся в Катастрофе — еще не приехали, и такое поведение было для сабр, мягко говоря, необычным. Я действительно казалась им инопланетянкой.

Дядя устроил Додика в садик, начал устраивать и меня в учебное заведение. Но я сказала, что хочу быть с такими же детьми, как и я. Тогда организация «Алият а-ноар» («Репатриация молодежи») собирала по всей Европе уцелевших еврейских детей и переправляла в Эрец-Исраэль. В сельскохозяйственной школе «Микве Исраэль», находившейся возле Тель-Авива, она расселила первую группу детей из Польши. Они прошли ад, и я прошла ад. Мне не нужно было ничего объяснять или доказывать им, они понимали меня без слов, среди них я не выглядела белой вороной. Меня включили в группу, я прозанималась в ней два года и до сих пор сохраняю связь со своими соучениками.



Օրդն Գ ԳձԻ ԷԷ, Գ ԷԷՅՅՅՅ ԾԵՃՃՃ-ՕՅԷ, ԱԻ ՄԻՃՃ ՈՐԻՃՃՃՃԷ Է ԷՐԻ ԱՐՅԵՃՃԻ. 1952 թթ

В «Микве Исраэль» были две группы — религиозная («Мизрахи») и светская. Мы относились к «Мизрахи», нас обучали истории, Танаху, арифметике, сельскому хозяйству. Не могу сказать, что это восполняло обширные пробелы в моем образовании, но и это было хорошо. Я хоть и окончила большой жизненный университет, но в нормальной средней школе почти не училась. В пятьдесят первом году, когда мне минуло семнадцать лет, я записалась на курсы медсестер при иерусалимской больнице «Шаарей цедек». Я выбрала именно эту больницу, потому что она обслуживала в основном религиозное еврейское население Иерусалима и в ней работало много верующих.

Начались занятия, которые мне очень нравились, — и сами предметы, и интенсивность лекций. Но тут сказало мое голодное и холодное детство. Я проучилась совсем немного и заболела. Сперва прихватила ангина — хоть и тяжелая, но всего лишь ангина. Но она дала осложнение на сердце.

Мне сделали операцию — вырезали гланды. Когда дядя приехал меня проведать, главврач отозвал его в сторону и сказал: «Если бы эта девушка была моей дочерью, я бы ни за что не позволил ей учиться, а потом работать по такой тяжелой специальности, как медсестра. Конечно, она еще очень молода, и, скорей всего, у нее все пройдет. Но я бы не стал рисковать и забрал ее с этих курсов». Дядя как услышал это, воскликнул: «Что, это же моя дочь!» И забрал меня в тот же день. Так я и не стала медсестрой.

Перелом в наших отношениях произошел, когда Зелиг заболел. Он жил, понятное дело, в Кфар-Хабаре: Альт-гойзы — это не просто хабадники, а одна из самых уважаемых и больших хабадских династий. Но, как я уже говорила, все близкие Зелига погибли в ленинградской блокаде. И поэтому жил он один. Дали ему какой-то угол в полуразрушенном арабском доме — ведь тут была арабская деревня, покинутая жителями. И первые жители Кфар-Хабара жили в этих домах. Потом, понятно, построили нормальные жилища.

Один раз Зелиг должен был приехать ко мне в гости, но не приехал. Тогда даже обычные телефоны были большой редкостью, поэтому ничего странного не было в том, что он не позвонил. Но на сердце у меня было беспокойно. И я поехала в Кфар-Хабар, чтобы разыскать Зелига. Начала расспрашивать его друзей, знакомых и выяснилось, что уже несколько дней его никто не видел. Тогда я пошла к нему домой. И что же: он, бедняга, валялся на своем матрасе, положенном прямо на пол. Зелиг был так беден, что не имел кровати. И вот на этом полу он провел три дня с температурой под сорок градусов. К нему никто не приходил, а он даже не имел сил выйти. И на работе его никто не хватился, хотя тогда он уже был гражданским сотрудником на одной из военных баз. Я никогда не забуду это зрелище: в Эрец-Исраэль, в самом центре страны, и не где-нибудь, а в Кфар-Хабаре, он мог запросто умереть. И я сказала: «Все, как только ты выздоравливаешь, мы идем в раввинат и ставим хупу». Это было в пятьдесят четвертом году.



ביעא-עליא דארעל יא אאד י עואא י עאי י י עעא וראו. 1965 א"ה

Мы поселились в Кфар-Хабаре, и с тех пор вот уже пятьдесят четыре года я здесь живу. Сперва у нас была одна комнатка Зелига в разрушенном арабском доме — с туалетом во дворе. Без водопровода, с крысами, бегавшими по комнате ночью. В пятьдесят пятом году, когда я родила первую дочку, Двойреле, «Сохнут» начал строить дома для жителей поселка. И нам хотели возвести домик с двумя маленькими и низкими комнатками, да еще и с туалетом во дворе. Дядя Элияу помог нам с деньгами, и во время строительства нам сделали туалет в доме и увеличили высоту потолков. В общем, это было самое настоящее счастье — хоть и небольшой, но свой собственный новый дом. Только для моей семьи, моего мужа и детей. После всего, что я прошла, эти две комнатки стали моим убежищем, моим раем, моей землей обетованной. Семья потихоньку росла — родились еще одна дочка и трое сыновей. Все стали хабадниками. Все, кроме одного сына, обзавелись семьями. У меня много внуков, я богатая бабушка.

Мои дети часто спрашивают: мама, как ты могла пройти через ад и не просто выжить, а стать такой, какая ты есть? Я и сама не понимаю. Думаю, все дело в корнях. Я ведь почти не имела детства, мыкала горе чуть ли не с младенчества: война, эвакуация, голод, смерть близких. Мать умерла рано, отца я почти не видела, поэтому воспитывать меня, по существу, было некому. Откуда же взялись мои убеждения, моя вера во Всевышнего, мои моральные и этические принципы, которые я пронесла через все испытания? У меня есть только один ответ: корни, мои святые предки, хабадники. В иудаизме есть такое понятие — «заслуги отцов». Благодаря этим заслугам я прошла через ад и не сломалась, сохранила заветы предков, добралась до Эрец-Исраэль и сумела создать большую, настоящую любовичскую семью...

[1]. *Йехидут* (в ашкеназском произношении — йехидус) — личная аудиенция, которую Ребе дает своему хасиду. Во время этой встречи, происходящей с глазу на глаз, хасид делится своими проблемами и просит у Ребе совета.

[2]. *Митнагед* (ивр. «противящийся», «возражающий») — представитель направления в иудаизме, выступавшего против хасидизма.

[3]. *Леви-Ицхак Шнеерсон* (1878–1944) — отец Ребе Менахема-Мендла, праправнук третьего Любавичского Ребе Цемаха Цедека, главный раввин Екатеринослава (Днепропетровска). В 1939 году был обвинен в антисоветской деятельности и сослан в Среднюю Азию.

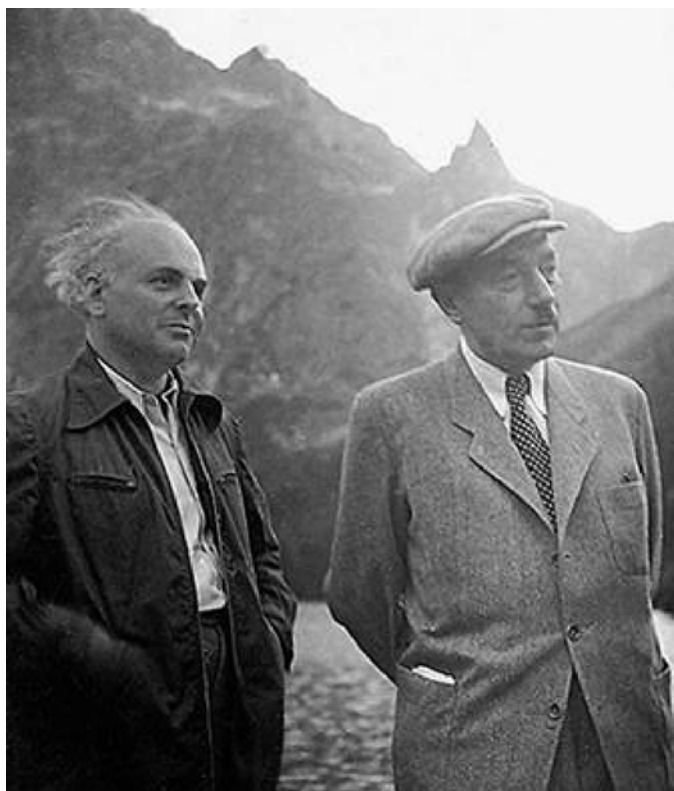
[4]. *Гита* — от «гит» — добро (идиш). *Това* — от «тов» — добро (ивр.).

ЛЕХАИМ ИЮНЬ 2012 СИВАН 5772 – 6(242)

ХРУЩЕВ, ПОЛЬША И ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС

Геннадий Костырченко

Вскоре в издательстве «Международные отношения» выйдет в свет новая книга Г. Костырченко «Гайная политика Хрущева. Власть, интеллигенция, еврейский вопрос». Мы предлагаем вниманию читателей журнальный вариант одного из разделов этой книги.



Βέσι Ααδι αι (πρώτος) ε Ατέαπεία Ααδύ αι αδι υ ίταπείε á Οαο όύ. 1950 αά

ŃÒÀĚĚĬ ŃĚĬÁ Ĭ ÀŃĚÁĀĚÁ

Оглашенный на закрытом заседании XX съезда доклад «О культе личности и его последствиях» внес смятение в польскую делегацию. Возглавлявший ее первый секретарь ЦК ПОРП Болеслав Берут, который был, что называется, без лести предан Сталину, от сильного расстройств даже слег в Москве, а 12 марта 1956 года скоропостижно скончался в Кремлевской больнице. Тогда перед Кремлем встал важный вопрос о будущем главе второй по политической значимости после СССР страны — участницы военного восточноевропейского (Варшавского) договора. Решение этого вопроса серьезно осложнялось перманентной подковерной борьбой за власть в польском коммунистическом руководстве, всецело воцарившемся в стране с января 1947 года.

Причем еврейский фактор играл в данных интригах одну из ключевых ролей. Впервые он резко обозначился еще в конце 1948 года, когда к Сталину обратился бывший генеральный секретарь ЦК Польской рабочей партии (преобразовалась в ПОРП) Владислав Гомулка[1]. 14 декабря он писал: «Личный состав руководящих звеньев государственного и партийного аппарата (Польши. — Г. К.), рассматриваемый с национальной точки зрения, по-моему, создает преграду, затрудняющую расширение нашей базы... Можно и меня считать ответственным за <...> высокий процент евреев в руководящем государственном и партийном аппарате, но главная вина за создавшееся положение вещей падает, прежде всего, на товарищей евреев. <...> На основе ряда наблюдений можно с полной уверенностью заявить, что часть еврейских товарищей не чувствует себя связанной с польским народом <...> и польским рабочим классом никакими нитями или же занимает позицию, которую можно назвать национальным нигилизмом»[2].

Однако этот демарш, предпринятый отнюдь не случайно в момент, когда в СССР стали вновь громить так называемых еврейских националистов, оказался для Гомулки неудачным. В своем стремлении сыграть на «антисемитской струне» Сталина он действовал достаточно примитивно, не сумев постичь его прихотливого прагматического «диалектического подхода». Этот подход советского вожда народов заключался в том, что одних евреев, скажем в Чехословакии, он, подозревая их в нелояльности, подвергал гонениям, но одновременно других, например в руководстве Польши или Венгрии, — поддерживал, видя в них свою властную опору и политический противовес национально ориентированным политическим деятелям этих стран (к коим причислил, кстати, и Гомулку).

Сделав в Польше ставку на евреев, Сталин не мог предварительно не принять в расчет того немаловажного обстоятельства, что в годы второй мировой войны немалое количество польских евреев являлось гражданами СССР, там они пережили Холокост[3] и начиная с 1944 года стали возвращаться на родину. До конца 1949 года в Польшу с востока прибыли 230 тыс. евреев[4]. Если в июле 1945 года в Польше числилось 55 509 евреев, то летом 1946 года — уже 250 тыс. Правда, там их никто не ждал, особенно тех, кто претендовал на свою довоенную собственность и жилье. Дело дошло даже до погромов, произошедших в Люблинском, Кельцком воеводствах, в Кракове и других местах. До лета 1947 года там погибло в общей сложности около одной тысячи евреев[5]. Вместе с ними от рук национал-экстремистов пострадало и немало православных польских граждан, ставших жертвами кровавых инцидентов.

Эти насилия и общая послевоенная неустроенность стояли в ряду главных причин, обусловивших массовую эмиграцию евреев из Польши. Всего в 1945–1955 годах из страны выехало 200 тыс. евреев[6].

Тем не менее степень влияния деятелей еврейского происхождения на положение дел в правящей партии, государственном управлении и интеллектуально-культурной сфере практически не снизилась. Особенно существенными были их позиции в органах Министерства общественной безопасности (МОБ).

Подобный этнический кадровый расклад в руководстве спецслужб Польши, являвшихся в руках Сталина главным инструментом контроля за внутренней ситуацией в этой стране, уже сам по себе обрекал на неуспех упомянутую «антиеврейскую» попытку Гомулки заручиться поддержкой советского вождя. К тому же Сталин на горьком для него югославском опыте (скандальный разрыв с Иосипом Броз Тито) уже тогда успел убедиться в том, что реализация в восточноевропейских странах-сателлитах национальных моделей построения социализма однозначно противопоказана его империи. Поэтому было вполне закономерным то, что Гомулку, обвиненного в «право-националистическом уклоне», сначала полностью вывели из политической жизни страны, а со 2 августа 1951 года вместе с женой-еврейкой Софи (Ливией) Шокен административно изолировали в загородном особняке, где продержали до 13 декабря 1954 года[7].

Тогда в противоборстве с Гомулкой победил Берут, всецело опиравшийся на промосковский ориентированных высших партфункционеров, входивших в Политбюро ПОРП, в котором доминировало «руководящее ядро» в составе Якуба Бермана, Гилярия Минца и Романа Замбровского. Все они были этническими евреями, а лидером этого триумvirата безусловно являлся Якуб Берман (1901–1984), отвечавший в Политбюро за самый важный сегмент государственной власти — Министерство общественной безопасности и другие силовые органы, а также за пропаганду. Занимая дополнительно еще и пост статс-секретаря Президиума Совета министров Польши (в 1947–1952 годах), Берман ведал и «еврейскими делами»: в 1947–1949 годах курировал еврейскую эмиграцию (тогда из Польши в Палестину выехало 30 тыс. человек). Его брат, левый сионист Адольф Берман, возглавлял с 1946 года Центральный комитет евреев Польши. Однако в 1949 году, будучи обвинен в еврейском национализме, сложил с себя руководство этой организацией и вынужден был в 1950-м перебраться в Израиль.

Вторым по властному рейтингу в триумvirате был Г. Минц. Сразу после войны он был назначен министром промышленности, а в 1949 году — заместителем, потом первым заместителем председателя Совета министров Польши, возглавлял также польский Госплан. Его жена Юлия руководила информационным агентством ПАП. В начале 1949 года служебная деятельность Минца была отмечена одним весьма пикантным эпизодом. Тогда он вместе с Берутом, учитывая повышенную в то время антисемитскую возбудимость польского общества, выразил советскому послу В. З. Лебедеву резкое недовольство некачественным дублированием некоторых демонстрировавшихся в Польше советских кинофильмов («Русский вопрос», «Поезд идет на восток» и др.). В них, как было пояснено диппредставителю Москвы, польская речь звучала «с заметно выраженным еврейским акцентом», на что зрители бурно реагировали, а некоторые из них даже демонстративно покидали просмотровые залы. По этому инциденту Маленков распорядился провести в ЦК ВКП(б) специальное расследование. К разбирательству была привлечена группа экспертов-лингвистов, устроивших проверку («на еврейский акцент») дикции актеров, дублировавших злополучные фильмы[8].

Самым младшим в триумvirате — не только по возрасту, но и по политическому ранжиру — был Р. Замбровский, который до войны возглавлял польскую комсомольскую организацию, а потом, находясь в СССР, руководил формированием Союза польских патриотов и Армии Людовой. Став в 1948 году вторым секретарем ЦК ПОРП, он возглавил важную сферу подбора, расстановки и «чистки» высших управленческих кадров.

Все это отнюдь не означало, что власть в Польше была монополизирована функционерами еврейского происхождения. Ведь в Политбюро, Секретариате ЦК ПОРП, а также в правительстве им противостояла не менее влиятельная группировка «патриотов» (так называемых «натолинцев»[9]). В нее входили в основном этнические поляки, в том числе следующие члены Политбюро: заместитель председателя Совета министров Зенон Новак, председатель Госсовета Александр Завадский, министр культуры Влодзимеж Сокорский и др. Они тоже были всецело преданы Кремлю и за его симпатии активно (хотя и тайно) конкурировали с коллегами-евреями, разыгрывая при случае и юдофобскую карту.

Ϊ Ϊ ΝΩΝΟΑΕΕΪ ΝΕΛΒ Ϊ ΑΔΑΝΟΒΪ ΕΕΑ ΝΤΑΑΟΝΕΪ-Ϊ Ϊ ΕΥΝΕΕΟ ΙΟΪ ΙΘΑΪ ΕΕ

В определенной мере к «натолинцам» примыкал и Константин Рокоссовский, который по просьбе Берута в 1949 году был отправлен Сталиным в Польшу для назначения министром национальной обороны. Эта связь советского военачальника с польскими националистами особенно проявилась после смерти «вождя народов», являвшегося главным, а может быть, и единственным в Кремле покровителем «триумвирата». Тогда атаки на них со стороны коллег-«патриотов» стали стремительно нарастать.

20 октября 1953 года Рокоссовский явно с подачи «натолинцев» сообщил в советское посольство о засилье кадров еврейской национальности в политуправлении Войска Польского, что он счел следствием чрезмерного влияния Берута Бермана и других евреев. В ответ советское «коллективное руководство» в лице Маленкова, Хрущева, Молотова и Булганина настоятельно посоветовало «польским товарищам» (прежде всего, надо думать, Беруту!) «серьезно заняться выдвижением руководящих кадров из числа выросших и преданных партии товарищей польской национальности»[10].

Такое решение Президиума ЦК КПСС вдохновило советского посла в Варшаве Г. М. Попова[11] на новые наскоки на еврейских «триумвиров» в польском руководстве. Однако Берут ответил на этот демарш решительной контратакой. В ультимативной форме он потребовал от Маленкова и Хрущева отозвать Попова из Варшавы, пригрозив в противном случае уйти в отставку. Советские вожди не стали рисковать и уступили: 13 февраля на заседании Президиума ЦК они обвинили вызванного в Москву Попова в недопустимом вмешательстве во внутренние дела страны пребывания и антисемитизме. Потерпев сокрушительное фиаско, тот был отправлен на «хозяйственную работу» в советскую глубинку[12].

Пойдя навстречу Беруту, Кремль, со своей стороны, настоял на инициации в Польше вскрытия недавних наиболее вопиющих «нарушений социалистической законности». Спекулируя на этом курсе, вылившемся в первоочередную люстрацию в органах госбезопасности (самой одиозной государственной институции), «натолинцы» постарались придать ему антисемитский характер. Добиться этого не составило большого труда, поскольку налицо была значительная концентрация евреев в органах польской госбезопасности. Первым делом от руководства ими был отстранен Я. Берман, получивший как бы взамен должность заместителя главы правительства без определенных полномочий. Да и ослабевшему здоровьем Беруту тоже пришлось поделиться частью своих полномочий: в том же 1954 году он уступил Ю. Циранкевичу важнейший пост председателя Совета министров. Тогда же отправили в отставку и министра общественной безопасности С. Радкевича. Чтобы дискредитировать его, «натолинцы» публично причисляли этого чистокровного поляка к евреям, которым он также был, мягко говоря, не очень симпатичен. Именно ему приписывался следующий риторический вопрос, обращенный к принятой им депутации так называемого Центрального комитета польских евреев, потребовавшей после погрома в Кельцах проведения официального расследования и наказания убийц: «Вы что, хотите заставить меня депортировать в Сибирь 18 миллионов поляков?»[13]

Впрочем, наряду с евреями мнимыми были «вычищены» и настоящие: скажем, такие одиозные спецслужбисты, как заместители министра общественной безопасности Ю. Ружанский, А. Фейгин и др. Еще раньше, в декабре 1953 года, не дожидаясь карьерного краха, бежал на Запад высокопоставленный функционер «органов» Ю. Святло (И. Фляйшфарб), который с сентября 1954 года стал выступать на радиостанции «Свободная Европа».

Однако «натолинцы», стремившиеся полностью покончить с «триумвиратом», не довольствовались такой ограниченной (сферой госбезопасности) кадровой перетряской. В сепаратный съезд представителей большинства членов ПОРП потребовал принять следующие меры в отношении евреев: привести их количество в органах власти в пропорциональное соответствие с общей численностью этого нацменьшинства; полностью удалить его представителей из народного Войска Польского, органов госбезопасности, Министерства иностранных дел, государственной администрации, структур управления просвещением, радио, печатью, кино, театрами, государственной промышленностью; обязать евреев, носящих полонизированные фамилии, указывать в скобках и истинные[14].

ΝΟΑΑÊÈ ÒÐÓÛ "ÀÀ ÍÀ ÍÀÖÈÍÁË-ÊÍÍÑÐÀÀÒÎÎÐÍÁ Á ÍÎÎ

Между тем весной 1956 года градус бюрократического антисемитизма в Польше резко повысился. Произошло это в результате антисталинских разоблачений на XX съезде КПСС и внезапной кончины в Москве потрясенного ими Берута. Для участия в его похоронах и в назначении нового польского лидера 15 марта 1956 года в Варшаву прибыла советская делегация во главе с Хрущевым. Тот уже располагал принятым накануне Президиумом ЦК КПСС планом, сводившимся к следующим главным задачам: во-первых, покончить с властным «триумvirатом», который, как виделось из Москвы, утратил со смертью Берута политическую жизнеспособность; во-вторых, передать бразды правления страной руководителям ПОРП «коренной национальности» и, в частности, предложить для избрания на пост первого секретаря членов Политбюро ЦК ПОРП А. Завадского и Э. Охаба[15].

Однако на собравшемся в Варшаве VI пленуме ЦК ПОРП были неожиданно выдвинуты кандидатуры лидеров противоборствовавших в этой партии группировок — З. Новака и Р. Замбровского. Первый предводительствовавший партконсерваторами («натолинцами»), а вокруг второго — хотя и входившего в «триумvirат», но успевшего к тому времени дистанцироваться от Бермана и Минца (стали одиозными из-за бывших тесных связей с госбезопасностью) — стали концентрироваться партлибералы (так называемые «пулавяне»[16]). Если Замбровский выступил в прениях достаточно осторожно, то Новак, напротив, был не сдержан, обрушившись на своего конкурента с грубой критикой, изобиловавшей к тому же антисемитскими инвективами. Это еще больше настроило против него либералов (превалировали в ЦК) и отпугнуло умеренных, сделав его тем самым «непроходным».

Во «второй тур» выборов лидера Польши прошли секретарь ЦК ПОРП Охаб, зарекомендовавший себя умеренным и политически нейтральным, и другой секретарь ЦК (по кадрам) «пулавянин» Замбровский. Для последнего, как вспоминал Хрущев, «не осталось секретом, что Москва не поддерживает его кандидатуры», тем не менее «его (Замбровского. — Г. К.) сторонники развили бешеную работу <...> особенно против меня (Хрущева. — Г. К.)»[17].

Яростные нападки поляков на Хрущева были, видимо, вызваны бестактным вмешательством того в их национальные и внутрипартийные дела. Энергично продавливая на пленуме своего кандидата (Охаба) и используя в качестве аргумента резон пропорционального этнического представительства в органах власти и вузах, он заявил, что «хотя т. Замбровский хороший и способный товарищ, однако в национальных интересах Польши лучше выдвинуть руководителя партии польской национальности, так как чем больше выдвигать на руководящие должности евреев, тем больше будет антисемитских настроений»[18].

Реагируя на столь очевидное отвержение его Кремлем, Замбровский был вынужден заявить о самоотводе. Однако, несмотря на все старания, Хрущев так и не смог воспрепятствовать его переназначению на пост секретаря по кадрам — второй по значимости в ЦК ПОРП.

И пусть Охаб все же стал лидером Польши, но это была «пиррова победа» Хрущева, принципиально ничего не менявшая, разве что на некоторое время выведшая страну из того опасного политического пике, в которое та вошла из-за начавшегося кризиса власти. Главная причина бед, преследовавших тогда Польшу, коренилась не в пресловутом «еврейском вопросе», как упрощенно полагал Хрущев, а в остром дефиците свободы, жизненно необходимой для нормального и поступательного развития страны, свободы внешне- и внутривнутриполитической.

В роли главных ретроградов выступили тогда «на-то-лин-цы»-сталинисты, которые, стремясь любыми средствами удержаться во власти, вместо того чтобы сосредоточиться на конструктивном разрешении кризисной ситуации, занялись поиском виновных в ней евреев, делая из них козлов отпущения.

Но в Польше продолжала нарастать социальная напряженность. 28–29 июня в Познани произошли массовые антиправительственные выступления рабочих, приведшие к вооруженным стычкам демонстрантов с сотрудниками воеводского управления общественной безопасности и завершившиеся жестоким подавлением стихийного восстания регулярными войсками.

Чтобы дать оценку этим драматическим событиям и наметить меры по выходу страны и партии из универсального кризиса, во второй половине июля в Варшаве был созван VII пленум ЦК ПОРП. Пленум принял резолюцию, одобрявшую курс ЦК на антиеврейскую чистку в органах власти и осуждавшую «провокационные разговоры об угрозе антисемитизма»[19].

ΒΑΑΑΙ Θ ΑΙ Ι ΟΕΕΕ

На пленуме было рассмотрено и письмо опального Гомулки, протестовавшего против возведенных на него когда-то облыжных обвинений в «правонационалистическом уклоне и пособничестве вражеской агентуре». По предложению Охаба было решено отменить постановление III пленума (от 13 ноября 1949 года) о выводе бывшего генсека из партийного ЦК, а также восстановить его в ПОРП[20].

Этот красноречивый жест свидетельствовал о начавшемся скрытом сближении «пуловян» в польском руководстве — Охаба, Замбровского и «примкнувшего» к ним Циранкевича — с Гомулкой, которого до этого полностью игнорировали как «правоуклониста». В этом умеренном националисте они разглядели тогда единственную жизнеспособную в рамках коммунистического режима персонифицированную альтернативу сталинизму. Однако этот важный момент в польской внутривнутриполитической ситуации остался вне поля зрения кремлевского руководства, что очень скоро подвело отношения между Москвой и Варшавой к острокритической грани. Всю ответственность за данное межгосударственное обострение Хрущев задним числом пытался возложить на Охаба. По поводу этого своего ставленника он потом сетовал: «Охаб оказался недостаточно авторитетным руководителем, не пользовавшимся уважением у партийной и непартийной общественности. С его мнением мало считались»[21].



Αεααεεεαα Αιι οεεα Γαδαυααοιη ηι δεϋατι ε ουηη:αι ααδθααηι ιθαεδαοε ουϋααηο Γαεο ε ααδι οουηη ε δαατ οα 2Α Γεογ'αδ' 1956 α'αα

Однако винить в данном случае Хрущеву следовало бы в первую очередь самого себя и хотя бы уже за то, что, проявив очевидную политическую близорукость, он и его окружение поспешили «писать» Гомулку как потенциального лидера Польши и сделали главную политическую ставку на консерваторов-«натолинцев» — ярых противников даже ограниченных реформ и какой-либо демократизации. Только с ними в основном и контактировал советский посол в Варшаве П. К. Пономаренко, который, в свою очередь, являлся главным информатором Хрущева по польским делам. Сведения, поступающие в Москву по этому дипломатическому каналу, сводились к тому, что все беды Польши вызваны зловерными происками евреев и «гомулкавцев».

Тем временем Замбровский и другие высокопоставленные «пулавяне», резонно полагая, что советские товарищи, заиклившись на пикантном еврейском вопросе и избравшие фаворитами догматиков-«натолинцев», вполне возможно, скоро ими их и заменят, стали действовать все более решительно. Мудро рассудив, что только перспективный Гомулка (о чем свидетельствовал стремительный рост его популярности в обществе) способен дать импульс национальной модернизации и адекватно ответить на главные стоявшие перед страной вызовы (добиться большей внешней независимости и либерализации внутренней жизни), они решили поддержать на ближайшем пленуме ЦК его избрание в руководство ПОРП, в том числе, возможно, и на пост ее лидера. На заседании Политбюро, проходившем 1–2 октября 1956 года,

Охабу было поручено начать соответствующие переговоры с Гомулкой. А с 12 октября тот уже включился в работу этого высшего органа партии.

Еще 14 октября Хрущев был уведомлен послом Пономаренко, что Политбюро ЦК ПОРП наметило созыв VIII пленума ЦК и, самое главное, приняло решение рекомендовать этому пленуму кооптировать Гомулку в новый состав Политбюро, а значит фактически предрешить избрать его новым национальным лидером Польши. Хрущев заявил, что возглавляемая им советская делегация прибудет в Варшаву и в обязательном порядке будет присутствовать на пленуме, и дал указание министру обороны Г. К. Жукову в течение суток привести в полную боевую готовность дислоцировавшуюся в Польше Северную группу советских войск, корабли Балтийского флота и ряд соединений Прибалтийского военного округа. Более того, в Кремле санкционировали выдвижение танковой колонны из состава Северной группы к Варшаве[22]. Когда днем 19 октября Хрущев прилетел в Варшаву, на аэродроме его помимо Охаба и Циранкевича встречал и Гомулка. Приблизившись к ним, он не стал скрывать расправившего его гнева. Демонстративно отвергнув рукопожатия, первый секретарь ЦК КПСС со всей яростью прокричал польским руководителям: «Вы что, собираетесь помогать евреям?» Далее последовал эмоциональный обмен резиденцией во дворце Бельведер. Впрочем, и там в ходе возобновившейся через несколько часов жаркой полемики он продолжил распекать польских руководителей. «Красная Армия пролила свою кровь за освобождение Польши, — пенял им глава СССР, — а вы теперь хотите отдать ее капиталистам, вступившим в заговор с сионистами и американцами»[23].

Понимая, что дальнейшее развитие конфликта с таким мощным военным соседом, как Советский Союз, чревато для Польши самыми печальными последствиями, новый первый секретарь ЦК ПОРП Гомулка (был избран на VIII пленуме) твердо заверил Хрущева в том, что его страна останется союзницей СССР и не покинет организацию Варшавского договора. Только после этого Хрущев дал указание прекратить продвижение советской бронетехники к польской столице.

Новый лидер Польши начал с того, что стал «вычищать» «натолинецов» из партийно-государственных структур, желая тем самым, очевидно, не только освободиться от политических конкурентов и бывших гонителей, но и отстранить от рычагов власти людей, которые в стремлении заработать политические очки явно перегнули палку в неприятии евреев, чем спровоцировали в обществе социальную напряженность, мешавшую нормальному становлению нового режима. Пойдя навстречу «Джойнту», ОРТУ и другим международным еврейским благотворительным организациям, Гомулка санкционировал возобновление на территории Польши деятельности их представительств и финансировавшихся ими еврейских детских садов, лагерей, клубов и ремесленных училищ. С 1958 года был снят запрет на создание частных еврейских кооперативов.

Желая отмыться от обвинений в покровительстве евреям, Гомулка вскоре после второго пришествия во власть стал целенаправленно минимизировать социально-политическую активность евреев, сначала подспудно и очень дозированно, а потом все более демонстративно, решительно и грубо. На практике это выражалось в различных формах: от показательных исключений из партии и судебных процессов над одиозными евреями-сталинистами и быстро набравшего обороты выдавливания из партгосаппарата евреев из числа вчерашних союзников — «пулавян» до постепенно нараставших гонений против либеральных интеллектуалов-«сионистов».

Дабы разрядить этнополитическую напряженность в обществе, достигшую апогея в конце 1956-го — начале 1957 года, Гомулка широко распахнул административные ворота для еврейской эмиграции. Если в 1955-м (год возобновления эмиграции) из Польши в Израиль выехало 2500 человек, а в 1956-м — 9384 (в том числе немалое количество бывших офицеров МОБ и высокопоставленных партгосбюрократов), то в 1957-м — уже 30 175, что стало пиком исхода. Этот своеобразный рекорд стал возможен во многом потому, что 25 марта 1957 года было подписано советско-польское соглашение о взаимной репатриации бывших граждан двух стран[24], в соответствии с которым тысячи польских евреев стали возвращаться из СССР на родину. Всего в 1955–1960 годах в Польшу прибыло 18 тыс. еврейских репатриантов. Однако, столкнувшись там (особенно в Нижней Силезии, где в основном и размещали вновь прибывших из Советского Союза евреев) с ярко выраженной враждебностью местного населения, 15 тыс. из них тогда же эмигрировало в Израиль[25]. В последующие 1958–1961 годы из Польши выехало еще более 14 тыс. евреев. В результате в стране осталось примерно 25–30 тыс. евреев[26]. К началу 1960-х годов численность еврейского населения в Польше уменьшилась против 1946 года почти в десять раз. Однако даже такая впечатляющая депопуляция всего лишь временно остудила еврейский вопрос, который вновь раскалился в этой стране в 1968 году.

- [1]. С поста генсека ЦК ПРП Гомулка был смещен в сентябре 1948 года (за приверженность идее национального пути к социализму).
- [2]. СССР и Польша. Механизмы подчинения. 1944–1949. Сборник документов / Под ред. Г. А. Бордюгова и Г. Ф. Матвеева. М., 1995. С. 274–275.
- [3]. Из 3,3 млн польских евреев Холокост пережили только 380 тыс. человек.
- [4]. Волобуев В. В. Антисемитизм в ПНР через призму взаимоотношений власти и общества. 1944–1968 // В поисках новых путей. Власть и общество в СССР и странах Восточной Европы в 50-е — 60-е гг. XX в. / Отв. ред. Н. М. Куренная. М., 2011. С. 515.
- [5]. Краткая еврейская энциклопедия (КЕЭ). Т. 6. Иерусалим, 1992. Кол. 619–669. (www.eleven.co.il/article/13274#10).
- [6]. Волобуев В. В. С. 515–516.
- [7]. Хрущев Н. С. Время. Люди. Власть. (Воспоминания в 4-х кн.). М., 1999. Кн. 3. С. 229. РГАНИ. Ф. 5. Оп. 28. Д. 396. Л. 54–155.
- [8]. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 118. Д. 304. Л. 242–249. Д. 322. Л. 145–154.
- [9]. Выражение из политического жаргона, образованное по топонимике местонахождения общественной штаб-квартиры этой группировки в Варшаве.
- [10]. Волокитина Т. В., Мурашко Г. П., Носкова А. Ф., Покивайлова Т. А. Москва и Восточная Европа. Становление политических режимов советского типа (1949–1953): Очерки истории. М., 2008. С. 265.
- [11]. Г. М. Попов, собственно, и направил в Москву упомянутую информацию Рокоссовского. Будучи в 1945–1949 годах первым секретарем МК и МГК ВКП(б), он проявил себя brutальным солдафоном в борьбе с «космополитами».
- [12]. Президиум ЦК КПСС. 1954–1964. С. 24–28, 881–883.
- [13]. Kersten K. Polish Stalinism and So-Called Jewish Question // Der Spaätstalinismus und die Juüdishce Frage. Zur antisemitischen Wendung des Kommunismus / Hrsg. von L. Luks. Köln, 1998. P. 227.
- [14]. Там же.
- [15]. Президиум ЦК КПСС. 1954–1964. С. 114–128.
- [16]. Выражение возникло от названия варшавской Пулавской улицы, на которой проживали многие из представителей этой неформальной фракции ПОРП.
- [17]. Хрущев Н. С. Время. Люди. Власть. Кн. 3. С. 231–232.
- [18]. Н. С. Хрущев: «У Сталина были моменты просветления». Запись беседы с делегацией Итальянской компартии // Источник. 1994. № 2. С. 85–86.
- [19]. Там же. Л. 202–203, 304–305.
- [20]. Орехов А. М. События 1956 года в Польше и кризис советско-польских отношений // Советская внешняя политика в годы «холодной войны» (1945–1985). Новое прочтение / Отв. ред. Л. Н. Нежинский. М., 1995. С. 224–226.
- [21]. Хрущев Н. С. Время. Люди. Власть. Кн. 3. С. 232.

[22]. Орехов А. М. Москва и кризис 1956 г. в Польше (несколько новых, неизученных документов) // Польша — СССР. 1945–1989: Избранные политические проблемы, наследие прошлого. М.: ИРИ РАН, 2005. С. 264–266. Хрущев Н. С. Время. Люди. Власть. Кн. 3. С. 234–235.

[23]. Pinkus, B. *The Jews of the Soviet Union: The History of a National Minority*. Cambridge (UK), 1988. P. 220; Орехов А. М. События 1956 года в Польше и кризис советско-польских отношений // Советская внешняя политика в годы «холодной войны» (1945–1985). Новое прочтение. М., 1995. С. 228–229.

[24]. Это соглашение было своего рода подарком Гомулке от Хрущева, выпустившего в 1957–1959 годах из СССР 212 тыс. этнических поляков.

[25]. Szaynok B. *Z historia i Moskwa w tle. Polska a Izrael 1944–1968*. Warszawa, 2007. S. 284–286, 291, 297.

[26]. Говрин Й. С. 148. Правда. 1957. 26 марта. Энциклопедия Иудаика. Т. 13. С. 784. КЕЭ. Т. 6. Кол. 619–669.

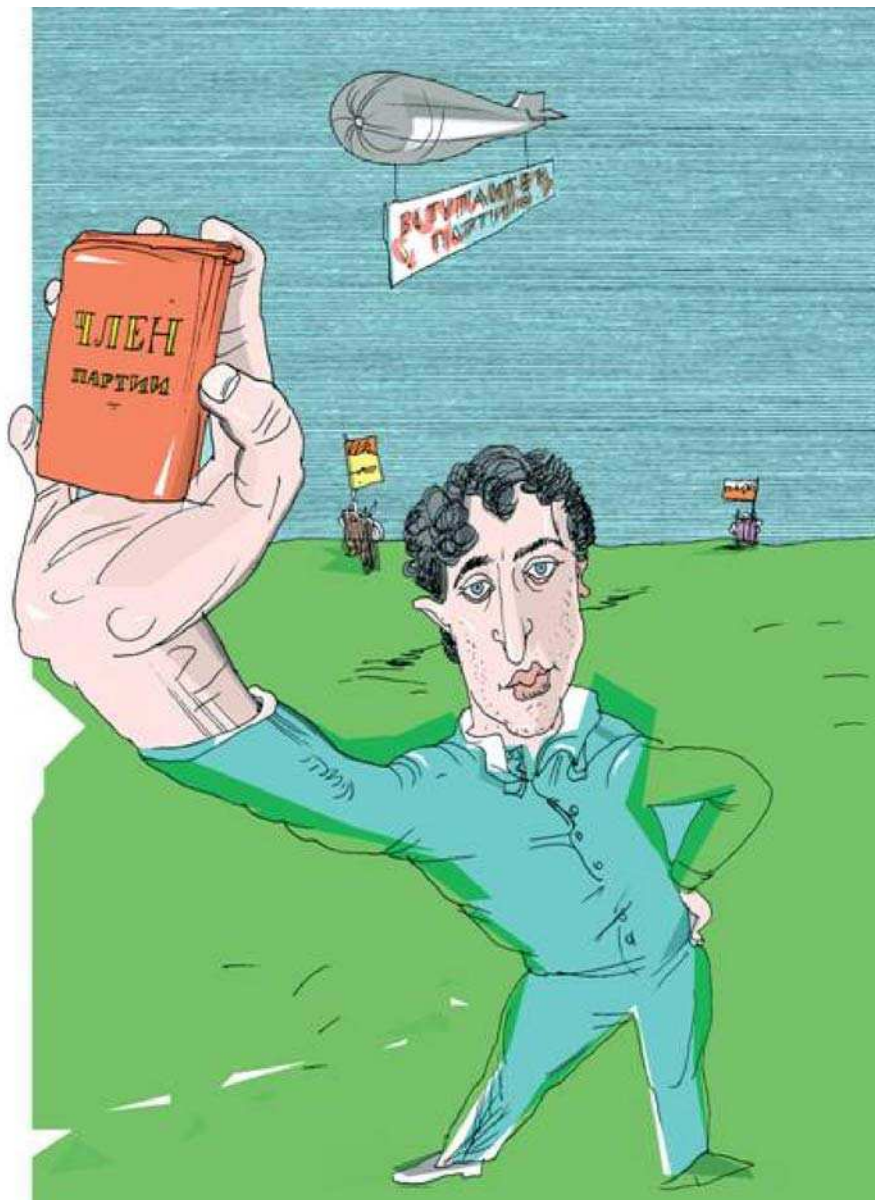
ЛЕХАИМ ИЮНЬ 2012 СИВАН 5772 – 6(242)

ЖИТЬ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН. НУЖНА ЛИ ЕВРЕЯМ СВОЯ ПАРТИЯ?

Борис Клин

В России избран президент и парламент. Казалось, нас ждут еще 5–6 лет стабильности. Но зимние массовые акции разношерстной оппозиции и

начавшаяся за ними реформа политической системы изменили ситуацию. Опора власти на протяжении последних двенадцати лет — партия «Единая Россия», — скорее всего, утратит свое положение монополиста. Она уже лишилась конституционного большинства в Госдуме. На муниципальных выборах в столице ее выдвиженцы старательно скрывали партийную принадлежность. Да, собственно, серьезные игроки, причем из «высшей лиги», более чем откровенно выражают сомнение в безоблачном будущем «ЕР». Иногда это звучит курьезно.



Например, глава думского Комитета по конституционному законодательству единоросс Владимир Плигин с чувством глубокого удовлетворения сообщил, что среди депутатов муниципалитетов его однопартийцев всего 65%. Мол, демократия уже торжествует. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, тоже член правящей партии, уверяет журналистов, что «через год политическая картина будет совсем иной». А многолетний и многоопытный глава российских профсоюзов Михаил Шмаков накануне майских праздников прямо заявил об этом. И, хотя профсоюзы тесно связаны с единороссами, Шмаков вдруг поддержал инициативу создания новой «профсоюзной партии».

Нет ясности и с перспективами Общероссийского народного фронта, под знаменами которого Владимир Путин побеждал на президентских выборах. Будет ли фронт преобразован в партию?

Пока непонятно, на кого намерена опереться верховная власть в представительных органах власти.

И если на парламентских и президентских выборах вопрос перед избирателями стоял ясно — за «красных» или за «белых», то теперь все усложнится.

К моменту написания этой статьи в Министерство юстиции уже поступило почти 150 заявок на создание партий по новым, смягченным правилам. Когда выйдет июньский номер «Лехаима», их наверняка будет еще больше. И уже осенью пройдут выборы в ряд региональных парламентов. По партийным спискам. А там и выборы губернаторов не за горами. И мэров, и прочих «сэров»... Время пролетит — и вот уже новые выборы в Госдуму...

Интересы избирателей-евреев, на мой взгляд, не сильно отличаются от прочих. Хотелось бы коррупции и бандитизма поменьше, как и произвола чиновников, особенно в погонах и судейских мантиях. А пенсий побольше, тарифов на услуги ЖКХ пониже, зарплат повыше, окружающую среду — почище... Но есть одна специфическая черта у избирателя-еврея. Проблема национализма и его составной части — антисемитизма — перед другими не стоит. Но как раз в эту игру многие и захотят поиграть. Уже играли этой зимой, продолжают и теперь.

Вождь ЛДПР Владимир Жириновский на слушаниях в Общественной палате заявил, что его очень радует грядущая перспектива появления националистических партий. «По крайней мере, нам перестанут клеить этот ярлык: вы настоящих националистов еще не видели», — саркастически заметил главный либерал-демократ. Так и есть. Не видели. Но увидим.

Соответственно и возникает вопрос: куда еврею-избирателю податься?

Лучше всего выбрать приличную крупную партию, не вождистскую, слишком они переменчивы, но созданную на принципах идеологических.

Наиболее приемлемой выглядела бы с этой точки зрения настоящая либеральная партия. Но таковой не видно. Воссоздаваемая сейчас Республиканская партия вряд ли начертает на своих знаменах антисемитские лозунги, но ее лидеры минувшей зимой сотрудничали и с националистами, и с коммунистами. И каких от нее сюрпризов можно ждать — сказать трудно. Да и ее привлекательность для избирателей не очевидна. Либерализм в глазах большинства дискредитирован. Бывший министр экономики в правительстве Егора Гайдара Андрей Нечаев, недавно объявивший о формировании своей партии для «либеральной части общества», оговорился при этом, что слово «либерал» лучше не употреблять, оно «ругательное». «Создаем правоцентристскую партию», — сказал Нечаев. Такие вот либералы-подпольщики.

Еще одна в России идеологическая партия — это КПРФ. Коммунисты с необычайной легкостью отказались от одного из своих догматов — атеизма и ищут союза с РПЦ, которая стала им особенно мила после неоднократных антизападных и антилиберальных заявлений со стороны ее иерархов. Не стоит забывать, что коммунисты легко меняют интернационализм на весьма специфическую форму «патриотизма».

Да и социализм, что бы ни писали о «левых поворотах», не пройдет. Тем из нас, кто еще помнит давку за колбасой и прочие прелести социалистического бытия, всего по сорок с небольшим. И это свое знание мы передадим детям... У левых перспектив нет.

Что же остается? Самое привлекательное с точки зрения массового избирателя?

Национализм — в разных его проявлениях. Такого «блюда» в России пока не пробовали.

Формально закон о политических партиях запрещает их создание по национальному или религиозному признаку. Но нет сомнений, что запрет будет легко обойден: русский язык богат.

Можно предположить, что на нацио-налистическом поле будут играть несколько партий, в том числе и православные, официально с РПЦ не связанные, но ей подконтрольные. Ничего хорошего от этого евреям ждать не приходится.

Наверняка будет попытка создания и мусульманской партии, а таковая непременно во внешнеполитическом разделе своей программы намалюет что-нибудь про «израильскую военщину»...

Но в условиях столь буйно развивающейся многопартийности пора задуматься, кто будет представлять интересы хоть и немногочисленной, но все-таки существующей еврейской общины.

Нужна ли евреям своя партия? Оно бы хорошо. Надеяться на отдельных евреев-депутатов, попавших в парламент или законодательное собрание по спискам существующих партий — не стоит. Они предпочтут не заметить некоторых явлений.

Разве кто-нибудь из депутатов от «Единой России» попенял своему коллеге за шутку о «жидеющих рядах оппозиции»? Если и попенял, то как-то незаметно для общества. Что неудивительно: у них свои интересы, да и в Думу они избраны не как представители общины, не благодаря ее прямой поддержке, а просто в силу своих собственных заслуг, собственной популярности или личных договоренностей с партийным руководством. Да еще и не факт, что еврейское происхождение сильно способствовало политической карьере, а не наоборот.

Посему претензий им предъявить никто не может, нет такого морального права. Даже если ситуация ухудшится, и они вообще могут согласиться играть роль «полезных евреев»...

Иное дело — еврейская партия, идущая на выборы при поддержке общины, с тем чтобы защищать ее интересы.

В условиях, когда парламенты, как федеральный, так и региональные, будут напичканы множеством фракций, неизбежно создание коалиций, тогда каждый мандат на счету. Да, собственно, и вопрос создания предвыборных блоков, как того требует оппозиция, окончательно не закрыт. Более того, ряд экспертов убеждены, что блоки все-таки разрешат.

Конечно, самостоятельно войти в представительные органы власти у еврейской партии шансов немного: слишком уж малочисленна община. Но вот в составе коалиции такие шансы могут появиться. В любом случае, над подобным сценарием развития событий стоит подумать.

ЛЕХАИМ ИЮНЬ 2012 СИВАН 5772 – 6(242)

ИЗРАИЛЬ:

ВЫБОРОВ НЕ БУДЕТ, ЧТО ДАЛЬШЕ?

Беседу ведет Михаил Майков

Два дня, 6 и 7 мая, Израиль прожил в ожидании роспуска кнессета и назначения досрочных выборов. Была даже названа дата — 4 сентября. Эксперты начали делать прогнозы, аналитики давали комментарии. Но в ночь на 8 мая стало известно, что коалиция устояла и более того — укрепилась: премьер-министру Биньямину Нетаньяху удалось договориться с новым лидером партии «Кадима» Шаулем Мофазом, который вошел в правительство в качестве вице-преьера.

Что послужило причиной кризиса? Кто выиграл и кто проиграл от его неожиданного разрешения? Как теперь будут решаться спорные вопросы? Обо всем этом мы поговорили с президентом Института Ближнего Востока Евгением Сатановским, министром информации и диаспоры Израиля Юлием Эдельштейном и генеральным секретарем партии «Наш дом — Израиль» Фаиной Киршенбаум.

ЕВГЕНИЙ САТАНОВСКИЙ: «МОФАЗ ПОНЯЛ, ЧТО ПАРИЖ СТОИТ МЕССЫ»

И **Е** Предложенный партией Либермана законопроект, предусматривающий обязательную армейскую или альтернативную службу для учащихся ешив, — это причина кризиса или только повод?

А **И** Ни это, ни обсуждение двухлетнего бюджета не имеет никакого отношения к происходящему. Нетаньяху понимает, что Обама не хочет войны с Ираном и готов закрыть глаза на иранскую ядерную программу. Ему нужна сильная позиция на переговорах с американским президентом, у которого на носу свои выборы. В ситуации, когда и «Ликуд», и его партнеры по коалиции, кроме ШАС, в случае досрочных выборов либо ничего не теряют, либо даже выигрывают, ускорение этого процесса — шаг вполне оправданный.

И **И** Почему тогда Нетаньяху на выборы в конце концов не пошел?

А **И** Он получил то же самое сразу и задешево. Нетаньяху продлил существование в кнессете большой группы депутатов, которая генетически ему близка, ведь две трети из них — это бывшие «ликудники». А Мофаз, понимающий, что ему на сентябрьских выборах светило бы мест эдак десять максимум, предпочитает быть в команде, нежели потерять все. Кроме того, в преддверии войны с Египтом (а война на Синае — это реальность и, к сожалению, куда более близкая, чем полагают многие) для Мофаза быть в правительстве — это его патриотический долг.

И **И** Насколько прочна новая коалиция?

А **И** Даже если она просуществует, скажем, до весны 2013-го, то сделает главное: переживет выборы Обамы, который против такой широкой коалиции бессилён.

И **И** У Нетаньяху теперь развязаны руки?

А **И** За последнее время Нетаньяху и так добился очень многого. Он убрал своего главного противника Ципи Ливни, после чего Мофаз радостно присоединился к коалиции. Он удалил из правительства представителей недееспособной партии «Авода», но сохранил Эхуда Барака, который неплохой министр обороны и, кроме того, бывший армейский командир Нетаньяху.

И **И** Каковы в новой ситуации перспективы недавно возникшей партии Яира Лапида «Йеш Атид» («Есть будущее»)? На досрочных выборах ему прочили большой успех...

А **И** Лapid, конечно, много теряет от отмены досрочных выборов. Неизвестно, продержится ли его партия еще полтора года. Сегодня это новое лицо, это фан — а что будет завтра? Вновь созданной партии всегда легче мобилизовать избирателей под скорые выборы, чем существовать полтора-два года без выборов. Кроме того, сегодня Лapid перехватывает тех стариков из ашкеназского истеблишмента, которые голосовали за Ципи Ливни после того, как «Авода» перестала их устраивать. Но это люди очень преклонного возраста, здесь лишние год-два играют большую роль.

И **И** Можно ли сказать, что теряют также НДИ и ШАС?

А **И** Скорее ШАС. Мало им возвращения в политику их бывшего лидера Арье Дери, намеренного создать свою партию, которая оттянет у ШАС немало голосов, — так еще теперь «Кадима»

может помочь отменить отсрочки для ешиботников. Еще недавно «Кадима» выступала за сохранение отсрочек. Но, как я понимаю, Мофаз перечитал биографию Генриха IV и понял, что Париж стоит мессы. Чем-то приходится поступаться ради билета в завтрашний день.

Что до Либермана, то он будет спокойно блокироваться с Мофазом по иранской проблеме, в вопросах безопасности и слегка конфликтовать по вопросу поселений. Думаю, они найдут общий язык.

ИИ Разве Мофаз не против удара по Ирану?

АМ Мофаз за, даже при Ципи Ливни у Нетаньяху был консенсус с «Кадимой» по этому вопросу.

РБЕЕ ЯААЭУОДАЕТ: «ІАЭУСБ ІАЕЕАОУІАОЕӨЕІАЕЕӨЕІІІУОІАДОІАДИА»

ИИ Зачем Нетаньяху пошел на альянс с «Кадимой», ведь все опросы предсказывали ему убедительную победу?

РБЕЕ ЯААЭУОДАЕТ Несколько недель назад четко ощущалось, что на четвертом году существования коалиции в ней усилились центробежные тенденции. Но и тогда было понимание, что проблемы, побудившие заговорить о досрочных выборах, не исчезнут и после них. Два основных вопроса, стоящих на повестке дня, — обязательная воинская служба и бюджет — могут быть по-настоящему решены только в широком правительстве. Поэтому, когда выяснилось, что «Кадима» готова войти в коалицию, не выдвигая каких-то особых условий, — с ней было заключено соглашение.

ИИ Какова теперь судьба отсрочек для учащихся ешив?

РБ Есть надежда, что удастся найти такой вариант, который не приведет к выходу ШАС из коалиции. С «Яхадут а-Тора» сложнее — их раввины в этом вопросе непреклонны и, видимо, скажут им уйти. Что до закона Либермана, то он и до переформатирования коалиции не проходил. Как говорит в таких случаях спикер кнессета Руби Ривлин, «это у вас законопроект или законодекларация?». Так вот, это в чистом виде «законодекларация».

ИИ А бомбардировка Ирана приближается или отдалается?

РБ Не думаю, что это напрямую зависит от коалиционной ситуации.

ИИ Роль НДИ и ШАС в коалиции теперь уменьшится?

РБ Как только стало известно о соглашении с «Кадимой», я на заседании фракции сказал премьер-министру, что ни в коем случае нельзя начать «обижать» наших коалиционных партнеров. Полтора года пролетят, «Кадима» станет меньше, и не факт, что она будет с нами в коалиции, — а прежние партнеры останутся. И все они будут хорошо помнить, как к ним относился «Ликуд», когда их роль в коалиции умалилась. Очень важно, что лидерам коалиционных партий сообщили о соглашении с «Кадимой» до того, как о нем было публично объявлено, и что никто из них не покинул коалицию. Хотя, конечно, камни преткновения еще будут, особенно в том, что касается закона о всеобщей воинской повинности.

ИИ Но очевидно, что НДИ и ШАС лишились значительной части своего влияния.

РБ Да, они лишились «золотой акции». Как человек, который в свое время представлял в правительстве коалиционную партию, я знаю, как хорошо для такой партии, когда у нее в руках будущее коалиции. Но с точки зрения национальных интересов, все наоборот. Когда партия понимает, что ее влиянию есть предел, это заставляет ее искать более гибкие подходы.

ОАЕІАЕЕДОАІААОІ: «ІІАУЕСАЕІІІАІАІІІЕНӨӨЕААІАІАОІАЕІ»

ИИ Вынося на голосование законопроект об обязательной армейской и альтернативной службе, НДИ шел на обрушение коалиции и досрочные выборы. Не получается ли, что Нетаньяху переиграл Либермана: НДИ теперь вынужден остаться в коалиции, поскольку выяснилось, что она может существовать и без вашей партии?

וְאֵלֵינוּ עֵדוּתֵינוּ Это абсолютно ошибочное мнение, НДИ не занимался развалом коалиции. А новый закон о воинской службе необходим, потому что до 1 августа нужно найти альтернативу «закону Таля», который теряет силу. Просто НДИ оказался единственной партией, способной сдвинуть с места решение этой болезненной проблемы. Не случайно и соглашение между «Ликудом» и «Кадимой» базируется на понимании необходимости решить этот вопрос.

י י Позиция «Кадимы» по вопросу об отсрочках для ешиботников отличается от вашей?

וְע Авигдор Либерман заявил на заседании фракции, что мы ожидаем разработки серьезного законопроекта, в подготовке которого примут участие члены коалиции. Если такой законопроект будет подан, НДИ, естественно, поддержит его. Если же ничего серьезного не появится, то мы будем продвигать собственный вариант.

י י Ожидаете ли вы каких-то серьезных поворотов в политике правительства?

וְע Нет, проблемы, которые нам придется решать, — это те же наблевшие проблемы, о которых все время говорит НДИ: законопроект о всеобщей армейской или альтернативной службе, реформа системы власти, противостояние иранской угрозе.

י י Последние законопроекты НДИ — об обязательной армейской или альтернативной службе, о свободном выборе места регистрации браков — вызвали негодование религиозного лагеря. Не боитесь ли вы потерять голоса ортодоксов?

וְע НДИ ни в коем случае не борется с религией, все наши инициативы направлены лишь на уменьшение бюрократических препон, возникающих перед вступающими в брак, проходящими гиюр и так далее. Поэтому по многим вопросам нам удастся достичь консенсуса с религиозным лагерем.

ЛЕХАИМ ИЮНЬ 2012 СИВАН 5772 – 6(242)

ЭЛИ ИШАЙ В ПОСУДНОЙ ЛАВКЕ

י עוֹלָם י אֱלֵינוּ

Í í ñáé:áñ í íòíí ó:òí èçì í áé ñò ðáí ú,
í áñòí ýù èá í ðáñò òí èáí è ý èí ò í ðí é,
èá èèì í áò ðáí ú ò, ñ í áá è ñ í áá í áí ò è í áò ò í ñáá
è ñò áá ý ò áí ò ðí ñí, í á èí ò í ðí á áàò ò ñý
÷ èñ ò í áá èí áí á í ò áá ò ú,
à á í è ò ò ðáí è ðí áá í í ú á áá ú
í áçí ááò áí çí áú áí èáí ò ú áá á ò í,
÷ ò í áú á í áí à í í áá ý í í áá í áí á ý èí á èá
áí è á í á áú ò ú í í ñò áá è á í á Èç ðá è è ð,
È í á èá, ñ í í á í á ý í á í è á á á á è á ú
á á í è ÷ ò í á è á ð í è ò á í á
È í á í ðá á è ò ú è ò ó á á, á á í á è ÷ è á í á í è á á è í ñò áá í í è
à ò í í í è á í á á ú í á á è á ç á í í
È è è ò ú í í á á í è ý í ð è í è í áò ò ñý ç á á í è á ç á ò á è ú ñò á á,
B ñ è á è ò ò í, ÷ ò í á í è á í í á ú ò ú ñ è á ç á í í.

Í í: áí ó á é ý í í è: á è á í ñ è ò í í ð?
Í í ò í í ó: ò í í í è á á è, ÷ ò í í í á í ð í è ñ í á á í è á
È í ò í ð í á á á á á í á í ñò áá ò ñý ç á í ý ò í á í í ú í,
ç á í ð á ú á á ò í í á í ð á í í á í á ñ è ý ò í ò ó á è ò
Á í ñ á á ð ñ ò á á Èç ðá è è ú,
ñ è í ò í ð ú í ý ÷ á á ñò á á ð ñ á ý ñ á ý ç á í í ú í
è ò í ò á è á ú ò á è í á í í ñò áá ò ú ñ ý,
í ð á í í á í á ñ è á è á: á ñò á á á ú ñ è á ç á í í í è í ð á á ú.

Í í: áí ó ý á á ð ð ð ý ò í ò í è ú è í ñ á é: á ñ
Ñ í ñò á ð è á è ñ í è ñ á é ð á ý í í ñ è á á í è á ñ è ú, á á ð ð,
× ò í á ò í í í á ý á á ð á á á Èç ðá è è ú
á á ñ á á á ò ò ð ú è í í ó í è ð ò í á ý ò í è ç á í è á?

Í í ò í í ó: ò í í á á í ñ è á ç á ò ú ò í,
÷ ò í ç á á ò ð á á è á, á í ç í í á è í í, á ú á á ò í í ç á í í á á í ð è ò ú
Í í ò í í ó: ò í í ú — è á è í á í ò ú,
á í ñò áá ò í: í í è á á ç ò í á ç á í ý ò í á í í ú á —
Í í á è á í í è á ç á ò ú ñ ý í í ñò áá ú è á í è Í ð á ñò ò í è á í è ý,
È í ò í ð í á í í á è í í ð á á á á á ò ú è ñ ò: á ñò è á á è í ò í ð í í
Í è á è è í è í á í: í ú í è í ò á á í ð è á í è
í á è ú ý á á á á ò í ð á á á á ò ú

È í ð è ç á á ð ñ ñ ý á í è ú è á í á í í è: ó
Í í ò í í ó: ò í ð í ò á è í ò è è ò á í á ð è ý ç á í á á á,
È ò í í ó á é á í á á á è á á, ÷ ò í ý ò í í í á è ò ñ ý ò ú
í á: á ò ú í í è: á í è ý ñ í í í á è ò ð í ò
È í ð è ç á á ò ú ò á á, í ò è í á è ñ í á è ò í á á í í ñò ú,
è í ò è á ç í ò í á á è è ý,
Í á í í á ð á í á í í ò ð á á ç ý,
÷ ò í á ú á á á ð á ý ò ñò á á í í ú è í í ñò í ý í í ú è
í á è á á í á ð í á í ú è è í í ò ð í è ú
è ç ð á è è ú ñ è í á á à ò í í í á í í ò á í ò è á è á
è è ð á í í è è ò á ò í í í ú ò í á ú á è ò í á
á ú è ð á ç á è á í í ð á á è ò á è ú ñò á á í è í á á è ñò ð á í.

Ò í è ú è í ò á è í í á è í í í í í: ú á á í —
è ç ð á è è ú ý í á í è í á è á ñò è í ò á í.
Á í è á á ò í á, á á ú è ð á ý í, á è á á ú è í
á ý ò í ð á è í í á í è è ò í è ð í á á í í í Á á ç í è á í,
è ð á ý í, è í ò í ð í á á è á á ò á ò á í í ò á
á ç á è í í è á á á á á í í ñò è.
È á è í á: í í è ò í á í ò á è á í á í á á í.

Такой вот текст, озаглавленный «Что должно быть сказано», крупнейший современный немецкий писатель, нобелевский лауреат Гюнтер Грасс опубликовал недавно в газете «Suddeutsche Zeitung» (мы печатаем его в переводе Юрия Векслера). Набран он был в столбик, отчего получил право называться стихотворением. Но толку в нем от этого не прибавилось: вещь эта беспомощна в поэтическом отношении и наивна, чтоб не сказать лжива — в политическом. Никто не вынашивает планы уничтожения иранского народа, никто не размышляет о применении против Ирана оружия массового уничтожения. Да, ядерное оружие у Израиля, по-видимому, действительно есть, но использовать его первым еврейское государство не собирается; Иран же своей недоделанной бомбой размахивает как дубинкой уже много лет. То есть все то, о чем Грасс говорит как о фактах, на самом деле лишь плод воображения человека либо не слишком информированного, либо не слишком добросовестного. Грасс принимает за доказательства свои опасения, если использовать его же собственные слова.

Все это соотечественники сразу же Грассу и высказали: реакция немецкой прессы и общества на стишок вообще оказалась на удивление единодушной. И несколько дней все дружно ругали Грасса — до тех пор, пока не начали выступать с заявлениями еврейские лидеры и израильские политики. После того как еврейские общественники многократно обозвали писателя антисемитом, припомнили ему юношеское членство в Ваффен-СС, а его текст сравнили с кровавым наветом, критики Грасса взяли паузу. Когда те же обвинения повторил премьер Нетаньяху, возникла некоторая неловкость. Наконец, когда министр внутренних дел Израиля Эли Ишай запретил прозаику въезд в страну, те, кто накануне возмущался Грассом, начали сравнивать израильский кабинет с режимом Лукашенко.

А теперь задачка для младших школьников. Один дядя написал дурацкое стихотворение, и все начали наперебой сочувствовать Израилю. А другой дядя сделал не менее дурацкое заявление, после чего Израиль окатили очередной порцией презрения. И кто из них, спрашивается, антисемит?

ЛЕХАИМ ИЮНЬ 2012 СИВАН 5772 – 6(242)

РАМКИ ПРИЛИЧИЯ

אֵלֵינוּ יְיָ אֱלֹהֵינוּ

**«Это было», — сказала Память.
«Этого не могло быть», —
сказала Гордость.
И Память сдалась.**

Фридрих Ницше



В VII—VI веках до нулевого года григорианского летоисчисления, когда жизнь североафриканского города Карфагена кипела особенно бурно, финикийцы царствовали над западными средиземноморскими глациями и торговыми путями этой части света. В тот период существовал обычай приношения жертв языческим божкам. Приношения скота и плодов были широко распространены в тот период истории в различных культурах Средиземноморья, но особую ценность для «небесных покровителей» финикийцев имели человеческие жертвы, а наивысшую — младенцы, закапываемые под стены городов, возводимых этим исчезнувшим ныне народом. В тягостные моменты жизни младенцев бросали в жертвенный огонь, как живописует Диодор Сицилийский. На что-то подобное указывает и отрывок из трудов древнего финикийского автора Санхуниатона из Бейрута: «Во время великих бедствий финикийцы приносили в жертву кого-нибудь из самых дорогих людей». Споры о существовании финикийского автора, чью цитату мы привели выше, равно как и споры о самом артефакте, обнаруженном Фридрихом Вагенфельдом, не стихают с момента его открытия. Полагаться же на достоверность греческих источников — шаг не менее опрометчивый, зная любовь последних ко всякого рода выдумкам. Мы же обратимся к другому артефакту — терракотовой маске, надеваемой родителями чад, приносимых в жертву кровожадным богам. Так как «богам» были неуютны слезы и гримасы ужаса во время великого праздника, жертвующим полагалось скрывать лица под личиной веселья, вторя всеобщему духу праздника и ликования, соблюдая рамки приличия.

Но оставим древности и Карфаген, чья участь была предрешена. Память о финикийском городе увековечена в крылатом выражении и истории Рима, ставшего Римом лишь после побед в Пунических войнах и падения Карфагена. Удел терракотовой маски в Новое время определили греки, положившие начало театру, размежевав маску и стоящий за ней культ. А римляне, прагматичные наследники культуры эллинов, завершили процесс размежевания: маска культа обратилась культом маски, перекочевав к варварам, и без того украшавшим себя шкурами и черепами побежденных ими великих животных. Сегодня, спустя десятки веков, трудно представить западную культуру, ее этическую и моральную составляющую, без этого неотъемлемого атрибута комедии дель арте.

Но что же есть маска сегодня? Швейцарский психиатр Карл Густав Юнг дал описание этого древнего атрибута, отделив Маску от Персоны в своем учении об архетипах как адаптационной функции, возникающей на стыке Персоны и Общества. Маска не тождественна личности как таковой, но является компромиссом. «Толщина» же Маски определяется размерами компромисса между требованиями среды и внутренней потребностью индивида. Но при определенных обстоятельствах Маска сходит на нет и Персона обнажается.

В 1990 году, после падения Берлинской стены, небезызвестный мастер скандала, литератор и «акварелист» Гюнтер Грасс завуалированно предостерег немцев о возможном возрождении реваншизма в объединенной Германии (его «пророчество» буквально вторит речам вождя и идеолога НСДАП, произнесенным в Нюрнберге в 1935 году).

Однако спустя девять лет, когда «богиня удачи» повернулась лицом к «совести немецкого народа», — Грасс удостоился Нобелевской премии по литературе, — он сам пал жертвой пробудившегося в нем реваншистского духа (всем известна политическая цена Нобелевских премий по литературе и за мир), и слишком поздний призыв в ряды СС «не успел» возвеличить его до «образца гуманизма». Дабы оставаться «комилфо», возникла необходимость прятать свои истинные чувства и настроения под личиной «борца» за мир во всем мире слишком долгий срок. В недавнем «поэтическом опусе» автор ставит знак равенства между фактом своего нацистского прошлого и собственными измышлениями о ядерном потенциале Израиля, угрожающем и без того хрупкому миру в ближневосточном регионе. Обвиняя Запад в лицемерии и «произраильских позициях», рунический пацифист, видимо сам того не понимая, всего лишь вторит голосу неоднократно дискредитировавшей себя ООН и европейских дожей, определяющих внешнюю политику и настроения европейцев.

Последовавшая сдержанная реакция израильской дипломатии на данный поэтический «волапюк» оставила простор для реакции европейской. Но ее не последовало, если не считать таковым заявление Папской комиссии, реанимировавшей антиеврейскую риторику Августина Блаженного полуторатысячелетней давности. Общее светлое прошлое и строевая муштра связали двух великих представителей немецкого народа — Папу и Совесть. Тут уж всякие комментарии излишни. Кстати, обвинение «в геноциде шести миллионов» фашистского военного контингента, прозвучавшее из уст литератора в адрес России как наследницы СССР, также не нашло отклика у российской общественности. То ли записных классиков не читают, то ли утратили историческую память, но ничего более воспевания изысканности литературных переливов перевода этой эсэсовской отрывки Грасса на русский язык самыми настоящими антисемитами мне не довелось слышать. Причина? Автор несравнимо менее популярен иных издаваемых в России нобелеатов, российско-германская дружба последних лет не может быть подорвана реваншистом. Пусть себе называет героев Великой Отечественной фашистами, а себя — трусливо спрятавшегося на долгие годы — совестью. Не из-за него Вейцман остановил Абу Ковнера и «Нокмим».

«Заговори, чтоб я тебя увидел», — умолял Сократ. Публика промолчала, разделив преступную безответность. «Время стыда закончилось», — подумал писатель. Но почему промолчала Европа? Все, что говорила последняя, все те ценности, которыми она кичилась последние десятилетия, — Маска? Что же послужило причиной ее столь стремительного истончения? Наигранность провалившейся концепции европейского мультикультурализма? Или же этот зловонный запах возрождающегося европейского консерватизма, обретенный консерватизмом за долгие годы пыления в шкафу леволиберального диктата, поместившего его на одну полку с «коричневыми» идеями истории (что ни в коей мере не умаляет открывшейся зловонности)? Скольких увлечет за собой этот запах? Чьи сердца будут совращены? Все это трудно предсказать сегодня. Но молчание и маска потворствующего безразличия не вселяют в меня оптимизма. Мне с трудом удастся подыскать подходящую маску для себя. Чего только стоило выступление фашиствующего исламистского радикала Насраллы в эфире российского спутникового телевидения и не менее исламистского и фашиствующего иранского президента в эфире немецкого телевидения.

Стыд является одной из высших ступеней на пути исправления человека, в противоположность низшей ступени порока — бесстыдству. Но, будучи маской, стыд лишь скрывает гордость. Может быть, это было продемонстрировано в предшествующие недели и месяцы самыми различными политическими и социальными группами? Желание избавиться от жгучего чувства стыда иногда приводит человека к тому, что он желает опозорить другого, дабы возвыситься в своих глазах. Но смогут ли признаться себе в этом униженные, но гордые «герои» моего рассказа? Кто «подставляет» добропорядочных и совестливых немцев, истинную совесть своего народа? Кто осмелится взвесить боль утраты моего рода? Кто осадит бурление истлевших, но все еще живых нацистов, поправших десятки миллионов убитых граждан СССР?

ЛЕХАИМ ИЮНЬ 2012 СИВАН 5772 – 6(242)

ИЗБРАННЫЙ НАРОД ИЛИ ХОРОШИЕ ЛЮДИ?

Александр Иличевский, Шломо Крол

Шломо Крол родился в Подмосковье, учился на кафедре классической филологии Петербургского университета, двадцать лет назад уехал в Израиль и теперь живет в Тель-Авиве. В его

«послужном списке» — переводы Йеуды Галеви, Иммануэля Римского, других еврейских поэтов Средних веков и Возрождения. Во время недавнего приезда Крола в Москву они с писателем Александром Иличевским сходили в ресторан и в перерывах между блюдами побеседовали о еврействе, израильской демократии, пассаизме диаспоры и других важных вещах.



ØËÏ Ì ÈÐÌ, ÀËÀËÏÀÏ ÀÐ ÈËË: ÌÏÏËË

ÀËÀËÏÀÏ ÀÐ ÈËË × ÀÂÏÏËËË Прежде всего меня интересует, что ты думаешь о еврействе. На неискушенный взгляд, внутреннее устройство еврейства выглядит полной разногласицей. Это и воинствующие атеисты, и воинствующие харедим, и не менее пылкие религиозные сионисты. Даже хасиды подразделяются на различные толки. Но чего мы хотим от евреев, когда они столько веков жили без государства? Конечно, в отсутствие насильственной вертикали волей-неволей сформируется анархическая структура общества: умный союз автономных личностей, чей язык лишен повелительного наклонения. Другой вопрос, почему в иных национальных общностях не всегда формируется такая полифония. В еврействе, сколько бы ни было мнений, все должны с этим жить. Национальная принадлежность, по сути, выступает удерживающей этот улей силой. Притом что общество в Израиле поляризовано не на шутку: одни по субботам бросают в других камнями, эти другие выставляют полицейские кордоны, защищаясь от камней; или человек в порыве религиозного рвения плюет в греческого монаха, а власти судят его и объявляют позором нации. Однако ссориться можно сколько угодно, но все равно никто не должен никого подавлять, потому что все евреи.

ØËÏ Ì Ì ÈÐÌË Да, в Израиле есть такое явление, как племенная солидарность, на которой, как ни странно, держится в большой степени все израильское общество. Была интересная статья Александра Якобсона в «А-Арец», там он рассуждает как раз на эту тему. Он говорит: большинство израильтян — выходцы из стран, в которых не было никогда никакой демократической традиции. При этом Израиль, без сомнения, демократия, хоть и несовершенная. В Израиле есть место неконсенсуальным мнениям. По мнению Якобсона, то, что держит израильскую демократию и помогает ей пройти такие трудные

испытания, как, например, эвакуация поселений из сектора Газа, — это племенная солидарность. Конечно, это не очень типичный «клей» для демократии. Однако внутри этой демократии, склеенной племенной солидарностью, находится место и для этнических меньшинств, для палестинских граждан Израиля, которые, будучи меньшинством дискриминируемым и маргинализируемым, тем не менее ценят израильскую демократию за то, что она позволяет им свободно высказывать свое мнение, идущее зачастую вразрез с мнением большинства. Вот такая странная ситуация: с одной стороны, племенная солидарность по природе своей эксклюзивна, с другой — она делает израильскую демократию более крепкой, так что в ней находится место и для тех, кто вне племени.

АЕ Возникает вопрос: чем обусловлена такая необыкновенная сплоченность евреев, которой, казалось бы, противоречит очевидная разнородность общества? Можно ли характеризовать еврейство как некий вариант дворянства? Для меня эта тема сейчас впервые в жизни стала актуальной. В юности все отчасти революционеры, ну а я был не революционером, а таким хиппующим субъектом, который думал, что все люди должны друг друга любить, все должны быть равны, при этом момент избранности мной отвергался полностью. Собственно говоря, представление о дворянстве, об аристократизме у меня возникло из слов бабушки, она нередко приговаривала: «Только у мещан есть время заниматься хозяйством». Для меня аристократизм состоял только в непрерывном чтении книг. Теперь мне становится очевидна необходимость и польза отдельности. Польза для всех — и для избранных, и для неизбранных, потому что последние когда-нибудь вполне могут оказаться среди избранных.

ОЕ Ты прав, вся эта тема с избранностью присутствует в еврейской мысли. Но мне кажется, что в настоящий исторический момент правильно было бы этим поступиться. Потому что эта тема большинству людей разносит мозги. Надо относиться к этому примерно как к мистике, с аналогичными ограничениями. Пусть сначала человек женится, у него отрастет борода, ему исполнится сорок, он хорошенько выучит Тору, «Шульхан арух», а потом уже изучает мистику. Мне кажется, то же касается и идеи избранности. Аристократ — он же умеет себя вести прежде всего. Он никогда не кичится своим дворянством, то есть он гордится им, но никогда не бьет себя в грудь и не кричит: «Я дворянин!»

АЕ В моем понимании аристократ — тот, кто обладает широким диапазоном языка и, следовательно, сознания. Он может и с фараоном поговорить как с человеком, и с дворником как с равным. А не бьет он себя в грудь именно потому, что первый признак ума — это осознание своих собственных границ. Человек не аристократ, если он не сознает границ применимости своих суждений.

ОЕ Просто дело в том, что дворяне в постфеодальное время нередко выступали против своих собственных привилегий. В наше-то время что такое дворянин? Он прежде всего гордится предками. И еще: дворяне иногда учатся всяким бесполезным вещам, вроде фехтования или конного спорта. Аристократ — носитель классических ценностей. То есть он сознает связь явлений, понимает, что ничто не берется ниоткуда и то, что происходит сейчас, имеет свои корни в идеях, мыслях, событиях, которые уже произошли.

Мне кажется, в этом смысле евреи могли бы быть действительно как дворяне, потому что у них есть очень долгая история, серьезные традиции. Кроме того, есть такие вещи, которыми евреи занимаются, а другие нет. Например, соблюдают кашрут и субботу. Никакого смысла, с точки зрения тех, кто «не в теме», в этом нет.

АЕ А что ты думаешь об избранности евреев? Смотри, как часто их упрекают в обособленности. Понятно, что в избранности нет ничего заносчивого, а только лишние обязанности. Когда ты выбираешь себе жену, она тоже становится избранной, ведь не можешь ты одновременно любить всех остальных женщин. Если ты относишься к своим детям так же, как к чужим, — это, как минимум, нарушает мироустройство. Так как ты воспринимаешь идею, что евреи — это пример для всех народов?

ОЕ Пусть евреи будут просто хорошими, пусть хотя бы не делают плохого. А уж говорить про «пример для всех народов» — это пусть другие скажут про евреев.

АЕ Чего ты ждешь от израильской политики сейчас?

ОЕ От израильской политики ничего хорошего я не жду, там все глухо, как в танке. Если не произойдет какого-то, не знаю, потрясения, то, по-моему, так оно все и будет. Причем что евреи, что арабы — полный паралич ситуации, и те и другие занимаются пинг-понгом взаимных обвинений, никто не хочет уступать. И даже не то что уступать, никто не хочет делать вообще что-либо. Все только утверждают в своей правоте, они от этого просто торчат. В кнессете сидят просто людоеды какие-то, пещерные дикари.

Например, Зеэв Элькин занимается еврейским образованием, умный человек вроде бы, а сейчас вместе с Дани Даноном продвигает закон, что при известных обстоятельствах для поселений можно будет захватывать частную палестинскую землю. Закон этот не пройдет, конечно, но некоторые законы уже прошли, такие же дикие.

В 1967 году произошло то, чего не могло не произойти. Понятно, что тогда Израиль вел, в общем, справедливую войну, потому что действительно была угроза уничтожения государства. И вдруг, неожиданно для большинства граждан, Израиль получил массу территорий, включая Иерусалим, Хеврон, все знаковые места, краеугольные камни национального сознания. Что было делать? С одной стороны, можно было, конечно, сказать: «Вот, мы это меняем на мир». А с другой — когда вам говорят: «Меняйте, не меняйте, мы с вами никакого мира заключать не собираемся» (на тот момент именно такая была ситуация), понятно, что поселенческое движение не могло не возникнуть.

Другое дело, что и тогда находились здравомыслящие люди, которые говорили, что это неправильно. Окончательно это стало понятно в 1990-х годах, когда избрали Рабина. Мирный процесс получил огромную поддержку в обществе. С тех пор большинство израильтян говорят: «Да, мы хотим, чтобы палестинское государство было создано». Но при этом они голосуют за правых, которые говорят то же самое, но втихаря развивают поселения.

К тому же палестинцы никаким образом не дали израильтянам понять, что палестинское государство — это конец конфликта. Израильтянам сказали: «Вот вам мир в обмен на территории» — и в результате вместо мира мы получили большое долгое кровопролитие. И те и другие недовольны, обижены. Но все равно они помиряются рано или поздно, потому что другого выхода нет.

Только и у тех и у других очень много того, что называется bad blood. Разум часто отключается у министров, у парламентариев. Просто диву даешься, когда смотришь их выступления.

АЕ Немудрено спятить, как тот человек, что стрелял в мечети.

ОЕ Ну, с ним все понятно, он же каханист был, у него такая идеология. Дело даже не в том, что он «съехал», главное, что его очень многие до сих пор поддерживают. Его могила в Хевроне напоминает святилище. Они все говорят, что он не просто стрелял, что арабы хотели устроить погром против евреев, а он про это узнал. То есть это совершенный миф, на самом деле погром-то он устроил. Но половина жителей Хеврона скажет, что он хороший человек. Поэтому я считаю: нечего говорить, что евреи какие-то особо избранные. Пусть умные люди про это рассуждают, как про мистику.

АЕ Да, оставим эти утверждения для праведников.

ОЕ Вот христиане, например: они в течение веков занимались тем, что убивали друг друга из-за филиокве. И люди, которые в этом участвовали, даже не догадывались о сути этого теологического спора. Также и израильский таксист, который говорит, что евреи избранный народ, не понимает, что это такое. Ну что в нем такого высокого, он же пассажиров обжуливает, у него две любовницы, кроме жены, плюс он еще по проституткам ездит, а в свободное время смотрит по телевизору футбол — ну чем он выше, чем Иоганн Себастьян Бах? А ведь он уверен, что он самый офигенный, потому что еврей, а не какой-нибудь там негр или араб.

Еврейское национальное сознание густо замешано на рессентименте — неважно, что евреи делают, они все равно праведные жертвы, а весь мир против них. Это чувство — анахронизм, атавизм веков нелегкой жизни в рассеянии. Я думаю, что в XX веке произошли два очень важных изменения в жизни евреев. Первое — это секуляризация народа Израиля: вдруг большинство евреев отошли от заповедей. Я как-то одному религиозному человеку сказал, что бедность, многодетность ультраортодоксов, их относительно низкая занятость, зависимость от помощи, отказ изучать светские науки, неспособность и нежелание сопоставить свои идеи с идеями «внешнего» мира, попытка «внешние» идеи просто замолчать — это ведь признаки глубокого, структурного кризиса. Он ответил: нам говорят про кризис уже сотни лет, а мы — такие же, как были. Но дело-то в том, что сейчас им говорят про кризис сами евреи!

И второе — это создание Израиля. Очень многие среди религиозных людей пытаются играть в некую ролевою игру, как будто бы все остается так, как было когда-то. Это похоже на то, как дети играют в рыцарей. Я очень хорошо отношусь к религиозным людям, и мне их дендизм очень нравится. Им по фигуре, что солнце светит, они все равно ходят в меховых шапках, климатические условия для них неважны, время

неважно, главное — вечность. Но нельзя закрывать глаза на столь важные изменения в жизни евреев, это эскапизм, недостойный столь мощной духовной традиции, как еврейская. То, что Израиль создан, — это такое мощное событие, которое просто никак нельзя игнорировать. Многие ультраортодоксы говорят, мол, современный Израиль — не настоящий, он создан без Б-га, а настоящий появится, когда Б-г придет Мессию. Как будто, если Б-г есть, что-то вообще может произойти без Него, тем более такое огромное историческое событие.

АЕ Разумеется. Эпоха пророков прошла, зато история стала откровением, с помощью которого Г-сподь общается с человечеством.

ОЕ Произошли очень большие изменения, и евреи могли бы вести себя более достойно. Было бы отлично, на мой взгляд, если бы евреи могли просто доброжелательно, спокойно, без чувства превосходства, без комплекса неполноценности общаться со всеми.

АЕ А ты мог бы в полужанрастическом режиме представить, как можно реструктурировать политическое устройство страны, с тем чтобы государство стало лучше?

ОЕ Я думаю, что можно спокойно оставить в прошлом анахронизм под названием «еврейское государство». Потому что никто не знает, что это такое. Одни говорят, что у государства должен быть еврейский характер. Это значит, что у нас нет государственных автобусов, ездящих в субботу, а есть только маршрутки. Ну, это же убожество. Это что же, еврейское государство автобусами меряется? Или еврейский характер государства в том, что у нас нет института гражданского брака и все женятся на Кипре? Полный бред.

Другие говорят, что еврейское государство — это государство, в котором еврейское большинство. У нас и так еврейское большинство, чего еще надо? Есть разница между национально-освободительным движением и государством. Это известная тема, еще Ленин про это говорил: есть национальные движения угнетенных народов, которые прогрессивны, и национализм народов больших империй, охранительный и реакционный. Очень забавно смотреть, как они меняются местами. Прогрессивное национально-освободительное движение достигает своих целей и вместо того, чтобы исчезнуть, превращается в охранительную квазиидеологию государства. С сионизмом произошло именно это.

Есть такая арабская националистическая партия с несколько разжигающей риторикой — «Балад». У нее главный лозунг: государство принадлежит всем гражданам. Казалось бы, это должно быть общим местом. А чье еще может быть государство, если не граждан? Но в Израиле вот это «государство всех граждан» считается чем-то кошмарным: «Как это всех граждан, мы же еврейское государство». А что это значит? У нас 20% неевреев, они что, не граждане, что ли? Нет, говорят, у них есть все права, но у нас еврейское государство. А что имеется в виду? Да просто идеология национального освобождения перекочевала в государственный период, это анахронизм, который нужно преодолеть. Для этого необходимо действительно обеспечить еврейское большинство в государстве, что можно сделать только одним способом — предоставить самоопределение оккупированным палестинцам в Иудее и Самарии. Израиль должен стать еврейским государством по факту, а не по закону. А закон и идеологию соответствующую как раз надо отбросить. Вот когда в Израиле станет возможен арабский премьер-министр — это будет замечательно. Обама в Америке — нам пример...

АЕ Ты общался в юности в Ленинграде с Игалем Амиром. Понимал ли ты тогда, что за убеждения у этого человека?

ОЕ Я тогда ничего особо не понимал. Хотя я был тогда уже левым, а в Израиле еще больше утвердился в своей левизне. Вообще-то я всегда думал, что к людям нужно относиться прежде всего по-человечески, уважать их достоинство. Игаль мне показался человеком умным, острым, мы с ним чуть-чуть говорили про политику. Помню такой эпизод: в Питере мы встретили моего приятеля Фреда, редактора анархо-синдикалистской газеты. Он говорит: «О, привет, что, как, откуда парень?» «Израильтянин», — отвечаю. Фред: «О, а у нас тут как раз статья про Израиль». Показывает свою газету и говорит: «Переведи ему». А там большая такая статья, на разворот, называется: «Евреи сделали правильный выбор». В том смысле, что только что прошли выборы и они выбрали левых, то есть Рабина. И я Игалю это перевожу. Он послушал и сказал только одно слово: «Wrong».

АЕ Давай поменяем тему разговора. Замечательный Алексей Суворин говорил про Тургенева, что тот пишет не романы, а модный журнал. То есть он не выпускает, конечно, журнал мод с картинками,

костюмов там нет, а делает журнал мод с характерами. Он создает и предлагает читателям характеры, а потом все выбирают и носят характер, как костюм, на себе... Так вот, есть ли в израильской литературе момент создания такой моды на характер, распространение которого впоследствии могло бы отразиться в политической и общественной жизни? Как вообще движение времени отражается в современном языке?

ОЕ Я не большой знаток современной израильской литературы, я только немножко стихи читаю и перевожу. Но сам факт того, что был возрожден иврит — ничуть не менее чудесное событие, чем создание Израиля. В течение такого времени этот язык был чисто литературным — и вдруг стал разговорным. Настоящая революция в иврите произошла в 1950-х годах, когда стали писать поэты, вроде Натана Заха, принадлежавшие к первому поколению, для которого это был родной язык. В отличие, например, от Бялика, у которого иврит выученный. А тут вдруг появились поэты, которые думают на иврите, сны видят на иврите. Новый язык ворвался в сознание культуры, политики и там активно обживался. Например, одно стихотворение поэтессы Йоны Волах вызвало в 1970-х скандал в обществе, его даже обсуждали в кнессете. Оно называется «Тфилин». Там тфилин — это садомазоатрибут, то есть совершенное кощунство, с одной стороны. С другой стороны, я, например, понимаю, что это стихотворение — индикатор того, что происходило в языковом сознании. О чем оно? О том, что иврит стал из святого языка языком разговорным, что можно теми же словами, на которых раньше писали священные тексты, говорить про садомазо, что на иврите существует даже обсценная лексика! То есть произошло острое столкновение двух пластов языка.

Вообще, самое интересное в еврейской жизни происходит именно в Израиле. Диаспора неизбежно страдает пассаизмом. В любой лавке на рынке Кармель больше святости, чем во всех музеях еврейства в диаспоре. Потому что музей еврейства — это неплодотворная консервация прошлого. А то, что происходит в Израиле, — это будущее.

АЕ Виленский гаон говорил, что народ Израиля в рассеянии — разлагающийся труп.

ОЕ О том и речь. В Израиле евреи могут соблюдать все заповеди, а могут и не соблюдать, заниматься чем угодно — и они все равно евреи, они даже не рефлексируют по этому поводу. Еврейская культура в Израиле цветет сама по себе. Это же совершенно удивительное явление!

ЛЕХАИМ ИЮНЬ 2012 СИВАН 5772 – 6(242)

И НАСТАЛ ДЕНЬ СЕДЬМОЙ

НА ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА ОТВЕЧАЮТ: ЯКОВ КЕДМИ, АЛЕКСАНДР ФИЛОНИК, МИХАИЛ ХЕЙФЕЦ, МИХАИЛ ЧЛЕНОВ

Беседу ведет Афанасий Мамедов

ВЕ Нет, нельзя. Война не развивалась по плану Генштаба, не развивалась она и в соответствии с теми решениями, которые принимались в правительстве Израиля. Реальность диктовала свои условия. Война велась в трех направлениях: с Египтом, Иорданией и Сирией. С военной точки зрения запланированными и успешными были два эпизода войны: атака израильских ВВС на аэродромы Египта, по тем временам выполненная технически безукоризненно, и классический бой дивизии Ариэля Шарона в Синае с занимавшей оборону дивизией египтян. Оба этих эпизода были разработаны командованием с исключительной тщательностью и добросовестно выполнены. По другим боям больше слухов. Быстрое продвижение израильской армии к Суэцкому каналу, в основном, объяснялось тем, что после атаки израильских ВВС на египетские аэродромы Амер отдал своей армии приказ к отступлению. Египтяне отступали неорганизованно. Преследование отступающего противника не сопровождалось серьезными боями. Столкновения происходили между отдельными батальонами и полками. Наступление в Сирии началось уже после того, как сирийская армия по приказу своего командования покинула позиции. С Иорданией — та же история. Иорданские войска получили приказ отойти с Западного берега. Было ясно, что они не в силах противостоять израильской армии. На иорданском фронте тоже почти не было серьезных боев, лишь несколько стычек «по ошибке». К примеру, как в жестоком и героическом бою на Амуниционной горке с участием двух рот. Командиры приняли неверное решение применить силу, без профессиональной оценки ситуации. Можно было совершенно спокойно решить эту проблему через два часа. Так что с чисто военной точки зрения Шестидневная война больше свидетельствует о развале арабских армий, в первую очередь, египетской, чем о боевых заслугах израильской. Когда через пять лет та же самая армия воевала с теми же самыми арабскими армиями, которые не убегали, а воевали, результаты были куда как менее блестящими.

АИ Вы были чуть ли не первым евреем, который под впечатлением от Шестидневной войны отказался от советского гражданства. Потом вы участвовали в Войне Судного дня, в которой, в отличие от предыдущих, сражалось уже немало «русских» евреев. Помогало ли вам эхо той победоносной войны, равнялись ли вы на ее героев?

ЯК Профессиональная армия не равняется на героев. «Равнение на героев» — это для гражданского населения, чтобы поднять его боевой дух. Если в армии все благополучно, если бой идет так, как планировалось, то героизм не нужен. В Войну Судного дня мы воевали так, как нас учили и как у нас получалось. Так что никакого равнения на прошлое в боях не было. Главным было не потерять самообладание. Мы делали, что могли, без учета того, что было пять лет назад, двадцать пять или тысяча... Во время боя — никаких мыслей, кроме боя.

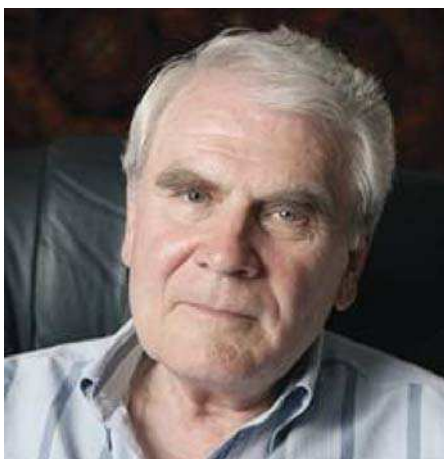
АИ Арабская сторона утверждает, что в ходе боевых действий Шестидневной войны, да и после прекращения огня, ЦАХАЛом проводились массовые расстрелы арабских военнопленных, о чем якобы свидетельствуют найденные захоронения.

ВЕ Мог быть единичный случай. Но опять-таки, вопреки приказам: расстрел пленных — грубейшее нарушение дисциплины, за которое офицер несет ответственность. Я уверен, никаких массовых расстрелов в ходе Шестидневной войны израильская армия не производила. А то, что находят захоронения, это естественно, во время войны, после боев, вокруг лежат десятки и сотни трупов. У меня одно из самых сильных впечатлений от Войны Судного дня — это неисчезающий трупный запах. Лежали горы трупов, нужно было их хоронить — выбирали место и хоронили. Я никогда не видел, чтобы кто-то пытался надругаться над пленными, тем более по собственной прихоти расстрелять. К концу Войны Судного дня пленных было столько, что мы не знали, как с ними быть. У нас в батальоне мы предложили им, разоружив предварительно, идти в сторону Каира, но они не согласились, пришлось оставить еду и одеяла. Картина была та еще: стоят наши танки и бронетранспортеры, облепленные солдатами в нашей и в египетской форме. Ни одна армия мира так не обращалась с пленными, как наша.

Á ÀÐÌ ÈÈ ÍÁÒ Ì ÁÑÒÀ ÝÌ ÎËÈÌÌ

ÀÈÀÈÑÁÍÁÐÒÈÈÍÈÈ

Áíñòíéíáá, :éáí ðíññéíéíá Ñíáíòá áíòááí íá — ó:áñòíééíá áíéíú áÁáííòá



АИ Как создавалась книга «Тогда, в Египте...»? [1] Погрузившись в этот документ эпохи, я не мог не подивиться живучести советского лексикона. Вроде нет уже замполитов, а израильский солдат у авторов книги по-прежнему — «агрессор», а сбитый израильский самолет — «стервятник».

АЕАЕНАІАВ ОЕЕІІЕЕ Это второе издание, можно сказать, идентичное первому, опубликованному в 2001 году: мы только внесли запятую и отточие в название и заменили несколько фотографий. Идея создания книги пришла, когда мы отмечали юбилей нашей организации — Совета ветеранов — участников войны в Египте. Когда книга вышла, все были счастливы. Мы и не предполагали, что она привлечет к себе такое внимание. Книга быстро разошлась, и сейчас мы думаем о третьем ее издании. К тому же появились новые тексты. Я, правда, материалов не видел, но коллеги говорят, что они вполне достойны публикации. Что касается «советского лексикона». Понимаете, в армии нет места эмоциям. Израильтяне бомбили наши расположения, зенитные и ракетные комплексы, кто ж они были нам, если не противники? Не следует забывать и о том, какие годы стояли на дворе. Советской пропаганде внимали все мы, и в основном верили ей. Это сейчас мы стараемся избегать советской терминологии: «колониализм», «империализм», «расизм»... Очерки, из которых собиралась книга «Тогда, в Египте...», написаны людьми, объединенными двумя обстоятельствами: они были родом из СССР и служили в Египте. Мы сознательно не стали редактировать тексты, чтобы сохранить правду времени.

АИ Коль уж заговорили об эмоциях и правде времени. Моя служба в рядах ВС СССР пришлось на первые два года Афганской кампании. Доводилось встречать самолеты оттуда, и очень часто вторые кабины «Спарок» были забиты афганским товаром — коврами, кожей, хрусталем... Скажите, что это, часть идеологии «солдат удачи» времен СССР?

АО Я не могу судить о временах Афганской войны, потому что не принимал в ней участия. Что же касается нашей поры — была другая идеологическая обстановка, все было много строже, и вот таких шкурных моментов я что-то не припомню. Быт у нас был довольно скромный. Хотя должен сказать, что я не вижу ничего зазорного в том, что люди, рискующие жизнью и получающие за это зарплату, тратили деньги по своему усмотрению. Многие были там с женами, а женам сам Б-г велел тратить зарплату мужей. Я служил среди нормальных людей, у которых барахло точно не было на первом месте. На первом месте — служба. Мы работали по одиннадцать и более часов. У нас просто не было возможности по тем же магазинам пройтись. Так что «солдатами удачи» никто из нас не был и рвачами тоже.

АИ Переводчик Геннадий Горячкин вспоминает: «...Вдруг вопрос египтян: “А как советские люди относятся к арабам, египтянам?” Мой подопечный, не моргнув глазом, ответил: “Арабы как фашисты, те преследовали и убивали евреев, и эти тоже”. Опешив на секунду от такой “находчивости” подполковника, я спокойно перевел что-то за советско-арабскую дружбу». Высказывание подполковника можно по-разному трактовать, однако вопрос напрашивается сам собой: наблюдались ли проявления антисемитизма в рядах советских военнослужащих в Египте?

АО Обо всех офицерах говорить не стану, а у тех, кого знал, никакого антисемитизма не замечал. Еще раз повторюсь: израильтяне для нас были лишь противником. Проходили учения, КШУ, на которых говорили: «Наблюдается танковая бригада противника». А кто этот противник? Естественно, евреи, других противников у нас в Египте не было. Но чтобы какие-то антисемитские высказывания — нет, никогда. Я оказался в Египте еще до конфликта 1967 года, практику проходил в Александрии. Никаких враждебных чувств к Израилю не испытывал. Ни тогда, ни сейчас. Должен сказать, что и среди простых арабов какой-то ненависти к израильтянам не встречал. Пропаганда на советский манер — да, велась. Куда

ж без нее. Но когда еще в советские времена я побывал в Израиле — тогда у нас были напряженные отношения и с Израилем, и с еврейской диаспорой, — то видел и там антисоветские демонстрации в городах. Но я спокойно к этому относился — в то время мы были по разные стороны баррикад. Израиль был форпостом Америки на Ближнем Востоке, а Америка — нашим заклятым врагом. Сейчас другие времена, и люди ведут себя иначе. Теперь прагматизм диктует нам необходимость сотрудничества с Израилем.

АИ Как вы сегодня оцениваете израильскую армию времен Шестидневной войны?

АО Я в непосредственный контакт с израильтянами не вступал, но по ощущениям своим, по словам тех, кто находился на передовых, их армия демонстрировала отличную выучку, дисциплину и мастерство. Но тут надо учитывать, что больших сражений между нами все-таки не происходило. Были налеты, артиллерийские дуэли, перестрелки через канал, сходились чисто спорадически. Сами стычки обходились без особых потерь. Погибали от внезапных налетов и артиллерийских ударов. Я сейчас говорю о 1967–1968 годах, о тех событиях, которые последовали сразу после Шестидневной войны, когда был введен институт военных советников. До того в Египте служили только наши специалисты. Обучали местный персонал обслуживанию военной техники. В Египет ехали, как правило, старшие офицеры, боевые, многие прошли Великую Отечественную. Кто попал в управление, кто на фронт. Естественно, они щедро делились военным опытом. Уровень боевой подготовки египетских войск оставлял желать лучшего. К войне арабы готовились чаще на словах. Если б арабская армия была боеспособна, ее бы не разгромили за шесть дней. И израильтяне знают, что воевали они со слабой армией.

АТ ЕІ О АУ ЕА ДА Е ЕС ДА Е Е У Н Е Е Е НА Д Е А І О

І Е О А Е Е О А Е О А О

Е П О І Д Е Е І Е П О А Е Ц І С А Е Е О Е П О



АИ В чем выражалось падение престижа СССР в дни Шестидневной войны, как реагировал советский народ на заявления Кремля?

І е о а е е о а е о а о Люди по-разному реагировали. Евреи, включая Лазаря Моисеевича Кагановича, всегда в душе сочувствовали Израилю. Наверное, не случайно жена Молотова, верная коммунистка даже с точки зрения самого Вячеслава Михайловича, сказала Голде Меир: «Если у вас будет хорошо, то и у нас будет хорошо». Советская пресса повторяла лживые измышления арабской. Нелепость страшная. До всех доходило «вражеское радио», все прекрасно понимали: то, что сообщает советская пресса, — ложь. Авторитет ее резко упал в массовом сознании граждан. Хотя для умных людей этого авторитета и до того не было. Арабские армии вооружены были советским оружием, обучены советскими инструкторами, воевали по советским тактическим схемам. Израильская армия была вооружена западным оружием и воевала по западным тактическим схемам. Вот и получилось, что разгром арабских армий в Шестидневную войну был в какой-то степени и разгромом советской стороны. Естественно, наверху тут же начали задаваться вопросом: «А как же подготовлена наша Советская армия? Что, если в случае боевого столкновения ее ждет такой же мгновенный разгром?» Полагаю, советское руководство стало испытывать комплекс неполноценности, чем и объясняется разрыв отношений с Израилем, как и возросшая к нему ненависть. Израиль в те дни — «страна-агрессор». Военное руководство убеждало, что арабы — трусы, несмотря на замечательное советское оружие, они потерпели поражение. И в это верили многие. Уже

оказавшись в Израиле, я слышал от своих отслуживших товарищей, что египетская армия очень сильная, а арабские солдаты твердые и стойкие, вот только офицеры у них никудышные, что является следствием политического строя, который отучает принимать самостоятельные решения. А в современной войне побеждает тот офицер, который способен принять самостоятельное решение. В этом-то и было огромное преимущество Израиля. Кто-то из историков очень точно подметил, что Шестидневную войну выиграл израильский сержант.

АИ 13 июня 1967 года московский студент Яков Казаков (в будущем один из шефов разведки «Натив» Яков Кедми) публично отказался от советского гражданства и потребовал предоставить ему возможность выехать в Израиль. А сколько было таких, кто не уехал, но почувствовал связь с исторической родиной и гордость за свой народ? Можно ли сказать, что пробуждение национальных чувств у евреев СССР началось именно после Шестидневной войны?

ИО Мы были в чем-то советские люди, для которых достоинство страны в первую очередь олицетворялось ее военными победами. Все понимали, что сильная армия может возникнуть только в сильном государстве, в котором живут свободные люди. Победоносная страна — это хорошая страна. Переломным в настроении советских евреев было то, что они начали думать о том, как покинуть СССР и переехать в Израиль. Мысль, что можно уехать из СССР, казалась абсолютно недостижимой. В этом смысле Яша Казаков проявил, на мой взгляд, невероятный героизм. Мне до сих пор не очень понятно, как у молодого человека могло хватить духу на такой поступок. Чувства, которые возникли у Яши Казакова, были в душах миллионов советских евреев, но первым принял решение он, Яша Казаков.

АИ Считаете ли вы, что сейчас Россия, помогая Ирану в изготовлении ядерного оружия, тоже вовлекается в очередной конфликт, который неизвестно как разрешится?

ИО Россия уверяет, что контролирует иранские ядерные разработки. Если так оно и есть и уран действительно обогащается до 3,5%, нам нечего беспокоиться: ядерная программа Ирана осуществляется в мирных целях. Но если Иран с помощью России задумал изготовить атомное оружие, это может быть опасно не только для Израиля, но и для России. Не думаю, что Россия всерьез вознамерилась помогать Ирану. С российской стороны это просто желание подзаработать денег.

АИ Кто бы мог подумать почти полвека назад, что в Израиле найдется немало историков и журналистов, задающихся вопросом: что являет собой Шестидневная война — победу или поражение? О чем говорит такая постановка вопроса?

ИО На самом деле уже в 1967–1968 годах об этом думали. Бен-Гурион, с одной стороны, радовался победам, с другой — очень их опасался. А тогдашний глава правительства Леви Эшколь говорил, что готов отдать все территории, кроме Иерусалима, в обмен на заключение мира. То есть многие понимали опасность расширения границ Израиля. В самом начале Израиль был готов уступить территории, но арабские страны отказались вступать в переговоры. Они сами оставили Израилю завоеванные в ходе боевых действий территории, надеясь, что он с ними не справится. Современные проблемы Израиля заключаются в том, что арабы если и идут на соглашения, то так, как будто не было их поражения в Шестидневной войне, как будто все началось до июня 1967 года. Арабы — народ самолюбивый, гордый и амбициозный, они с огромным трудом переносят свои неудачи. И чисто психологически им удобнее жить так, как будто поражения не было. Но историю перечеркнуть нельзя.

МЫ НЕДОСТАТОЧНО ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПЛОДАМИ ПОБЕДЫ

יְהוָה אֱלֹהֵינוּ יֵשׁוּעָנוּ

יְהוָה אֱלֹהֵינוּ יֵשׁוּעָנוּ



АИ Почему Израиль оказался не готов к трем «нет» Хартумской конференции: «Нет — миру с Израилем, нет — признанию Израиля, нет — переговорам с Израилем».

И ЭОАЕЭ × ЭАИ ГА Это смотря что означает ваше «не готов». Готовность к этим трем «нет» Израиль прекрасно продемонстрировал в той же самой Шестидневной войне. На ваш вопрос я бы ответил так: готовность практическая была, не было готовности идеологической. Нет ее и до сих пор. Но с другой стороны, может, оно и лучше: такое отношение, наверное, чем-то оправдано и по-своему верно.

АИ Если бы партия РАФИ не откололась от партии МАПАЙ, какой была бы Шестидневная война?

И × Думаю, такой же победоносной. Этот политический ход не имел решающего значения. Война не была игрой каких-то отдельных партий. Роль Моше Даяна не определялась мелкой партийной возней, он прежде всего был выдающимся военачальником своего времени, великим стратегом.

АИ 29 октября 1973 года в газете «Либерасьон» была напечатана статья Сартра, который писал, что израильский народ «будет жизнеспособным лишь тогда, когда сможет совместить свои права с правами палестинцев в изгнании». Возможно ли это когда-нибудь?

И × В высказывании Сартра есть только малая доля правды. Дело в том, что ситуация в 1973 году была принципиально иной, нежели она сложилась с 1993 года по настоящее время. Ведь Сартр писал задолго до соглашения в Осло, задолго до того момента, когда была создана Палестинская национальная администрация (ПНА). С момента подписания Норвежского договора палестинский народ перестал считаться народом в изгнании. Если же говорить о потомках тех палестинцев, которые в середине XX века бежали из Палестины, то сегодня им никто не препятствует вернуться в зону «А» Палестинской администрации, чего активно не желает сама ПНА. И дело тут, я полагаю, не в израильянах. Потому высказывание Сартра звучит сегодня архаично. Еврейское государство представляется мне самостоятельным образованием, которое отличается от породившего его еврейского народа и в то же время является закономерным его продолжением. Одна из основных проблем Израиля — это проблема национальных меньшинств. Уникальность ситуации заключается в том, что в течение тысячелетий сами евреи были национальным меньшинством. Но, как мы видим, это проблема многих государств схожего устройства.

АИ Существует мнение, что Государство Израиль так и не смогло «переварить» отошедшие к нему после Шестидневной войны территории.

И × В этом на первый взгляд казусном положении есть доля правды. Прошедшие сорок пять лет наглядно продемонстрировали, что Израиль недостаточно воспользовался плодами победы 1967 года, вошедшей не только в учебники истории, но и в анналы военного искусства. Равных ей военных побед у Израиля не было. Но последующие десятилетия показали, что военная победа недостаточно эффективна, если не сопровождается победой политической, а она, увы, достигнута не была. Судьба отошедших в ходе войны территорий сейчас дамокловым мечом висит над Израилем, совершенно непонятно, что с ними делать. Эта проблема, безусловно, является одной из самых трудноразрешимых на политической карте Ближнего Востока. Мне рассказывали, что еще Моше Даян после войны не прочь был поспособствовать образованию палестинского государства под эгидой Израиля. Уместно вспомнить и другой политический

шаг Даяна, который тогда пожинал плоды своей славы, — вернуть Старый город, вернее, Храмовую гору под юрисдикцию вакфа. Этот ход также имел непредвиденные последствия, которые мы «перевариваем» до сих пор. Альтернативные программы разрешения территориального спора завели страну в тупик. Как сложится сейчас, не очень понятно, хотя по-прежнему все крутится вокруг мирного плана Алона, с небольшими изменениями-дополнениями. Последствия великого исторического события, именуемого Шестидневной войной, мы пожинаем до сих пор, и с годами становится ясно, что не только много героического было совершено тогда, но и ошибок было сделано немало.

Etāā dā:ū çāðīāè ì Øāñðēāīāāīē āīēīā, ñ āðāīāē āīñōī:īīē ì āāðīñōīþ — «Åūēūō īīāāā īēēōī īā īīī īēō: īāð ñðāēāīēē, ēīðīðūā āū ēīī:āēēñ» — ì īæīī īō:āñðē īīñīðēōū Åðīāā īīī īēī, āāīāūēīū īōī ā:āāī, ā āīēīā āñ īēēāē īā ēīī:ēōīþ. Īīā āāāōīþ ā īðāññā ñ òðēāōī īāðēāī āīōīā īīā āāāōīþ ñ īðāēēāī ā ðēāāō īā ēēāīñēīē āāīēōā, ā ññēōīðā Åāçā, ā Ñāāðīōā ē īā çāīāāīī āāāāā Īīā ðāāāōā īīāñī ē òāðāēōāī ē, īāðēāī āīōñēēī īðīðēāññōīþīēāī «ēāññō» ē «īðāāīō»... Ī īæāð, āñ āāēī āōīī, ēāē ī ū īīī īēī ē ñ:āī īāðīðēī ì ēðēōīþ.

ЛЕХАИМ ИЮНЬ 2012 СИВАН 5772 – 6(242)

АРКАН КАРИВ. ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО

*25 аїдаєү ієїїааєр Адеаіо Еадеао єїїієєїїї аї 49 єао. Аї іїііііііііі а аїіі
ііааіііі іі ааііііііі і іааіао а і іііііі іа Аїііііііііі ііііііііі*



«Танго — одна из немногих вещей в моей жини, про которые я точно знаю: продолжая этим заниматься, со временем я буду все лучше и лучше», — сказал мне как-то Аркан. Наверное, это была одна из самых серьезных и важных для него вещей, которые он мне когда-либо говорил.

Познакомились мы в декабре 2004-го при обстоятельствах, которые Аркан наверняка не запомнил, а я помню очень хорошо. Ну и неважно. Потому что по-настоящему мы познакомились в сентябре 2009-го, когда я до такой степени достала всех окружающих своим нытьем на тему «пойдемте кто-нибудь со мной учиться танцевать танго», что мне дали телефон Аркана со словами: «Карив уже восемь лет выносит всем мозг своим танго, тебе к нему».

Я, надо сказать, страшно стеснялась звонить незнакомому, по сути, человеку со словами: «Отведите меня на танго». Так что наш общий друг, который дал мне его телефон, в итоге плюнул, позвонил Аркану сам, потом перезвонил мне и сказал: «Он ждет твоего звонка. Звони».

Аркан взял трубку. Дрожащим голосом я начала лепетать, что я та самая девочка, которая хочет научиться танцевать танго, а он вроде тот самый человек, который... Где-то на этом месте Аркан перебил меня и с радостным стебом в голосе сказал:

— О! Ты преодолела смущение!

Потом он устроил мне целый экзамен.

— Почему ты хочешь танцевать именно танго? Ты отдаешь себе отчет в том, что будет, если тебе понравится? Просранные ночи, блядство, алкоголь, кокаин? Потеря работы? Вечная нищета? Тебе оно надо?

Тут уже я встала в позу и заявила, что мне оно надо. Тогда Аркан сказал:

— Ну что я могу сделать... я могу взять тебя на практику в школу, где я занимаюсь, это единственная осмысленная школа в Москве, других нет.

В общем, Аркан был моим первым партнером. Как я сейчас понимаю, это даже важнее, чем первый мужчина. Это когда ты уже понимаешь, что к чему, в смысле тела и человеческих отношений, вроде взрослая уже, а тут на тебя обрушивается совершенно другая интимность: ты оказываешься внутри чьего-то объятия сразу вся, целиком, и слышишь через чужое тело, как дрожит от неуверенности и какого-то счастливого ужаса твое. Танго оказалось таким вот способом узнать человека сразу всего — и без сложных последствий. Вы уже сразу как бы переспали и пережили расставание — где-то в прошлом, — и теперь вы просто люди, которые знают друг друга изнутри и могут друг друга, как никто.

Аркан учил танго, как очередной язык — язык человеческой коммуникации. Такой язык, который входит в тебя на уровне мышечных рефлексов. Один из моих партнеров впоследствии говорил, что не узнает никого из своих партнерш в лицо, но вот встает с ними в объятие — и по объятию сразу вспоминает. Я до сих пор кожей и мышцами помню аркановское объятие и, думаю, всегда буду помнить. Мне немного неловко, что я так много знаю о человеке, о котором я вообще-то знаю так мало. Но это знание — часть меня, часть моей с ним истории и часть его: он тоже знал многих и многих людей, был таким слепком с их объятий. Аркан научил меня многим штукам, которые я до сих пор использую в танце. Сейчас я понимаю, что он, в общем, просто пересказывал то, чему научился от разных преподавателей, как я бы сейчас пересказывала (и пересказываю) отдельные куски своего ученического опыта новичкам. Но формулировки! Некоторые аркановские танго-максимы я говорю про себя до сих пор, когда танцую.

Например, «Я хочу меньше головы и больше сисек» — это значило не наклонять голову вперед, а стремиться вперед грудью, корпусом, открывая партнеру солнечное сплетение.

Или: «Танцевать хорошо можно с любой партнершей, если ты сам танцуешь хорошо. Если твоя женщина ничего не умеет — ну ходи с ней просто».

Как-то мы с Арканом пришли на праздничную милонгу — третью или четвертую в моей жизни. Я ничего не умею, всего боюсь, Аркан фактически носит меня на себе по танцполу, в полном соответствии с вышеприведенной максимой. Но ему же хочется и потанцевать! Поэтому в какой-то момент он говорит:

— У меня есть для тебя танго-задание. Стой вот здесь и делай вид, что тебе очень хочется танцевать. Стреляй глазами. Пусть тебя кто-нибудь пригласит.

Поставил меня в нужную позу — не скрещивать руки на груди (не «закрывать»), развернуть плечи, то-сё — и ушел танцевать с кем-то. А я же не знаю, как это делается — чтобы меня кто-нибудь пригласил. Какое движение нужно совершить внутри себя, чтобы оно оказалось аналогом фразы: «Привет, давай потанцуем». И вот я стою — а задание же, надо успеть сделать так, чтобы меня пригласили до конца танды, — и отчаянно пытаюсь нащупать внутри себя то мышечное движение, которым они все передают наружу, что хотят танцевать и были бы не прочь это самое... Это? — нет, не подходит; может, вот так? — нет, не то; что-то такое?.. И каким-то случайным движением, которое я даже не запомнила, вдруг попадаю в неведомое баскетбольное кольцо, и передо мной вырастает какой-то человек с вопросом: «Танцуете?»

Человеку, конечно, туго пришлось: я тогда очень хотела танцевать, хотя на самом деле почти не танцевала. И все-таки у меня получилось — у Аркана получилось. У меня потом ушло еще полгода на то, чтобы освоить это внутреннее движение уверенно, как свое. Но никто, кроме Аркана, меня этому никогда не учил и не говорил со мной об этом.

Я еще очень многое помню про наши танцы, но огромная часть того, что я помню, трудно вербализуется, потому что она вся на тактильно-мышечном уровне. На том языке, которым Аркан так хотел владеть в совершенстве и который понимал так хорошо. Хотя вот одна из этих вещей — очень важная — как раз про слова. Как-то в очередной его приезд в Москву мы договорились пойти с ним на милонгу. Мне страшно хотелось танцевать, причем на тот момент я, фанатично занимающаяся все свободное время, 5–6 раз в неделю, танцевала, честно говоря, уже немного лучше Аркана, и мне хотелось более продвинутых партнеров. В общем, я приехала на милонгу раньше, чтобы натанцеваться до его прихода.

Потом приехал Аркан и с порога заявил:

— Я пишу следующий роман! Я уже написал начало и некоторые сцены, так круто получается!

Я сказала, мол, покажи. Ну а что еще отвечают другу-писателю на такое?..

— О! — обрадовался Аркан. — Пойдем в соседний зал, я тебе прочитаю.

И я поплелась с Арканом в соседний — обеденный, не танцевальный — зал, мы сели за стол, и дальше до часу ночи, то есть до конца милонги, он читал мне начало своего второго романа, «Однажды в Бишкеке», и ту главу, где в бишкекском ресторане происходит драка между заезжими американцами и приближенными киргизского «принца».

На первых строчках я еще уныло провожала глазами уходящих с милонги потенциальных партнеров. А потом — хохотала, ахала, наклонялась, чтобы лучше слышать, улыбалась, ерзала от волнения, потому что обе эти сцены — особенно драка, которую Аркан написал как танец, — вставали перед глазами и смешивались с танго в соседней комнате, встраиваясь в пробивающуюся оттуда музыку и становясь почти осязаемыми, реальными, здесь и сейчас.

Потом, когда я прочитала законченный роман целиком с экрана, эти сцены уже не произвели на меня такого впечатления — как я теперь понимаю, они не предназначены для чтения про себя в одиночестве, потому что они вообще не текст. Они — танго. И так же, как стихи танго, на бумаге выглядят несколько наивно и немного неуместно, как-то «чересчур». В общем, Аркан писал роман, а написал romance — танго в прозе, которое должно исполняться под музыку, перемешанную с легкой руганью, тоскующими взглядами одиноких женщин, сигаретным дымом, случайным смехом подданных аргентинцев, тихим стуком стаканов, когда их ставят на кривые столы, поднимаясь танцевать, и ритмичным, как прибор, мускулистым шелестом туфель о паркет, который можно услышать из-под музыки, только сидя очень близко, почти на самом танцполе, так, словно очень-очень хочешь танцевать, в надежде, что тебя вот-вот пригласят.

Следующий — третий — свой роман Аркан собирался писать про танго. То есть снова про того же героя, Мартына Зильбера, — но еще про Аргентину, золото Третьего рейха, приключения, любовь, драки и смерть на танцполе. Сейчас мне кажется, будто Аркан говорил, что героя в конце должны были на танцполе убить, по законам танго-лирики. Но, может быть, это уже я придумываю. Может, предполагалось, что он счастливо избежит опасностей и останется жив.

Рәйә Әһәһ

ФОРУМ

[ÀÈÀÈÑÀÌ ÄÐÌ ÀÈÈÕÌÁ. ÁÁÐÀÈ-ÁÁÌ ÈÈ È ÁÁÐÀÈ-ÁÌ ÈÄÈ. 2012.3](#)

[Àðèààèè, arkadbel@gmail.com](#) Вы пишете: «Эту картинку времен первой русской революции донес до нас Владимир Жаботинский: лидирующее участие евреев в массовых движениях способно лишь ослаблять эти движения. Но ведь Красная Армия, созданная евреем Троцким и в значительной степени руководимая комиссарами-евреями, разгромила всех своих врагов! Породив невиданную прежде ненависть к еврейству проигравших. Во время кишиневского погрома погибло около пятидесяти человек — во время погромов Гражданской войны было убито от двухсот до трехсот тысяч евреев». По-моему, тезис Жаботинского не является истиной: иногда так, иногда этак. Если взять мировое коммунистическое движение, со второй половины XIX и до середины XX века, то наличие в нем евреев отнюдь не ослабляло его. Скорей, наоборот. Зато после того, как Сталин развернул антисемитскую кампанию, а комдвижение в конце концов противопоставило себя Государству Израиль, реальный коммунизм ослаб. После кишиневского погрома 1903 года были еще погромы 1905–1906 годов, был процесс Бейлиса, были погромы 1915–1916 годов, творимые русской армией, в основном казаками. Это породило невиданную волну еврейских беженцев. То есть определенная часть тех, кто проиграл Гражданскую войну, проявляла к ним ненависть еще задолго до Октябрьской революции.

[СЕМЕН ДОВЖИК. ПОРА ПРОСЫПАТЬСЯ. 2012.5](#)

[spivaki.livejournal.com](#) Не согласен с каждой строчкой!.. В нашей школе есть прочный забор, два серьезных охранника из израильской фирмы, которые знают всех в лицо и не пустят незнакомых, на дорогах возле школы каждый день дежурят два-три родителя во флуоресцентных жилетах с «кнопкой паники», нажми — и через минуту у школы вооруженная полиция. Конечно, мы не застрахованы от убийцы, который, проезжая мимо школы, достанет пистолет и сделает несколько быстрых выстрелов по толпе (как это было во Франции), но написать: «ощущение полнейшей беспомощности» — мог только человек, который никогда не имел контакта с CST и не ценит огромный многолетний труд сотен людей, которые, я уверен, предотвратили сотни антисемитских инцидентов.

[kelevraa.livejournal.com](#) В Тулузе даже вооруженный охранник не помог бы. Мера убил бы его первым, это был хладнокровный, хорошо обученный убийца. Что уж говорить о невооруженном? А сэкономили на охраннике потому, что уровень напряженности в последнее время спал, угроза теракта была гипотетической, а расходы на охрану реальные. Ладно бы еще эффективные... Евреи Европы в первую очередь должны требовать от правительств своих стран соблюдения безопасности, настаивать на этом и бороться за свои права. Переезд в Израиль — личное решение. Пусть они живут где хотят, лично мне бы не хотелось, чтобы основным мотивом переезда в Израиль был антисемитизм. Практика показывает, что эффективность такой эмиграции невысока. Да и у нас тут неспокойно.

[ÄÌ ÈÒÐÈÈ ÁÛÈÌÁ. ÈÈÈÌ ÈÈÈÌ ÎÌ. 2012.3](#)

[mi ka el0467.livejournal.com](#) Был шокирован, прочитав заметку Быкова. Дмитрий Львович, Вы, походя, позволили себе оскорбить если не целую страну, то половину ее жителей точно. Вы пишете: «исцелившегося “правого” израильтянина вообще следовало бы выставить в музее рядом с плачущим большевиком». Давайте уточним, что это за зверь такой — «правый израильтянин»?! Согласно «общепринятой» терминологии (прежде всего принятой в Израиле), еврейское население этой страны условно делится на «правый» и «левый» лагерь по принципу отношения к «палестинской» проблеме, а именно: в вопросе о том, сколько земли отдавать арабам, когда и кому конкретно. Уверен, подавляющее большинство израильтян абсолютно индифферентно относятся к тому, как завлечь кого бы то ни было в Израиль. Те, о ком вы упомянули, — ничтожная кучка идиотов. Возможно, наиболее горластая, но по численности — ничтожная, и их идиотизм никак не связан с политической ориентацией, каковую можно разделять или не разделять, но должно уважать.

— Мы и раньше знали эти песни! Мы слушали их по радио тайком, чтобы польские паны не знали! Мы понимали, что страна, которая так весело поет, должна быть очень счастливой!

— Сколько длился марш от советской границы до Вильны? — спросил какой-то парень в черной рубашке и с еще более черными волосами. — Я имею в виду, сколько времени вы к нам шли?

— Мы шли к вам двадцать лет, с самой Октябрьской революции, — резко ответил ему светловолосый русский с курносом носом, и все поняли: не выведывай военные тайны.

Этот ответ разнесся по городу: они шли к нам двадцать лет! Все эти годы они день и ночь работали, хотели нас освободить! Но мы тут тоже не дремали, мы приготовили почву для их прихода, гордо говорили парни и девушки и гуляли в обнимку по улицам Вильны. Когда проезжал блестящий черный автомобиль, девушки останавливались и глазами, губами, зубами улыбались занавешенным окнам машины. Хотя они и не знали, кто сидит внутри, но понимали, что там сидят политуки и командиры.

Однажды машина остановилась, и из нее вышел высокий человек в кожаном пальто. За ним вышел второй, в военном мундире, ниже первого и ростом, и, судя по всему, рангом. Комиссар в кожаном пальто с доброжелательной строгостью спросил шофера, громко, чтобы слышали окружающие:

— Нам хватит бензина до Белостока?

Шофер равнодушно кивнул, а человек в мундире сказал с многозначительной улыбкой:

— Нам хватит бензина до Варшавы.

— А может быть, и до Берлина, — рассмеялся комиссар.

Больше они ничего не сказали и сразу же уехали. То, что они говорили недолго и даже не взглянули на восторженных девушек, придало особый, громадный вес их словам. Стало ясно, что для Советов новая германская граница в захваченной Польше и даже старая граница в Восточной Пруссии — не граница. Люди передавали друг другу слова одного советского солдата: «Я поставлю пограничные столбы Советского Союза там, где мне прикажут!»

И все же на Мясницкой улице, на Шяуляйской^[1] и Рудницкой, там, где переулки поуже и магазинов побольше, бросались в глаза длинные очереди перед продуктовыми магазинами. Еще сильнее бросались в глаза очереди советских солдат у магазинов тканей. Казалось, все солдаты русской армии выстроились у еврейских лавок, чтобы купить подарки своим женам и детям: от тканей и костюмов до шпилек и ниток.

На Мясницкой улице стоят торговец зерном Шая и бакалейщик Хацкель. Они беседуют. Шая в восторге от красноармейцев, но Хацкель остается лавочником до мозга костей и говорит Шае:

— Дайте мне миллион, чтобы я сейчас справил себе костюм, — я не буду этого делать. Я думаю только о том, как бы перебиться до конца войны. Красноармейцы не отходят от магазинов, а ведь они говорили, что у них есть все.

— Конечно, у них есть все, — отвечает Шая. — У них есть танки, пушки, бензин и птички, стальные птицы — у них этого, как песка морского. А вот додуматься до того, чтобы завести себе мануфактуру и галантерею, они не сумели!

— Что-то у них слишком много денег. Слишком много червонцев, — бормочет Хацкель.

Несколько машин останавливаются на углу Рудницкой и Мясницкой улиц рядом с большими мануфактурными магазинами, и тут же разносится весть о том, что Советы конфискуют товар.

— Ну вот, та же история, что была двадцать лет назад, — мрачно тянет Хацкель.

— Конечно, жизнь при них для нас не будет медом. — Шая смотрит мутными глазами вниз, на свою бороду лопаточкой.

По улице проходит с полдюжины русских в голубых фуражках. Шая обращает внимание на то, что затылки у них выбриты совсем не так, как подстригают в Вильне, под расческу. Кроме того, Шая замечает, что края шинелей у них загнуты внизу уголком, в то время как у простых красноармейцев шинели не обметаны и вообще не производят впечатления цельнокроеных. Русские в голубых фуражках подходят к солдатской очереди, стоящей у мануфактурного магазина, коротко что-то говорят паре солдат — и вся очередь распадается в одно мгновение. Красноармейцы, простоявшие долгие часы у магазина, уходят молча, опустив головы. За всю свою жизнь лавочник не видел и не слышал, чтобы двумя словами можно было разогнать такой большой строй солдат.

— Это энкавэдэшники, — шепчет Шая Хацкелю, и у обоих тяжелеет на сердце.

В те дни, той поздней осенью, я блуждал по городским паркам. Мне вдруг стали очень дороги широкие аллеи со старыми каштанами, где до войны часто слонялись польские студенты с толстыми палками, подстерегая еврейских прохожих.

Замковая гора была засыпана румяно-красными, темнокоричневыми и шафраново-желтыми листьями, словно раскаленными углями. После нескольких дождливых дней небо прояснилось, стало выше и засветилось каким-то болезненным, прозрачным светом. Мрачный, пресыщенный осенней сыростью и печалью, я долго бродил по окрестностям Вилии и садам, пока не остановился на Кафедральной площади у белого собора с шестью колоннами.

Площадь кишела поляками. У всех были серьезные, строгие лица. Я протолкался к дверям собора и заглянул внутрь. От множества длинных восковых свечей на алтаре и лампад в каплицах там висел какой-то розовый туман. Собор был забит католиками. Они с непокрытыми головами стояли на коленях в глубоком молчании. Под потолком собора широкими волнами плыли звуки органа так печально и торжественно, словно здесь справляли доселе неслыханную мессу — мессу по погибшей Польше.

По улице маршировала рота красноармейцев. Кто-то из них смотрел на толпу у собора с любопытством, кто-то с удивлением, остальные солдаты улыбались. Поляки, хлынувшие из собора, стояли на улице с непокрытыми головами и смотрели вслед красноармейцам, закусив губы.

На мостовой и тротуарах у краснокирпичного готического монастыря бернардинцев, словно бы сотканного из колючих, острроверхих лучей, стояли на коленях молодые поляки и пожилые женщины. Они тоже молились, безмолвно застыв с опущенными головами, словно над ними витал незримый мертвец в серебряном гробу.

У мостика через Вилейку я увидел группу людей вокруг танка. Танкист, молодой парень со светлыми, как лен, волосами и светлыми глазами, что-то рассказывал, а публика весело смеялась. Я шел мимо и помедлил на мостике, повернувшись лицом к танку: может быть, подойти и попробовать посмеяться вместе с ними, порадоваться вместе с этими парнями и девушками?

Но я не подошел. Вместо этого я зашел в Бернардинский сад и сел на скамейку. Ветер срывал с деревьев охапки листьев, но кроны все еще оставались густыми, и стволы казались охваченными пламенем. Когда ветер на время стих, ветви все равно дрожали и стонали, как больной после тяжелой лихорадочной ночи. Я припомнил строки Юлиуша Словацкого[2]: «Мне тоскливо, Боже!» Польши больше не было. Прежде, в маминной каморке за кузницей, я мог быть тем, кем хотел. Теперь мне не дадут быть одному в моей комнате. Теперь нельзя тосковать.



II

В глубине аллеи на скамейке сидел человек, повернув ко мне лицо, и по тому, как была вытянута в мою сторону его шея, я понял, что ему любопытно, кто я такой. Наверное, пьяный, который ищет собеседника, подумал я и нетерпеливо отвернулся. Но вдруг я снова повернул к нему голову, посмотрел на него и понял, что он похож на Залмана Пресса, торговца чулками, который когда-то долго сидел тут со мной, рассказывая о любви к своей светловолосой, в конце концов повесившейся квартиросъемщице.

Я встал и пошел к нему. Чем ближе я к нему подходил, тем больше крепла моя уверенность, что я ошибаюсь. У торговца чулками была большая кудрявая борода, а у этого человека на скамейке только куца седоватая бородка.

— Я сразу же тебя узнал! — воскликнул он. — Сразу же! Но я не хотел подходить к тебе — вдруг ты боишься. Я знаю, по нынешним временам лучше не иметь среди старых знакомых социал-демократов, которые сотрудничали с меньшевиками, а не с большевиками.

— Я вас не узнал, — сказал я, садясь рядом. — Вы подстригли свою длинную бороду.

— Подстриг! — весело подтвердил он. — Моя борода была длинной не от набожности, а оттого, что я был эсеком. Партийная борода, поэтическая, может быть, даже толстовская, но никак не набожная. Она была моим лучшим украшением. Но она стала седесть, а так как я сидел каждый вечер в молельне могильщиков, она превратилась в сплошной колтун. Вот я ее и укоротил. Мне не нужна партийная эсековская борода, которая будет бросаться в глаза большевикам.

По его взволнованной речи и колючести я вижу, что он такой же, как в тот день беседы со мной, когда после целого вечера самобичевания он сорвал с шеи свой плащ, который носил, подражая художникам, и убежал из сада в молельню могильщиков.

— Ну скажи, зачем мне поэтическая борода? — Он треплет свою куцую бородку. — Я привлекал глуповатых бабенок, покупавших у меня чулки, двумя вещами: своей бородой и своими стишками. Теперь, когда я уже не торгую, мне больше не нужны ни борода, ни стишки.

— Вы уже не торгуете?

— Все, отторговался! — смеется Залман Пресс. — Негде стало покупать чулки. Как только в Вильне появились большевики-освободители, я вышел со своим товаром на улицу. Они все раскупили. Женские чулки, детские чулочки, носки — словом, все! Заплатили они честно и аккуратно нововведенной валютой, русским рублем, который равняется польскому золотому. И вот, продав все, я иду к купцу за новой порцией товара. Он смотрит на меня, как на ненормального, и клянется, что они и у него все расхватили:

десятки дюжин, сотни дюжин товара ушли в момент, рубль вместо золотого заполнил его кассу, и он остался, по его словам, ни с чем. Так я перестал быть торговцем. Конец! А моя жена Фейга и сыновья снова смеются: «Недотепа, неудачник, где была твоя голова?»

Я изо всех сил сдерживаюсь, чтобы не рассмеяться. Но маленькие острые глазки Залмана уже заметили усмешку в моих глазах, и его взгляд становится колючим, как стеклянные осколки. Из-за подстриженной бороды его лицо кажется худым, костлявым, желваки двигаются под кожей туда-сюда.

— Смейся, смейся! Я очень доволен тем, что больше не торгую, в высшей степени доволен! Какой смысл продавать чулки без песенок? Никакого смысла! А этим освободителям песенки не нужны. Глуповатые бабенки, которых я, бывало, привлекал своим пением, даже смотреть в мою сторону теперь не хотят. Эти освободители поют лучше, к тому же они гораздо красивее, чем я. Это, как я понимаю, ты и сам видишь. Кроме того, Фейга взяла с меня слово, что я буду помалкивать. Хотя она и хвастается, что ненавидит меня, ей все-таки меня жалко. Она умоляет: «Будь добр, не пой больше никаких песенок». Понимаешь? Мои рифмы родом не из Москвы, и поэтому их могут счесть контрреволюционной пропагандой под видом веселых песенок.

— Не надо грустных песен, — говорю я.

— И веселых не надо. Нельзя теперь веселиться на свой манер. Помнишь мои песенки? Одну из них я пел у ворот твоей мамы, и улица покатывалась со смеху. Привожу, как говорят критики, всего одну строфу:

Yé, ádáváéíy' á áúñòéó ñóáðáó!

Yé, íéyòé, óñðáíáé òííáé!

òtéúéí í á ñáðéáé ñáðó í áðú

òú ñáíáþ áéíé...

— Это же притча: наш мир — это свадьба. Внутри сидят богатые сваты с толстыми брюхами, а снаружи у окон стоят бедняки и приплясывают. Так было в те дни, когда я сочинил эту песенку. Теперь все наоборот, и песенка еще больше отвечает реальности: толстопузые стоят снаружи и смеются над бедняками, пляшущими внутри с голыми задницами. — Он буквально давится смехом, и я вижу, как гнев сводит кишки у него в животе. — Говорю тебе, трюкачи! Да нет, не трюкачи, актеры! А ведь и я когда-то пытался играть на театральной сцене вот здесь, в этом стойле. Не зря я прихожу сюда и вспоминаю время, когда я был актером-любителем и вскружил Фейге голову своим талантом. Но им я и в подметки не гожусь. Вот кто настоящие актеры!

— Кому это им?

— Им, этим освободителям, — заводится он еще сильнее. — Ими командует самый великий режиссер на свете. Конечно, можно научить актерству и пению десять, пусть даже двадцать мужиков, но чтобы тысячи, десятки тысяч мужиков пели одну и ту же песню: «У нас все есть!» И это при том, что мои носки для них товар. Даже мешки моей Фейги для них товар. Фейга тащит тюк пустых мешков из-под муки или картошки, ее останавливает освободитель, смотрит, насколько велик мешок, нет ли в нем дыр, — и покупает его. Чтобы было, во что упаковывать добро, если ему удастся что-то выторговать. Жаль, жаль, что нет больше их прежней интеллигенции. — Залман опускает голову и начинает говорить медленно и печально: — Ах, их интеллигенция! Даже такой неудачник, как я, чувствовал себя среди них полноправным человеком. На самом деле это они, русские интеллигенты, убедили меня в том, что я могу быть театральным актером, в том, что я поэт, хотя они не понимали ни единого слова из моих песенок. «Этот ритм, — говорили они, — нам нравится этот ритм!» А теперь у них есть режиссер, и еще какой режиссер! — снова восклицает Залман и едва сдерживается, чтобы не заорать от восторга. — Он даже русскую интеллигенцию научил быть хитрой и молчать. Он и меня научил этому! Я уже молчу!

— Вы не молчите. — Я бросаю взгляд на короткие тени, тянущиеся от ствола к стволу, тени, которые стремятся друг к другу, но друг до друга не достают.

— Я молчу. — Он оглядывается в пустом парке. — Но тебя я не боюсь. Ты тоже остался по ту сторону баррикады, как, бывало, говорил мой Юдка. Как ты вдруг оказался в парке в такой ветреный день? — Он поворачивается ко мне, словно только сейчас понял, что должен этому удивиться.

— Да так.

— Понимаю, — смеется он. — У тебя горько на душе. Местные партийцы имеют к тебе претензии. Наверняка ты когда-то сболтнул лишнее. Твои стихи, наверное, им тоже не подходят. Одно время ты учился в ешиве, и в твою поэзию проникли длинные бороды, твоя сбрита борода проникла в твои стихи... Ну, ты уже перекарасился? Или, как они говорят, перестроился?

— Пока нет. Пока от меня этого не требуют.

— Это плохо, «враждебная отсталость», — говорит он колючим голосом, и я не знаю, всерьез он или шутит. — Все время молчать и ничего не делать тоже не годится. Это как раз и ставит мне в вину Фейга: «Или рот у тебя не закрывается, или ты молчишь, как лесной разбойник. По твоему лицу сразу видно, что ты недоволен». Так она говорит.

— Вы еще скандалите дома? — Я втягиваю голову в плечи: мне холодно, словно от его слов пахнуло ветром.

— Уже нет, — с готовностью отвечает он, оживляясь оттого, что я даю ему повод для нового потока слов. — Достаточно Фейге показать в окно, где стоят рядом со своими танками и поют танкисты, и я сразу немею. Так Фейга объясняет мне, что я сделал с нашим Юдкой. Ты же знаешь, когда поднялась вся эта суматоха с перебеганием в Советский Союз, наш Юдка убежал туда, чтобы стать художником. Мы и раньше догадывались, что он не учится в Москве в Академии искусств, как ему мечталось. Мы считали, что он гниет в какой-нибудь угольной шахте Донбасса. И все-таки мы думали, что однажды он отыщется. И вот, когда появились эти освободители, я стал фантазировать, что в один прекрасный день откроется дверь и войдет красный командир, Юдка. Фейге я этого не говорил, но меня день и ночь трясло как в лихорадке: открывается дверь, и входит командир Юдка. Если не командир, то хотя бы солдат в серой шинели. А Фейга не мечтала, она гоняла сыновей по городу, чтобы они хоть что-то узнали. На меня она не полагается, я, как она говорит, трепло. Так продолжалось, пока мои сынки не принесли достоверную информацию от местных партийцев. Те, в свою очередь, получили ее от приезжих политруков: «Ликвидировали». «Польскую Компартию, — объяснили советские политруки, — разведали шпионаж и троцкизм. Так что в те годы, когда вычищали крупную нечисть, вычистили и мелких, виленских, парнишек». Ликвидировали! Больше я с Фейгой не ссорюсь.

Залман Пресс задирает голову, закусывает губы и принимается чесать подбородок. Он скребет его так сильно, словно хочет выскрести волосы из своей подстриженной бороды.

— Видишь ли, моего Мотеле жалче, чем Юдку. Юдка по ночам ходил с ведром краски и малевал лозунги на стенах: «Руки прочь от Советского Союза!» По его словам выходило, что Польша хочет затеять войну из-за Белоруссии и Восточной Украины. А мой Мотеле никогда не вмешивался в дела Белоруссии и Украины. Мотеле всегда говорил, что единственное средство от всех бед — ходить в танц-класс. И теперь его накрыла тьма египетская. Девушкам разонравились буржуазные танцы и мелкобуржуазные танцоры. Танцы они танцуют теперь только народные и только с красными командирами. Так что мой Мотеле остался без партнерш, как я без песенок. Теперь он может танцевать разве что со своей мамочкой. Но у нее подагра и ломота во всех костях. По причине такого расстройтва Мотеле все время дразнит Айзикла. Ты же знаешь, Айзикл имеет обыкновение собирать в ящички прогоревшие курительные трубки, брошенные детские игрушки и другое старье. Так вот, Мотеле обзывает его частником, кулаком и говорит, что не сегодня-завтра советская власть, осмотревшись, конфискует капитал Айзикла.

В парке уже сумеречно, но небо еще светлое. Мне кажется, что между деревьями кто-то ходит босыми ногами по грудам сырых листьев, он крадется ко мне и вот-вот схватит меня за шиворот своими холодными скользкими пальцами... Я вздрагиваю; это ветер, думаю я, и встаю, чтобы идти.

— Вы не пойдете в синагогу? — прощаюсь я с Залманом. — Когда мы сидели тут в прошлый раз, вы потом пошли в молельню могильщиков.

— В молельне могильщиков тоже не то, что было прежде, — печально говорит он, — обыватели ходят мрачные. Даже побирушки у печи, всегда ругавшие обывателей, теперь утратили весь свой запал гнева. Если у лавочников не будет для них милостыни, они умрут с голоду. Для Советов бедняки, которые не могут работать, — мусор.

Когда я ухожу, он снова окликает меня:

— Твоя мама вышла замуж?

— Да, вышла замуж.

— Я знаю, за какого-то волколака и молчуна. Твоя мама тоже сделала хорошенький выбор! Да, я вот что хотел спросить... — Он ерзает на лавке, приподнимается, снова садится, и я вижу, что он окликнул меня не для того, чтобы спросить о маме, а для чего-то другого. — Как ты думаешь, она правильно поступила, повесившись? Она правильно поступила? Ты же знаешь, о ком я говорю! — злобно кричит Залман, словно подозревая меня в том, что я притворяюсь непонимающим, что я делаю вид, будто не помню историю его любви к светловолосой женщине, жившей у них на квартире. — Она была из семьи помещиков, бежавших из России двадцать лет назад, и она вышла замуж за коротышку-бухгалтера, потому что ее родители обеднели. Она очень правильно поступила, повесившись. Сейчас ей пришлось бы плохо, ей не помогло бы даже то, что она любила Лермонтова. Ну, иди, иди... погоди, я тоже пойду. Я иду в синагогу, и если хочешь, пойдем со мной. Тогда я пошел в синагогу один, но сегодня мы можем сделать это вместе. У печки среди нищих в молельне могильщиков простительно быть печальным.

НА СТАРОСТИ ЛЕТ

Реб Рефозл стоит на ступенях лестницы, ведущей в его подвальчик, и смотрит на Широкую улицу. Он молчит отдельно, а мама отдельно. Второй брак не первый, думает она. Он вырастил детей с другой женой, у меня сын от другого мужа. Вот и получаются две чужие птицы в одном гнезде. Мама, ссутулившись, сидит на своей скамеечке в глубине подвала. Немая покорность смотрит из ее глаз, в голове у нее шум и звон, словно там кружат снег и ветер, — в ее мозгу дробятся мысли.

Годами соседи толковали между собой: начнет он войну или все-таки не начнет? И вот он ее начал однажды в пятницу утром, когда она открыла подвальчик и реб Рефозл встал на ступенях — вот как сейчас, — чтобы смотреть на улицу. Она увидела, что мимо бегут перепуганные насмерть люди, ненадолго останавливаются, говорят между собой и бегут дальше. Она больше не могла выносить молчания Рефозла и спросила его, что происходит? И почему он всегда стоит безмолвно, как в молитве восемнадцати благословений, даже когда не молится?

Он вынул руки из рукавов и сказал, что началась война.

Для того чтобы реб Рефозл вынул руки из рукавов и сказал слово, должна была начаться война.

После этого она видела, как женщина рвала волосы на голове и кричала посреди улицы, что ее сын отправляется на фронт. Его отец так же ушел на предыдущую войну и не вернулся. «Я не переживу второй войны!» — кричала эта еврейка.

Только тогда мама по-настоящему поняла, что происходит. Она поднялась, оставила Рефозла в подвальчике, а сама отправилась на кладбище молить умершего за своего сына. Она растянулась во весь рост на могиле первого мужа и кричала, чтобы он защитил их мальчика. Его дети от первой жены не служили в армии, так пусть похлопочет на небесах, чтобы их общий сын не служил тоже. Ее мытарства должны быть зачтены ей как заслуги, уверяла она. Пусть будут свидетелями ворота, в которых она торговала годами, что каждую пятницу вечером, как только синагогальный служка трижды стучал деревянным молотком, она бросала свой заработок и шла благословлять субботние свечи.

Всевышний услышал ее молитвы — ее сын не успел пойти в армию. Не прошло и двух недель, как война закончилась. Мама прекрасно знала, что особенно радоваться нечему. В других странах война только началась, и евреи там тяжело страдают. Но в Вильну вошли русские, тепло одетые, не босые, как двадцать лет назад. Она считала, что, раз они тепло одеты и разъезжают по городу, вооруженные до зубов,

можно успокоиться. Она горько ошибалась. Начался голод, выстроились длинные очереди за хлебом, и еврейские торговцы ходили по городу так, словно переживали непреходящее солнечное затмение.

Неделю спустя Рефозл снова заговорил. Он сказал, что русские уходят и передают Вильну литовцам.

Одно то, что Рефозл вынул руки из рукавов и что-то сказал, означало, что дело это необычное. И все-таки мама не могла этого постичь: еще вчера Вильна принадлежала Минску^[3], а сегодня Вильна уже принадлежит Ковне^[4]. Впрочем, главное, чтобы не было войны, так думала мама, но покоя на старости лет ей было не суждено.

Единственный сын Моисея, Арончик, и к воротам-то ее редко приходил, когда она еще стояла там с корзинами, а здесь, в этом подвальчике, он и подавно не появлялся. С ее сыном, своим родным дядей, Арончик в последние годы тоже не виделся. Но его мать Тайбл рассказала маме, что он расстался со своими бывшими товарищами. Он работает у дяди Исаака в аптеке, теперь он хороший муж своей жене Юдес и преданный отец своему маленькому сыну Мойшеле.

Несколько дней назад Тайбл пришла к маме и сказала, что Арончик с Юдес хотят уехать с русскими в Белосток и настаивают на том, чтобы она, Тайбл, ехала вместе с ними. Тайбл заламывала руки и плакала, говоря, что, сколько она ни упрашивает Арончика не уезжать, он не хочет ее слушать. Он даже не боится своих бывших товарищей, которые стали ему кровными врагами.

— Почему его бывшие товарищи стали ему кровными врагами? — спросила мама у Тайбл, в глубине души благодаря Г-спода за то, что ее собственный сын и невестка не хотят никуда уезжать.

Тайбл ответила, что товарищи злы на Арончика, потому что когда-то он сказал, что с китайцами поступают несправедливо, не делая у них на родине то же, что в России. А его товарищи считали, что время китайцев еще не пришло.

Мама спросила: почему Арончик беспокоился о китайцах, он же виленский?

Тайбл ответила, что ему действительно незачем было лезть в это дело, но ведь она мать и она понимает, что произошло: Арончик хотел стать обывателем, таким же, как все прочие, но ему было неудобно перед товарищами просто так оставить «дело», как они это называют. Поэтому он им и сказал, что не согласен с их позицией относительно китайцев. Они ему это до сих пор напоминают и говорят, что он «Лейбеле».

Мама спросила: что значит «Лейбеле»?

Тайбл разъяснила, что Лейбеле — это переименованное имя того, кто был большим начальником у большевиков, а потом его прогнали из России, потому что он сказал, что во всем мире надо сделать то же, что сделали в Минске^[5]. Быть в России «Лейбеле» — это почище, чем быть разбойником.

Мама хотела спросить: почему этому переименованному Лейбеле было так важно ввести повсюду те же порядки, что и в России? Пока не видно, чтобы оттуда привалило великое счастье. Но она промолчала, чтобы не сыпать соль на раны Тайбл.

По Широкой улице прогуливаются два лавочника, Шая и Хацкель. На их Мясницкой улице около пекарен стоят длинные очереди хозяек. У Шая и Хацкеля есть еще немного товара, но они припрятали его до лучших времен. А чтобы покупательницы не разорвали их на куски, они даже не показываются рядом со своими лавками. Они гуляют по городу, слушают новости и останавливаются около подвальчика реб Рефозла.

Мама искренне радуется приходу бывших соседей. Она встает и просит их зайти в лавку.

— Нас можно поздравить, мы будем свободно торговать и дальше, — подмигивает Шая реб Рефозлу, намекая на то, что русские уходят.

— Угу, — отвечает реб Рефозл.

— Русские держат слово, — говорит, сияя, Шая. — Они отдали Вильну литовцам еще двадцать лет назад, но поляки захватили ее.

— Вы радуетесь тому, что станете литовцем, или тому, что русские держат слово? — спрашивает Хацкель.

— И тому и другому, — отвечает принаряженный, будто в честь праздника, Шая. — Мы должны сказать благословение спасшегося от верной смерти, потому что русские спасли нас от немца и потому что они держат слово. Как вы думаете, реб Рефоэл?

Реб Рефоэл пожимает плечами, он не знает, что сказать.

— Они пока не уходят, — ворчит Хацкель. — Говорят, что они расставят свои самолеты по всей Литве.

— Тогда мы в третий раз должны сказать благословение спасшегося от верной смерти! — Шая тает от удовольствия. — Они будут беречь Литву, чтобы в нее не вошел немец.

— Ладно, Польша и есть Польша, все-таки большое государство, — говорит Хацкель, — но Литва размером с благословение на росу и дождь в малюсеньком молитвеннике. Говорят, что там даже скорого поезда нет, потому что, если он разгонится вовсю, то, чего доброго, уедет в Латвию. Не так ли, реб Рефоэл?

Реб Рефоэл улыбается, словно говоря: «Что мне за дело, какого размера Литва? Мне достаточно этой ступеньки, ведущей в мой подвальчик, чтобы с нее смотреть на улицу».

Увидев, что даже такой упрямый молчун поддерживает его, Шая начинает насмехаться над Хацкелем:

— А что вам было с того, что Польша большое государство, когда любой сопляк-иноверец бросал вам вслед камни. Вы об этом уже забыли?

— Я ничего не забыл, — обижается Хацкель. — Это вы забыли, что, когда двадцать лет назад тут были литовцы, они ходили в деревянных башмаках. Вы, реб Шая, всегда поддерживаете сильного. Позавчера поляков, вчера русских, а сегодня литовцев.

— А вы, реб Хацкель, напротив, имеете обыкновение поддерживать тех, кто вот-вот умрет, вас так и тянет к покойникам. Да, да! Я вижу вас насквозь! — Шая тычет пальцем под нос Хацкелю. — Пусть у вас не болит голова за литовцев. Что было, то было. А теперь они продают за границу по миллиону свиней в год. Дал бы мне Б-г уехать в Ковну двадцать лет назад вместе с моим кузеном, я бы тут так не мучился. Вы еще увидите, какая радость и веселье тут скоро настанут, когда встретятся родственники. У вас же есть родственники в Литве, реб Рефоэл?

— Угу.

— А как дела у ваших замужних дочерей? — спрашивает реб Рефоэла Шая. — Они, то есть ваши дочери, здоровы?

— Угу.

Шая чувствует, что вот-вот взорвется. С таким же успехом он мог бы говорить с камнем — этот волколак даже рта не хочет раскрыть, хоть режь его. Несмотря на это, Шая делает еще одну попытку:

— А как дела у ваших зятьев? Они не пошли на войну, ваши зятья?

Реб Рефоэл отрицательно качает головой.

Таким образом, чего-то Шае все же удалось добиться, хотя бы отрицательного покачивания головой, но ему этого мало. Ничего, если даже валаамова ослица заговорила, то этот молчаливый еврей и подавно может что-нибудь сказать.

— А как дела у ваших внуков? У внуков как дела?

— Угу.

Тут Шая столбенеет. Он не понимает, что это значит: здоровы ли любезные внуки реб Рефоэла или они страдают от тяжелых болезней? И Шая кричит реб Рефоэлу прямо в ухо, словно тот глухой:

— Не напрасно люди считают, что, когда поговоришь, становится легче! Доброго дня вам, Веля.

Оба лавочника уходят с убежденностью, что жить в одном доме с реб Рефоэлом — все равно что сидеть в одной камере с лесным разбойником.

Мама смущена тем, что Рефоэл был так недружелюбен с ее бывшими соседями. Даже когда к ним в дом приходит ее сын, Рефоэл стоит посреди комнаты лицом к двери и молчит. Кажется, будто он хочет уйти или ждет, когда уйдет ее сын. А когда сын приходит со своей женой, Рефоэл стоит аж у самого порога и выглядывает в окошко на улицу, словно его гонят из собственного дома. Поэтому ее сын и невестка у них в доме ничего не берут в рот, хотя она не раз им говорила, что она и сама зарабатывает и может себе позволить угостить своих детей.

Над подвальчиком склоняются Тайбл и Юдес. Мама видит, что у них перепуганные лица и Юдес ведет за руку Мойшеле, который стал уже большим мальчиком с парой черных, как уголь, глаз.

Тайбл и Юдес, задыхаясь, просят ее зайти с ними в дом. Мама понимает, что они боятся разговаривать на улице. Она рада тому, что Рефоэла не будет при этом разговоре и он не прогонит ее родных своим молчанием. Она следует за ними, согнувшись, как старая бабка, в три погибели, она уже не та Веля, что долгие годы стояла в своих воротах на жаре и холоде и бегала по утрам на рынки.

Войдя в холодную комнату с низким потолком, Юдес начинает рыдать. Она плачет так сильно, что ее сын Мойшеле тоже принимается всхлипывать.

Арестовали Арончика.

Мама оглядывается, стены и потолок пляшут у нее перед глазами. Она чувствует, как в голове у нее что-то крутится, и, чтобы не упасть, хватается обеими руками за стол.

Тайбл, мать Арончика, которая и раньше говорила с трудом, теперь словно застыла от горя и страха, не в силах выговорить ни слова. Юдес плачет еще громче.

— Когда его арестовывали поляки, он шел с гордо поднятой головой, но на этот раз у него на глазах были слезы, потому что на него донесли его же собственные товарищи из-за китайского вопроса... Его бывшие товарищи хотят очиститься и возвыситься за его счет. Но это им не поможет, — кричит Юдес с дикой яростью, — они виноваты перед партией куда больше, чем он!

Мама чувствует, что не может пошевелиться. Все ее тело окаменело, но звон и верчение в голове прекратились, словно весь мир уже был погребен под глубоким снегом.

Комната наполняется морозной немотой. Мойшеле жметя к своей матери, Юдес, которая хрипло говорит, смеясь вместо того, чтобы плакать:

— А мы уже все распродали и были готовы уезжать вместе с русскими.

СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ

Неожиданно выйдя из Вильны, русские так же неожиданно вернулись в нее едва ли не через год и объявили, что огненные Вильна будет столицей советской Литвы. Они пробыли в городе половину лета, осень, зиму, и в честь Первого мая новой весной виленские улицы запылали красными флагами. Флаги реяли над Вильной день и ночь. Красноармейцы маршировали с песней:

Áíëë çáàò ðà áíéí à, áíëë çáàò ðà á í íòíä,

Áíëë - áðí áý ñééà í ááýíí àò,

Éàé í áéí - áéí áéé, ááíí ñáàò ñééé í áðíä

Çà ñáí áí áí óð ðí áéí ó áíò áí àò ó.

Молодежь, шагавшая вместе с красноармейцами, отвечала криками «Ура!».[6]

— Да здравствует Красная Армия! Враг не посмеет забрать ни пяди советской земли!

Но в городе шушукались, что, как передает лондонское радио, немец собирает на советской границе большие силы и в один прекрасный день нападет на Россию.

Однажды воскресным утром, двадцать второго июня, в самом начале лета я был дома один. Фрума-Либча работала в больнице. Я смотрел в окно и видел, как дремлют на солнце далекие желтые песчаные горы, Крестовая гора. Высокие здания слепили своей белизной, крыши искрились серебром, макушки церковей блестели золотыми крестами, и было тихо-тихо и спокойно, как в только что сотворенном мире.

Лишь самолеты в то утро летали выше, чем обычно. Почему они летают так высоко? — спрашивал я себя и чувствовал, как у меня сохнут губы. Маневры, успокаивал я себя, русские проводят маневры. Я хотел настроить радио, но руки у меня тряслись, и я сам себе крикнул: «Не хочу никаких новостей!» Я был голоден и хотел спуститься, чтобы купить хлеба. Но я снова стал кричать себе, что нисколько не голоден. Я отвернулся от окна, не желая больше смотреть на улицу.

Вдруг я услышал стальной лязг. В мои уши врезался какой-то свист. Где-то что-то гроыхнуло, и задрезжали оконные стекла. Взрыв парализовал мое тело, у меня отнялся язык. Через минуту как резаные заорали фабричные сирены. Где-то снова прогремел взрыв, стекла задрезжали еще сильнее, и я пришел в себя.

Война.

...Я не убегу! Русские не отступят, а если и отступят, я все равно не убегу, не оставлю маму. Я не стану беженцем, который клянет тот день, когда он покинул свой дом, как это делают беженцы из Польши. Русские не дадут бежать. Они будут стрелять, чтобы создать панику, чтобы помешать продвижению войск по дорогам. И хорошо, что так! Хочу побраться! Сегодня такой же день, как всегда.

И я побрился. Я стоял перед зеркалом и мурлыкал под нос какой-то мотивчик, старательно избегая смотреть на медное сияние, бегавшее по потолку и полу комнаты. Я смотрел на солнечные струны, игравшие на стенах, и шкаф красного дерева, полный книг. Теперь я спокоен, сказал я себе самому. Теперь я побрился и могу спуститься на улицу купить хлеба.

На улице я увидел, что у многих домов стоят большие грузовики и советские женщины в ворсистых беретах поспешно выносят тюки одежды, а шоферы тащат табуретки, столы, комоды и сваливают их в машины. Хозяева квартир, в которых были размещены красные командиры с женами, вдруг ощутили недоверие, отчужденность и равнодушие советских граждан по отношению к ним, виленским старожилам. Евреи собирались группками и взволнованно говорили между собой, отбросив страх.

— Почему они бегут? Они ведь говорили, что красноармейцы никогда не отступают! — громко, в голос кричал кто-то.

— Ломаная табуретка им важнее, чем спасение живых людей! Людей у них достаточно, а мебели нет! — кричал другой еврей еще громче.

— Не может быть, чтобы немец убивал всех евреев, — рассуждал третий. — В первую войну немец торговал с евреями.

— На дорогах немец расстреливает нас из пулеметов, а крестьяне убивают топором, — рыдал четвертый.

— Я не боюсь бомб, я не боюсь крестьянина с топором, я не боюсь немца, — сказал я.

А через день, когда русская армия начала отступать из Литвы, я с рюкзаком за плечами и маленьким Танахом[7] в кармане бежал вместе с Фрумой-Либчей.

Мы побежали к маме попрощаться. Улицы кишели людьми, покидавшими город, торопившимися во все стороны. Они бежали в одиночку, парами, с маленькими детьми на руках и баулами на спинах. На улицах было тихо, так чудовищно тихо, словно все люди превратились в ночные тени на стенах сумрачной комнаты, подсвеченной извне кроваво-красным светом.

Дома у мамы, в квартире реб Рефозла, собрались все соседи по двору. Стены там были толстые, окна зарешеченные, потолок низкий, мощный. Вот соседи и выбрали эту квартиру в качестве бомбоубежища. Они сидели на табуретках, на диване, на пустых ящиках из-под фруктов, сидели и молчали в отчаянии, как родные, собравшиеся перед похоронами там, где шьют саван для умершего. Мама, завернувшись в свой платок, сидела за столом, как посторонняя, и, когда мы с Фрумой-Либчей вошли, ее блуждающие глаза нас не узнали. Реб Рефозл, как всегда, стоял у окна и смотрел на улицу, словно и не было никакой войны. Я не мог выдать ни слова, с мамой говорила Фрума-Либча. Она сказала, что мы бежим из города, что поезда от вокзала больше не ходят и нам придется спасаться пешком. Мама медленно поднялась, долго шевелила губами, как немая, и вдруг бросилась мне на шею с плачем:

— Я иду с вами!

Рядом с нами вырос реб Рефозл. Он вытащил руки из рукавов и прохрипел так, словно смеялся и плакал одновременно:

— Пешком?

Он сказал маме только одно это слово. И мама сразу же снова села на свою табуретку, как приговоренная. Я обнял ее, прощаясь. Она вырвалась из моих рук и показала пальцем на своего мужа:

— Прощайся сначала с реб Рефозлом. — И ее лицо стало строгим, как в те времена, когда я был мальчишкой и она учила меня, как подобает вести себя еврею.

Я попрощался с реб Рефозлом, с мамой, попрощался наскоро и стремительно вышел во двор. Мама побежала за мной по двору и уже в воротах обняла мою голову своими руками:

— Дитя мое, не забывай еврейства, соблюдай субботу!

И она вытолкала меня в калитку, Фрума-Либча последовала за мной.

За городом Фрума-Либча начала отставать. Советские грузовики, набитые мебелью и командиршами, пролетали мимо, как черти. Напрасно толпы пешеходов пытались остановить эти машины, плакали, кричали и падали на колени. Грузовики объезжали их и мчались мимо. Беженцы стали говорить, что немец со своими моторизованными подразделениями нагонит и перестреляет нас. На дороге нам верная смерть, но, если мы вернемся в Вильну, мы, возможно, останемся в живых. Высокая золотая рожь ходила как морские волны. Шумели окрестные леса. Набжно раскачивались покрытые листьями ветви, и казалось,



они шепчут: «К чему такая паника? Ваш страх напрасен»... Беженцы потянулись назад в Вильну. Они подбадривали друг друга и радовались тому, что возвращаются домой не одни.

— Мы еще успеем вернуться в город до того, как в него войдет немец!

Но я рвался прочь и тащил за собой Фруму-Либчу, хотя она плакала и жаловалась, что у нее отекли ноги; наконец мы добрались до деревушки Рекойн, в которой несколько лет назад, сразу же после свадьбы, жили на даче в летние месяцы. Мы шли по тем же тропкам, где когда-то гуляли, мы узнали пень спиленного дерева, на который мы садились отдохнуть, и среди деревьев нам уютно мигнула давно знакомая хата с соломенной крышей. Мы свернули туда на минутку, только на минутку — выпить глоток воды и дать передохнуть ногам Фрумы-Либчи.

Около хаты стоял наш прежний хозяин, босой и посвежевший, словно только что после сна. Крестьянин открыл рот и потрясенно смотрел на нас. Он пригласил нас в дом, дал молока и уговорил остаться у него. Крестьянка жалела нас, терла глаза и говорила, что, как бы человеку ни было плохо дома, когда он покидает его и становится скитальцем, он чувствует себя еще хуже. Мы, я и Фрума-Либча, вышли на улицу обдумать положение. И улица снова поманила, снова обманула нас... Дул ветерок и остужал наши лихорадочные мысли. Густые кроны деревьев ходили волнами, полные колосья качались на ветру, и так же, волнами на ветру, развевались волосы Фрумы-Либчи. Мой взгляд блуждал по окрестным полям и лесам. Я мечтал о какой-нибудь лесной избушке, в которой мы могли бы переждать войну. О, как счастливы мы были бы, найдя такую пустую избушку! Мы бы питались

каштанами, травами, корнями, лишь бы никто не нашел наше потаенное убежище. Да пусть это даже будет большое дупло в стволе дерева. Пусть яма, дно которой устлано гниющими листьями. Лишь бы жить!

Фрума-Либча пробудила меня от этой мечты. Она решила заночевать у крестьянина, а наутро вернуться к маме.

— Женщин и детей он не тронет, — говорила она, — но тебе оставаться опасно. Ты иди, иди!

И я ушел, и как только я ушел, упала ночь, словно я попал в подземную пещеру. Я шел по лесной дороге и думал, что вот сейчас на меня прыгнет дикий зверь, разбойник, меня догонит немец, — все равно кто, но я не дойду, наверняка не дойду.

— Кто идет? — услышал я крик, и не понял, кто это кричит: я кому-то, кто-то мне или я себе самому.

Рядом с грузовиком стояли красноармейцы с зажженными фонариками и винтовками в руках, они ждали, когда подъедут советские машины и дадут им бензина. Они спросили меня, кто я такой и куда иду. Когда я ответил, что бегу от немца, один из них жизнерадостно пропел:

— Широка страна моя родная... Советский Союз велик, в нем хватит места для всех!

Больше они на меня не смотрели. Они подавленно молчали, измученно сопели, забрызганные грязью с ног до головы, и у меня мелькнула мысль, что они бежали из своих разбитых частей без приказа к отступлению. Я дал им закурить, и они пообещали взять меня с собой. Мы дождались запоздалого грузовика, во весь дух мчавшегося из Вильны. Солдаты встали поперек дороги и все, как один, навели винтовки на водителя:

— Давай бензин!

Шофер вылез из кабины, дал пару литров бензина и у-ехал. Скоро подъехал второй автомобиль, за ним — третий, наконец бак нашей машины наполнился. Один из солдат сказал мне:

— Полезай наверх!

Я стоял, повернувшись лицом туда, откуда пришел. Мне показалось, что, если бы не было так темно, я мог бы еще разглядеть Фруму-Либчу у околицы деревушки, в которой я ее оставил. Ведь дотуда не больше версты или двух. Ведь еще не прошло и часу с тех пор, как мы расстались. Я скажу это солдатам, попрошу их, чтобы они сжалились и подождали...

Солдаты уже стояли в кузове грузовика. Один из них, шофер, сел в кабину, двое красноармейцев с пулеметами уселись рядом с ним, и двигатель заработал. Я понял, что они не будут ждать ни минуты. Немцы вот-вот нагонят нас. Я едва успел запрыгнуть в машину в тот миг, когда грузовик рванулся с места и плюхнулся в темноту.

На меня напало какое-то легкомысленное спокойствие. Я стоял, зажатый между солдатами, включенный в их тесноту, и чувствовал себя одним из них, хотя и без шинели с винтовкой. Огоньки папирос тлели в темноте, волосатые рты дымились, все молчали. Лишь иногда кто-нибудь с проклятием сплевывал горькое послевкусие махорки. Из кабины водителя высунулась голова и велела погасить папиросы — с вражеских самолетов могут заметить огоньки.

— Наплевать! — отвечали солдаты и продолжали курить.

Грузовик гнал в гору и с горы с прикрытыми фарами, из которых, как сквозь сито, сочился красноватый свет. Леса шумели вдоль дороги, как большие черные ночные птицы с распростертыми крыльями. Здесь горела какая-то деревня, там — местечко. Огонь разрывал тьму, и в освещенном пространстве мелькали тени людей и деревьев, словно и деревья хотели укрыться от катастрофы. Мы пронеслись мимо железнодорожной станции с перевернутыми вагонами. Цистерны с бензином пылали, как стога сена, бензин брызгал из них, и мне казалось, что он брызжет и из моих щек. Ветер раздувал пламя, гнал дым и огненные языки нам в лицо, пропитывая нашу одежду запахом бензина и гари. И все-таки мы прорвались сквозь стену дыма и огня. За нами шла ночь и накрывала тьмой селения и распаханные свинцом нивы, пряча следы агонии и смерти.

[1] Современное литовское название — Шялюю.

[2] Юлиуш Словацкий (1809–1849) — великий польский поэт и драматург.

[3] То есть советской Белоруссии.

[4] Каунас (Ковне, Ковна) был временной столицей Литовской республики в межвоенный период, когда Вильнюс (Вильно, Вильна) находился под контролем Польши.

[5] Имеется в виду Лев Троцкий.

[6] Автор цитирует более распространенный народный вариант песни на слова В. Лебедева-Кумача.

[7] Ветхий Завет на древнееврейском языке.

АЛЛЕГРА ГУДМАН

СВАДЬБА ГЕНРИ МАРКОВИЦА

Ī adāgā nāi āvevīgā Āadī Ī dīdīgāē



Генри сидит за овальным столом на небольших грифоньих лапах — за него, если раздвинуть, можно усадить двенадцать человек, он это викторианское сокровище, отполированное до кончиков орлиных когтей, углядел на распродаже в Уонтадже. Стол большой, но именно о таком он мечтал — поэтому и купил. Просто нанял грузчиков, которые носят пианино. Квартира вся забита его находками, редчайшими книгами, старинными графинами. В отдельном шкафу сложены его карты — схемы небес. Он сам сделал эскиз и заказал столяру. Все любовно подобрано, цвета теплые, библиотечные — темно-зеленый и багровый.

— И какое у нее было лицо? — спрашивает Генри своего младшего брата Эда.

— Ошеломленное, — отвечает Эд. — Мама была совершенно ошарашена. Ну, мы все удивились. Подумать только — ты помолвлен! Маму это просто потрясло. Но мы очень обрадовались. — Эд смотрит на Генри. — Ты что, собственно, хотел узнать?

— Я лишь хотел узнать, как она выглядела, — отвечает Генри, нервно двигая карточки с именами по столу.

— Да?... — говорит Эд. — Что ж...

— Расскажи мне про свою работу. Как продвигается книга?

— Ты про антологию?

— Да нет, про твою «Историю арабских народов».

— Генри, это было пятнадцать лет назад! — с легкой досадой отвечает Эд. — И уже пятнадцать лет я к ней не притрагивался.

— Так долго? — говорит Генри. — Очень, очень жаль. А я как раз на днях о ней вспоминал. В Ашмолловском музее^[1] была выставка персидской миниатюры, и она привела мне на память твою книгу, твою концепцию искусства и политики — прежде всего искусства. Какая же это роскошь! В одной крохотной картинке сконцентрировано столько всего: и пейзаж, и воины с мечами, и водопад — ниточка,

ведущая к оазису. Каждая из них как драгоценный камень. Тебе непременно следует вернуться к этой теме — ведь можно ограничиться лишь искусством. Даже если сосредоточиться только на нем...

— Нет, я не искусствовед, — говорит Эд. — Да и не Альберт Гурани[2]. Просто делаю, что могу.

Генри смотрит на него и начинает нервничать.

— Как тебе они? — спрашивает он про карточки. — Адреса на приглашениях нам писал каллиграф. Печать, естественно, ужасная. Теперь мало кто умеет делать тиснение. Представляешь, все приглашения теперь делаются методом термопечати. Проведи пальцем по оборотной стороне — сразу почувствуешь разницу.

— М-да... — Эд смотрит на него, подперев голову рукой. Он почти всю ночь провел в самолете, и к Оксфорду в июне не привык — птицы, что начинают петь в половине пятого, пронзительно-голубое небо.

— Не хочешь ли кофе? — спрашивает Генри. — Или чаю? «Эрл Грей»? Черносмородиновый? Как прошел выпускной у Иегудит?

— Отлично, — отвечает Эд. — Прекрасно. Шел дождь. Вот, я привез фотографии. — Он показывает снимки дочери и всей семьи под зонтиками.

— Это не дождь, а ливень, — говорит Генри. — Бедняжка — она же вымокла до нитки. Ох эти зонтики. Б-же мой, а если во время приема пойдет дождь? Разумеется, мы сверились с альманахами[3] — понять, какова вероятность плохой погоды. Ой, Сара с пластиковым пакетом на голове!

Эд оглядывает комнату Генри, парчовые кресла, груды книг. Тома ин-кварти, в кожаных перелетах, с распухшими от сырости страницами, слегка потрепанные. Большую часть комнаты занимает слишком большой для этой комнаты темный стол, который здесь совсем не по размеру.

—А вот и братья! — восклицает Генри, взяв снимок, на котором двое старших детей Эда. — Какие огромные!

— Да уж — девятнадцать и двадцать один, — усмехается Эд.

— Правда? А я и забыл, что они такие взрослые. Кажется, только-только... Ты что, сердисься на меня?

— С чего мне на тебя сердиться? Это же все из-за смены времени, не видишь, что ли? Сажусь на самолет в Даллесе[4], прилетаю, а тут ты в той же самой квартирке, с теми же книжечками, креслами — со всеми своими штучками.

Генри краснеет до кончика носа.

— Ну, извини, — говорит Эд. — Я думал, ты хотя бы знаешь, кому из моих детей сколько лет.

— Я знал, — пытается возразить Генри. — Я раньше знал. Просто давно не следил за их жизнью.

— А нам за твоей приходится следить, — резко отвечает Эд. — Вот, подхватились и потащились через Атлантику — хоть ты оповестил нас всего за два месяца.

— Ты только не расстраивайся так, — говорит Генри.

— Я совершенно не расстраиваюсь. Просто пытаюсь объяснить, что нам было совсем не просто сюда приехать, да еще и маму привезти. У нас с Сарой очень плотное расписание. Я завален работой, обещал несколько статей, у меня в июле конференция, но бюджет наполовину урезали, потому что институт

едва сводит концы с концами. Занятия сейчас за меня ведут аспиранты. А Сара свою конференцию вообще пропускает.

— Ты уж извини, — говорит Генри.

— Да нечего тут извиняться, — говорит Эд. — Я просто хочу, чтобы ты понял. Мы не можем просто взять да и махнуть в Оксфорд...

— Понимаю, — говорит Генри. — И очень вам благодарен, Эдуард.

— Так что не надо со мной про бумагу разговаривать! — почти выкрикивает Эд.

— Про какую бумагу?

— На бумагу не жалуйся — больше я не о чем не прошу.

— Я говорил про тиснение, — отвечает Генри. — Думал, тебе будет интересно.

— Ну хорошо... Ладно, слушай... — Эд смотрит на старинные часы в футляре. На циферблате золотая луна на темно-синем фоне.

Генри смотрит из окна, как рвет, разбрызгивая гравий, с места арендованный «форд-фиеста». Они с братом никогда не были близки. Они изредка переписываются, но между ними всегда преграда: Эдуард не желает видеть его таким, какой он есть на самом деле. Он уничижительно отзывается о коллекциях Генри, о его страсти к искусству, редким книгам и рукописям. Эдуард презирает его — за то, что он уехал из Америки. Конечно, Эдуард и сам уже часть Америки, той, какой она стала. Эта Америка, где университеты растут, как грибы, — для Генри это перевернутая страница. Америка, где производство дипломированных специалистов поставлено на конвейер, где они сидят в обшарпанных аудиториях, чуть не упираясь подбородками в колени, в тусклом свете мигающих ламп, слушают лекции — будто смотрят кино. То, что им знакомо, они слушают, широко раскрыв глаза, а все остальное утекает вниз по проходам, собирается вместе с грязью и конфетными обертками у ног преподавателя. Он и сам преподавал некогда в Квинс-колледже, а потом в Нью-Йоркском университете. А выпускники! Видел он, как они в Принстоне толпятся у дверей кабинетов. Юные калибаны, алчущие похвалы. Они могут утром прикончить итальянское Возрождение, после обеда придушить сонет Донна, переломать ему все крылья, расколошматив их тупым орудием. Что до ученых постарше — они словно на поваров учатся, запросто могут приготовить Шекспира, подать его как жареного гуся, фаршированного политическими и сексуальными смыслами, разрезать, четвертовать его длиннющими ножами. Для Генри чтение всегда было занятием деликатным — к нему нужно относиться бережно, как к яйцу, из которого выдуваешь содержимое. Прокальываешь иголкой с двух сторон, и смысл — цельный, нетронутый — стекает в чашку. А теперь всё варят вкрутую, колотят по скорлупе — и готово. Всё в кучу: искусство, историю, социологию, политику, перемешивают, лепят рулет и плюхают на блюдо. Таковы нынче ученые, что сидят в научных журналах. Они объявили войну прекрасному, они отрицают Б-га и отрицают метафору. Они, как и Эдуард, отрицают все, во что верит Генри, то, для чего он, собственно, и живет: фактуру и мастерство. А Эдуард — он не просто частица этого. Он сам лепит эти дешевые поделки, которые выдают за гуманитарные науки. Умение, тонкость, глубина никому не нужны, везде царят общественные науки. Эдуард начинал как историк, специалист по Ближнему Востоку, а теперь всего-навсего политолог. Шестеренка в машине, которая существует грантами и телеинтервью.

Генри отказался от всего этого — от академических жерновов, от иллюзии, что наука может существовать в этих уродливых институтах, которые словно сходят с конвейера. А это лучшее, что может предложить Америка. Остальное настолько мерзко и порочно, что Генри даже думать об этом не может. Он окончил школу менеджмента и уехал, чтобы жить по-человечески: днем был администратором в «Лоре Эшли», вечером эксперт по искусству, среди башен и колоколов настоящего университета, с благородными старыми стенами, поросшими лишайником, увитыми сиренью и толстыми жилистыми ветвями роз. В полном молчании он проходит по университетским дворикам, и самое лучшее — последние недели сентября, когда туристы уже схлынули, а поздние цветы все цветут, высаженные в два-три ряда под переплетчатыми окнами, и еще — март, когда студенты еще не вернулись с каникул, когда на ивах распускаются первые светло-зеленые листочки: в эти последние недели сентября и в марте Оксфорд полностью принадлежит ему.

Но Эдуарду этого никогда не увидеть. Он полностью встроен в американский стиль жизни. Еда, дети, машины, реклама. Разве можно было рассчитывать, что Эдуард проникнется брачной церемонией? Генри шагает на кухню, опрыскивает африканскую фиалку. И считает до десяти — он не может позволить себе расстраиваться.

В номере-люкс гостиницы «Пасторский дом» шторы темно-зеленые. Эд задергивает их поплотнее и садится на кровать, рядом с женой.

— Где мама? — спрашивает он.

— Дальше по коридору. Принимает ванну. — Сара снова прикрывает глаза. — Как он? — спрашивает она.

— Как всегда.

— А она?

— Кто она?

— Невеста, Эд.

— Не знаю, наверное, нормально. Я ее не видел — она на работе.

Сара поворачивается и смотрит на него.

— О чем вы говорили?

— О нем, разумеется. И о его вещах.

— Ты спросил, во сколько нам приходиться?

— Нет. Вроде в восемь?

— Почему ты его не спросил?

Эд вздыхает.

— Потому что он меня поражает. Потому что я прихожу к нему в квартиру, а он по-прежнему играет в «Возвращение в Брайдсхед»^[5], вся эта парча, эти часы! Гнилые кожаные переплеты. Все его пекла^[6] восемнадцатого века.

— Ой, прекрати!

— А еще этот идиотский стол. Сара, я этого не выдержу. — Эд кладет на кровать ноутбук, расстегивает футляр.

— Плохо, что ты не можешь просто... — начинает Сара.

— По-нормальному с ним поговорить?

— Да нет, угомониться. Все-таки твой единственный брат женится.

— Так сказать... — Эд постукивает по клавиатуре — будто печатает рецензию, которую должен был написать месяц назад.

— Что ты имеешь в виду?

— Ты отлично знаешь что.

— Ну, давай, скажи это вслух, — говорит она. — Эд, ты к этому так относишься... Просто невероятно.

— Так все же очевидно, — восклицает он. — Ты и сама много лет так считала.

— А может, все не так, — отвечает Сара: она сама писательница и верит в перемены, тайны, откровения.

Последний раз они были в Оксфорде десять лет назад, когда Эд читал лекции в Уонтаджском центре — в оксфордском центре борьбы за мир на Ближнем Востоке. Генри пригласил их на ужин и все приготовил с жирными сливками. Детей тошнило, Эд, пытаясь поддержать беседу, аж позеленел, а Роза, мать Эда и Генри, выпила рюмочку ликера и заснула. Вот таким манером. После этого они встречались с Генри в Вашингтоне, и тогда настал его черед болеть — он с похоронным видом сидел за их столом, вместе с вопящими подростками. Еще он писал им письма. «Стены отливают золотом, — писал он, — а под вечер камень словно светится — так поблескивает последний луч солнца, отражаясь в реке, и так пронзительно последнее теплое дыхание дня, стены так хрупки, витражи в Корпусе Кристи[7] — как угли, что, догорая, переливаются голубыми огоньками». А Сара от имени всей семьи писала в ответ: «Бен в летнем лагере, а Эд, кажется, успеваешь подать заявку на грант». Переписку поддерживали они двое — никто, кроме них, в семье писем не писал. Это было странное сочетание. Лирические, хотя порой и путаные потоки, лившиеся из-под пера авторучки Генри, и краткие новости, записанные шариковой ручкой Сары. Эд от писем Генри закатывал глаза, дети, когда их слушали, стонали, но Сара некоторые сохранила. По правде говоря, они ей нравились. На семинарах ее отучили писать таким стилем, но в глубине души он ей нравился. Однажды, когда она ехала в Джорджтаун забирать Эда, Сара остановилась посмотреть, как играет последний луч света на стенах. Впрочем, было еще слишком светло.

— Я не готов к ужину на четыре часа кряду, — говорит ей Эд.

— Так он начинается в восемь?

— Я же тебе сказал, не знаю.

— А я сказала, позвони и спроси, — говорит Сара.

— Я хочу вздремнуть.

Эд снимает брюки, и тут раздается стук в дверь.

— Это твоя мама, — говорит Сара.

— Догадываюсь, — отвечает Эд и снова надевает брюки.

Роза возникает в дверях в непроницаемо-черных плотно прилегающих очках — ей недавно оперировали катаракту.

— Где Генри? — спрашивает она. Голос у нее на удивление сильный для восьмидесяти шести лет.

— Мы с ним ужинаем, — говорит Эд.

— Ты же собирался привезти его в гостиницу.

— У него сегодня много дел. Последние приготовления.

— И почему это мы приехали к последним приготовлениям? — вздыхает Роза.

— Я и так пропускаю неделю занятий, — говорит Эд. — Мам, мы же это обсуждали, помнишь? А одна ты лететь отказывалась.

— Я бы полетела, — сообщает Роза.

— Раньше ты говорила другое.

— Полетела бы, если бы знала, что буду видеться с Генри. Что смогу побыть с ним.

Эд смотрит на нее.

— Мы это обсуждали, и ты говорила совершенно другое.

— Но думала я именно так, — отвечает Роза. — Что ж это такое — встретиться с родственниками за три дня до свадьбы! А где невеста?

— Мы с ней увидимся за ужином, — говорит Сара.

Роза снимает темные очки, с треском складывает дужки.

— И что это будет за ужин? Нас еще даже не представили. Разве так делают? Свадьбу устраивают, чтобы побыть с родными. Чтобы встретиться с местной общиной. У вас была чудесная свадьба, — говорит она Саре и смотрит на нее так мечтательно, что Саре кажется, будто она снова весит пятьдесят пять килограммов. — Были все, кроме Фельдманов, Рихтеров, Натали — да покоится она с миром — и Яршеверов.

Оркестр был дивный, и танцевали так долго, что Солу, отцу Сары, пришлось доплатить еще за два часа. Сара с Эдом — его рука на ее талии — плыла по залу в пышном газовом платье. Она была такая тоненькая, да и Эд тоже, им было по двадцать два года — Эд старше ее всего на три месяца.

— Кроме них были все, — продолжает Роза, — и до сих пор не забыли. А эту свадьбу кто вспомнит?

— Он пригласил двести пятьдесят человек, — говорит Сара.

— А кого из них мы знаем? — бурчит Роза. — Кого? Никого.

— Я хочу вздремнуть, — говорит Эд.

Роза уходит к себе в комнату, Эд с Сарой ложатся, и тут звонит телефон. Эд понимает, что у него раскалывается голова.

— Алло! — снимает трубку Сара.

— Алло, это Роза. Напомни, как ее имя?

— Сьюзен Макфирсон.

— Это я знаю. Как пишется?

Сара произносит по буквам.

— Фамилия не еврейская, — говорит Роза.

— Мам, она не еврейка, — подает голос Эд. Он слышит голос Розы из трубки.

— Скажи Эду, — говорит Роза Саре по телефону, — что многие мужчины и женщины притворяются теми, кем не являются.

— По-моему, никто не притворяется, — подает голос Сара.

— Чудненко, — говорит Роза. — Помнишь, я рассказывала тебе про чету Уинстонов в круизе вокруг Аляски. На концерте Шопена я встретила пару по фамилии Уинстон. Посмотрела я на пожилого джентльмена. Уинстон? Ни в коем случае. Типичный Вайнштейн. «Вы откуда?» — «Из Тенафлая, штат Нью-Джерси». — «А до того где жили?» И он признается, что вообще-то он из Вены, только в этом. В антракте я обращаюсь к нему на своем хорошем Hochdeutsch[8]. Мы с детства прекрасно говорили по-немецки. Мы с ним и с миссис Уинстон начинаем по-дружески болтать. Начинается второе отделение, и пианист, совсем молоденький мальчик, барабанит Шопена — у меня от его игры голова стала раскалываться, потому что он не чувствовал музыку, совершенно ее не понимал. Так вот, я наклоняюсь к этому пожилому господину, который называет себя Уинстоном, и шепчу ему на идише: «Вос вейст а хазер фун лукшен?» Что свинья понимает в яичной лапше? А он кивает. Вайнштейн! Так вот я вывела на чистую воду его и его Hochdeutsch. Он отлично понимал идиш.

Эд выхватывает у Сары трубку.

— Мам, Сьюзен Макфирсон не знает идиша.

— И ты не знаешь, — напоминает ему Роза. — Я вот тебе расскажу...

— Она не притворяется, — говорит Эд.

— А я не только о ней думаю, — говорит Роза. — Есть еще и Генри.

— Как по-твоему, что она имела в виду? — спрашивает Эд, повесив трубку. — Что Генри притворяется?

Сара смотрит в потолок. Они лежат в кровати.

— Наверное, что он притворяется англичанином.

— Так он уже давно им притворяется, — говорит Эд. — По-моему, она удивляется, что после стольких лет он завел себе женщину.

— После скольких лет? Ты даже не представляешь себе, как он жил. Ты же практически не читал его писем.

— В письмах он ни о чем толком не рассказывал.

— Рассказывал! — возражает Сара. — Пусть он и писал про реки и мосты...

— А еще про ветер в ивах и распродажу антикварных книг в Файфилд-Мэнор. Думаю, это будет брак-дружба.

— Нет, не согласна, — говорит Сара. — Они поедут в Стратфорд, будут кататься на плоскодонке...

— Ага, так и вижу Генри в плоскодонке.

Генри сидит в своем кабинете в «Лоре Эшли» и звонит в «Анвин»[9] насчет шампанского. Для свадьбы он все закупал по-европейски, в маленьких специализированных магазинах по всему городу, и если бы мог, отказался бы от кейтеринга — это, по его мнению, стилистика супермаркетов. Например, булочки он заказал в «Викторианской булочной миссис Томсон», где сам всегда покупает хлеб. Ездит туда каждый день — просто потому что там хлеб самый лучший. У миссис Т. каменная печь с чугунной дверцей, на которой выбита надпись: «Бендик энд Петерсон, 1932», а под ней сноп пшеницы. Сколько раз он просил

разрешения посмотреть, как миссис Т. открывает дверцу и подцепляет на лопату буханки! Торт украшает мастер своего дела. Генри сам сделал эскиз. В шесть ярусов, цвета слоновой кости, с гроздьями сирени, сверху безе и сливочный крем. По краям ажурные оборки — словно засахаренное старинное кружево. Он так и не сказал Сьюзен, во сколько это обошлось.

— Свадебный торт бывает раз в жизни, — сказал он.

— Я не любительница сладкого, — сказала она, — но, видимо, какой-то ga^teau[10] подать надо.

Он был в шоке — поразило его не то, что Сьюзен не любит сладкого, а что их торт будут есть. Эта мысль ему в голову не приходила.

— Ну что ж, — говорит сотрудник «Анвин». — Не беспокойтесь. Это шампанское в магазине имеется, мы доставим бутылки на тележках.

— С заднего хода? — спрашивает Генри.

— С заднего, сэр.

Закончив разговор, он запирает свой кабинет, идет к своей помощнице Мэри.

— Где платье Сьюзен? — спрашивает он.

— Она вчера его забрала, — отвечает Мэри.

— Ах, да. Какой я рассеянный, — признается он. — Но это между нами. — И он спешит к машине.

Сьюзен раскладывает документы по папкам. Она сотрудник деканата в Мертон-колледже и всегда знает, где что лежит. На ней темно-зеленое платье и старинная шаль, седеющие волосы собраны в рыхлый пучок; она выключает в кабинете свет, закрывает дверь и идет к Генри. Они оба высокие, отлично дополняют друг друга. У Генри уши и нос торчат, а у Сьюзен лицо плоское, черты довольно тонкие. Генри перебит последние завитки волос, а Сьюзен идет спокойно, не суетится.

— Я спросил его про книгу, — рассказывает Генри, — а он ее совсем забросил. Хорошая была бы книга — он собирался писать об арабской философии и искусстве. Но он этим больше не занимается, его интересует политика. Сьюзен, как же печально видеть, во что он превратился.

— А может, ему так нравится, — замечает Сьюзен.

— Да вряд ли, — говорит Генри. — Как это может нравиться? Забросить все, чтобы выступать защитником Организации освобождения Палестины или Лиги арабских государств? А ведь там такая красота, такие исторические глубины. Но он предпочел продавать индulgенции на ТВ.

— Ну, может, все не так плохо? — говорит Сьюзен.

— Не надо было мне с ним об этом говорить, — вздыхает Генри, — но штука в том, что мы ругаемся по любому поводу. Вот сегодня мы будем вместе ужинать, я потрачу триста фунтов, а о чем нам говорить?

— В «Элизабет»? Можно поговорить о вине. Об одном только вине... К тому же там будут и остальные — Сара, например, — хочет подбодрить его она.

— И мама, — говорит Генри.

Он заказал в «Элизабет» отдельный кабинет наверху, это безумно дорого, но Генри не мог заставить себя готовить в такой исключительный день. Генри, когда готовит, стремится к совершенству, и

он бы извелся от волнения. В комнате с деревянными панелями полумрак, свечи в старинных канделябрах. Он открывает дверь, Сьюзен входит и впервые видит его родственников: в тусклом свете они выглядят бледными и слегка испуганными, моргают, всматриваясь, — как обитатели пещер. Эд вскакивает и жмет ей руку. Сара целует Генри в щеку.

— Здравствуйте, дорогая, — говорит Роза. — Генри, мы уж думали, ты никогда сюда не доберешься. Я была уверена, что это не тот ресторан, и боялась, что мы тебя так и не увидим.

— Мама, — говорит он, — это Сьюзен Макфирсон.

— Рада с вами познакомиться, — говорит Роза. — Скажите, как пишется ваша фамилия?

Когда подают террин, Сара берет беседу в свои руки.

— А где вы собираетесь жить? — спрашивает она Сьюзен и Генри.

— В квартире Генри, — отвечает Сьюзен, — пока не подберем что-то побольше. — У меня в квартире пока что останутся книги и...

— И у нас есть коттедж в Уонтадже, — говорит им Генри. — Завтра днем я вас туда свожу.

— За городом? — спрашивает Роза. — Я всегда мечтала о деревенском коттедже, — говорит она Сьюзен, — с самого детства, — чтобы была соломенная крыша и кругом росли розы. Я ведь выросла в Лондоне. Нас эвакуировали...

— Правда? — восклицает Сьюзен, но ей не дают договорить.

— Мама, — наклоняется к Розе Эд, — курицы без соуса у них нет.

— Ты же знаешь, мне вредно есть соусы, — говорит Роза. — Желудок не позволяет.

— Без соуса не подают, — говорит Генри.

— Поначалу все бывает без соуса, — говорит Роза.

— Съешьте рыбы, — предлагает Сара.

— Милая моя, а где ваши родственники? — спрашивает Роза у Сьюзен.

— Мои сестры приедут на свадьбу в субботу. Папа здесь, но он по вечерам не выходит.

— Вот как... — говорит Роза. — А кто проведет церемонию?

— Младший капеллан из колледжа. Нам удалось договориться, потому что я сотрудник.

Эд откидывается на спинку стула.

— Так он вам достался бесплатно? — спрашивает он.

— У вас будет священник? — спрашивает Роза.

— Очень либеральный, — говорит Сьюзен. — И очень юный. Он веган.

— Ты мне говорил про мирового судью, — обращается Роза к Генри. — Мне казалось, речь шла о мировом судье.

— Такой вариант тоже рассматривался, — говорит Генри.

— Когда мы думали о совсем скромной свадьбе, — поясняет Сьюзен.

— Но мне никто не сказал...

— Мама, мы обсуждали это в Вашингтоне! — восклицает Эд. — Мы обсуждали это в аэропорту. Я тебе десять раз рассказывал про церемонию.

Открывается дверь, официант вносит уставленный блюдами поднос. Пока он их обслуживает, они молчат. Сара робко ему улыбается. Когда он подходит к Розе, она вскидывает руки и говорит:

— Благодарю, мне не надо.

— Совсем не надо, мадам? — спрашивает официант.

— Мама, — шепчет Генри. Официант вопросительно смотрит на него. Генри жестом показывает, чтобы тот поставил тарелку на стол. Роза машет рукой.

— Поставьте лучше на буфет, — предлагает Сара. Все наблюдают за тем, как официант накрывает блюдо крышкой, бежит за подставкой, зажигает под ней огонь.

— Эд, я хочу домой, — говорит Роза, когда официант уходит.

— Мы останемся и закончим ужин, — твердо говорит Эд и начинает есть.

— Эд, — не унимается Роза, — вызови мне такси. Я хочу в Хитроу[11].

Сара судорожно глотает вино и, поперхнувшись, начинает кашлять. Сьюзен стучит по ее спине.

— Нет, так мы делать не будем, — говорит Эд Розе. — Мы не можем поменять билеты. Ты никуда не поедешь, и точка. Мама, с меня хватит. Мы проделали такой путь, и мы пройдем всю эту катавасию.

— Эд! — Сара многозначительно кашляет.

— Церемонию, — поправляет себя Эд.

Роза начинает плакать.

— Что бы сказал на это твой дорогой папочка? — восклицает она. — Разве я для того тебя растила, чтобы отдать в руки священника? Генри, скажи, что переменялось в твоей жизни, что довело тебя до такого?

Генри смотрит через стол на старинный буфет, где стоит нетронутое Розой блюдо. Действительно, что переменялось? Это был побег, о котором он мечтал всю жизнь, с тех пор как научился читать, с тех пор как в мечтах лазил по арабским пещерам, забирался на стены шотландских замков, с тех пор как читал в ванной оды Китса. Он загонял в память стихи поэтов-романтиков по дороге в школу; он всегда был рослым, а Эд — маленьким и слабым; он играл в баскетбол, носился по площадке, расставив острые локти. Генри рассказывал об этом Сьюзен. О том, как носил ботинки на шнурках и кожаный портфель, по которому от снега шли оранжевые пятна, и застежки на нем разболтались. Портфель был забит скандинавскими сагами, романами про короля Артура и, разумеется, учебниками, книгами на иврите. Он рассказывал Сьюзен, как они с Эдом таскались после обычной школы на занятия ивритом, как он сидел каждую неделю на уроках мистера Гурова и смотрел, как мистер Гуров с торчащими зубами объявляет: «Хайом нилмад биньян кал» («Сегодня мы будем учиться спрягать глагол кал»). Первое спряжение. Самое легкое. Каждую неделю, каждый год. Они переходили на следующие уровни, средний и даже продвинутый, но других спряжений так и не выучили. Девочки на задних партах — вот причина. Стройные, умевшие надувать пузыри жвачки, напоминавшие половозрелых авиньонских девиц[12]. Они никогда ничего не слушали и не давали классу продвинуться дальше. Как мистер Гуров мучился, как возмущался. Он был культурным человеком, европейцем и очень хотел, чтобы они выучили язык так, чтобы прочитать стихотворение Бялика[13] про лесное озеро. Девицы про озеро даже не знали. Они не слушали, когда мистер

Гуров рассказывал об этом классу. Генри знал и про озеро, и про стихотворение, но прочитать его, естественно, не мог. Потому что не знал шести остальных спряжений. И словарный запас у него был маленький. Он рассказывал Сьюзен, как его заставляли готовиться к бар мицве, как ему надо было заучивать наизусть текст на иврите и делать вид, что он его понимает. И как он утешился, сочиняя свою речь для бар мицвы. Ему достался отрывок о том, как Авраам пытался принести в жертву Исаака, и он несколько недель читал про человеческие жертвоприношения. Он прочитал книгу У. Робертсона Смита «Лекции по религии семитов», напечатал речь о древних жертвенных ритуалах — печатал с трудом, тридцать одну страницу на отцовской пишущей машинке. А потом раввин с ним встретился — проверить его речь, прочитал пару страниц, отложил текст в сторону и сказал, как обухом по голове ударил:

— А где ты благодаришь родных и друзей за то, что пришли? А тетюшек из Филадельфии? Почему ты не благодаришь мистера Гурова за то, что он тебя готовил и учил ивриту?

— Потому что никакому ивриту он меня не научил, — пробормотал Генри. Но, разумеется, они заставили его сделать все так, как хотели они.

Он рассказал Сьюзен, как сидел, окаменев, в синагоге, пока шла бесконечно нудная служба, как кантор пел почти не разжимая рта, как присутствующие гундосили в ответ. Как он встал и перечислил имена всех родственников, которые собрались там в столь важный для него день, рассказал он и о том, что все его исследования о человеческих жертвоприношениях, естественно, из речи были убраны. Летом у него случилась сенная лихорадка, он чихал, ходя по пыльным, душным комнатам с полированными столами и торшерами с чесучовыми абажурами, отделанными бахромой, парой кроватей с голубыми махровыми покрывалами, чересчур мягкими креслами, тяжелыми шторами, тяжелой пищей. Роза таскала его и Эда по магазинам, пыталась заставить Генри покупать пиджаки и ботинки не по размеру. В обувном магазине он становился на флюороскоп и смотрел на рентгеновское изображение своих ног. На зеленые линии костей. Книжки и музеи были частью другого мира.

К тому моменту, как он встретил Сьюзен, он не думал об этом уже многие годы. Он много лет назад покинул родной дом, много лет даже не вспоминал ни про что — ни про детство, ни про свои первые задумки бежать из этого города, не вспоминал про универмаги, синагогу, девиц, хлопающих пузыри из жвачки. Разговаривая со Сьюзен, он вспомнил, как впервые познакомился со Старым Светом, совершенно для него новым. Он рассказал ей, как обнаружил его на уроках немецкого и французского, которым учил его мистер Бирнбаум в Тилденской школе, как он научился читать Флобера и перебирать нанизанные одно за другим прилагательные. Как он открыл для себя прерафаэлитов и увидел репродукцию «Офелии» Милле — тело, плывущее вниз по ручью, волосы, переплетенные с цветами, как ему хотелось иметь эту картину, вернее, как хотелось вплыть по ручью в картину, раствориться в ее красках, отдаться мерцающему потоку. Тем временем Эд учился на уроках мистера Левинсона говорить по-испански, чтобы стать посланцем в одной из латиноамериканских стран, а потом крупным чиновником в Госдепе. Генри не вспоминал об этом много лет и, возможно, так быстро и влюбился, потому что стал рассказывать об этом Сьюзен. Они сидели с ним в «Четырех временах года», и он ловил себя на том, что говорит про мистера Гурова и обувные магазины, про коридоры Тилденской школы и речь на бар мицве. Все это он вываливал на нее, а она с умным видом кивала, не понимая вообще ничего. Его глубоко тронуло то, как заворуженно она слушает про его детство, про бесконечное множество ритуалов, про то, как ему бывало стыдно, как бывало оскорблено его чувство прекрасного — при виде, например, обоев в бордовый горошек, которыми был обклеен зал собраний в цоколе синагоги, зеркал и современной лагунной люстры, распластавшейся на потолке, как рука, скрюченная артритом. Рассказывал он и о своих надоедливых тетюшках. Она никогда ни о чем подобном и не слышала. Там, в ресторане, он облегчил душу, говорил, пока не были съедены до последней крошки клубничные пирожные, а она сидела и заворуженно смотрела ему в глаза. Осмелится ли он на подобное сравнение? Он чувствовал себя Отелло, рассказывавшем о своих заморских походах. Он бы никогда не произнес этого вслух — не стал бы выставлять себя на посмешище, но так оно и было: «Она меня за муки полюбила, а я ее за состраданье к ним» [14]. О некоторых аспектах его прошлого они не говорили вовсе, но это касалось той части его жизни, которую он почти никогда не обсуждал, даже сам с собой, — это была та часть жизни, которая со временем съезжилась, скукожилась, поскольку о ней не говорилось прямо. Со Сьюзен он говорил без конца. Он изливал свои истории ей в уши, наваливал в ее распахнутые ладони. Другой вид страсти у них со Сьюзен друг с другом не очень ассоциировался. Это не значит, что они никогда друг до друга не дотрагивались, просто оба больше любили разговоры, а Генри жаждал слушателя, алкал его. С самого первого ужина его захлестнула волна благодарности, нежности, облегчения. Он рассказал ей про все свое детство, вплоть до всяких буржуазных потуг, рассказал ей все.

— Я не пойду ни на какую свадьбу со священником, — говорит Роза Эду, и от ее голоса Генри вздрагивает, ее голос возвращает его к действительности — к ужину, который все длится.

— Мама, — говорит Генри, — прошу тебя, не расстраивайся так.

— Она устала, — успокаивает его Эд. — Мы совсем не спали в самолете. Она хотела вздремнуть днем, но...

— Почему это они шепчутся обо мне в третьем лице? — спрашивает Роза. — Я могу рассказать, что делала сегодня днем. Я написала семь открыток. И нисколько не устала, — сообщает она Эду. — Я расстроена, поскольку мне сначала говорили одно, потом другое, а я не люблю, когда мной манипулируют. Если так и было задумано со священником, вы должны были сказать мне с самого начала.

— Вот, — говорит Сара Розе, — попробуйте хоть немного курицы, она стоит бешеных денег. — Она ставит на стол тарелку Розы, элегантно движением снимает крышку.

— Не хочу я ее, — говорит Роза. — Я хочу домой.

— Это исключено, — отвечает Эд, который переживает за Генри, устроившего такой изысканный ужин с роскошными винами.

— Я могу вас отвезти, — предлагает, к удивлению Эда, Сьюзен. — Давайте я отвезу ее в гостиницу. Это всего-то десять минут. — Она достает ключи от машины.

Уже почти стемнело, Сьюзен везет Розу к «Пасторскому дому».

— Вы поймите, я обожаю все английское, — заявляет Роза. — Родные отправили меня в Лондон, как только началась мировая война. Как только еврейские общества в Англии получили такую возможность, родители тут же меня и отправили. Мне было семь лет, а в Вене совсем нечего было есть. Немного лучше, чем в Буковине. Моим приемным английским родителям приходилось носить меня на руках — такая я была слабенькая и изможденная. Но прошел месяц, и я расцвела! Мы пили чай, ходили в театр, играли на берегу моря с гувернанткой, у нее было сопрано, и она пела с балкона... — Она умолкает, пытается вспомнить. — Короче, у него это от меня, — говорит она.

— Что именно? — спрашивает Сьюзен.

— Тяга к Англии. Он любит Англию — это у него от меня. Я его так воспитала. Когда он был маленький, я покупала ему книжки. Про короля Артура, английскую поэзию. Эда Англия никогда не интересовала, а Генри я рассказывала про сельскую жизнь. Про зеленые луга и поля маков. Английскому я научилась в Англии, в детстве. Мои английские родители дали мне образование, я даже два раза в неделю занималась с учителем ивритом. Они об этом всегда помнили. Люди они были очень обеспеченные, каждый год нас увозили в коттедж у моря, и наша гувернантка выходила на балкон и пела: голос — ну точно флейта. Вот так она пела... — Она теряет мысль, потому что служащий гостиницы открывает дверцу и помогает ей выйти из машины.

Сьюзен уезжает, и Роза, оставшись в номере одна, принимает две таблетки перкодана и ложится. И тут вспоминает, что хотела сказать.

За день до свадьбы Сьюзен отпрашивается с работы, и у Генри наконец появляется возможность отвезти родственников в Уантадж, посмотреть коттедж. Приходится долго уговаривать Розу выйти из гостиницы, и она все твердит, что на свадьбу не пойдет. Лучше посидит в гостиничной столовой в одиночестве. Но, увидев коттедж Генри, она вздыхает. У него соломенная крыша и белые стены.

— Сад пока запущен, но мы планируем им заняться, — говорит Генри. — Правда, похоже на «Грачевник» Дэвида Копперфильда? Грачей, разумеется, никаких нет.

Солома обмотана колючей проволокой — чтобы птицы не растаскали.

Сьюзен отпирает дверь, все стоят в крохотной гостиной и смотрят на оловянные кружки на каминной полке, на китайский секретер Генри, на его персидские ковры.

— Просто кукольный домик! — бормочет Роза и усаживается на диванчик — она готова остаться здесь.

— Я чуть его не продала, — говорит Сьюзен. — С ним было столько хлопот. Перед встречей с Генри я даже выставила его на аукцион.

— Так как вы познакомились? — спрашивает Эд.

— А Генри не рассказывал? Нас познакомил Дик Френкель из Уантаджского центра. Он хотел предложить Генри купить коттедж.

Эд смотрит на Генри, представляет себе встречу за чаем в местном центре. Дик Френкель — основатель центра, занимается сбором средств, он же владелец усадьбы, которую получил благодаря тому, что основал центр борьбы за мир на Ближнем Востоке. Усадьба весьма заметная, на окраине академического Оксфорда. Коттедж Генри, думает Эд, тоже своего рода проект — только помельче масштабом. Да, Френкель мог бы познакомить Генри и Сьюзен на каком-нибудь из своих приемов в саду. Длинные столы в спускающемся террасами саду на задворках усадьбы. Специалисты по Дизраэли в белых рубашках с короткими рукавами, Генри в лимонного цвета льняном пиджаке с шелковым галстуком, под деревьями гул разговоров на иврите и оксфордском английском, а посреди лужайки Сьюзен в огромной соломенной шляпе и в пышной юбке — вовсе не в духе импрессионистов, а вполне себе реальная.

Генри уводит Сару наверх — посмотреть спальню.

— Головой не стукнись, — предупреждает он, когда они садятся в кресла под скатом крыши. — Я хотел поговорить с тобой о маме, — шепчет он. — Как по-твоему, она правда не пойдет завтра в церковь?

— Не знаю... — начинает Сара.

— Думаешь, она может так со мной поступить? — спрашивает Генри.

— Ты ее знаешь лучше, чем я, — говорит Сара. — Она способна практически на все.

— Тебе надо с ней поговорить.

Сара чуть насмешливо улыбается деверю.

— Мы, конечно, постараемся, но ты не должен дать ей испортить свадьбу. Ты же знал, что она устроит скандал. Она столько месяцев тренировалась.

— Столько лет, — уточняет Генри.

— Да не лет. Все дело в том, что она ошарашена. Она никак этого не ожидала. Да и никто из нас... Так расскажи мне, — Сара пододвигается к нему поближе, — как это случилось? Когда ты решил... ну, сделать предложение?

Генри приободрился.

— Я искал на рынке коттедж вроде этого, Дик дал мне номер телефона Сьюзен, и как-то в воскресенье мы сюда поехали; я увидел все это — в полном запустении — и сказал: «Ни за что», а она мне: «Может, зайдете ко мне на ланч без претензий?» Мы отправились к ней, говорили о книгах, об интерьерах. Она решила перетянуть мебель, и я тоже, а потом мы заговорили про коттедж, и я посоветовал ей его отремонтировать, а уж потом продать. Можно же было смету составить. Я сводил ее к нам в магазин, показал наши ткани. Она что-то начала покупать, а дальше мы уже все делали вместе.

— Да, вполне себе проект, — сказала Сара.

— О да, и еще — хорошее вложение. Мы собирались продать его одной паре из Лондона, решившей поселиться в уединенном месте. Но мы оба такие перфекционисты, мы неделями подыскивали дверные ручки нужного периода, занялись ремонтом плиты 1923 года...

— Генри! — зовет снизу Роза.

— А-ааа! — вопит он, потому что, встав, ударяется головой о скошенный потолок.

— Г-споди, что стряслось? — кричит Сьюзен и мчится наверх.

— Нет-нет, не трогай меня! — кричит Генри, сжимая руками голову. Он корчится от боли, стоит, побагровевший, посреди комнаты. — Не толпитесь вокруг меня, — требует он.

— Дай я посмотрю, — говорит Сьюзен.

— Ты просто льда принеси, — стонет он и опускается на одну из двух одинаковых белых кроватей.

— Я так и думала, что эти кресла великоваты для мансарды, — говорит Сьюзен, вернувшись со льдом. — Генри, какая кошмарная шишка! Что все завтра подумают? Приложи лед, придави его подушкой.

— Генри, — кричит снизу Роза, — что ты с собой сделал?

По дороге обратно в гостиницу Роза дремлет, а Эд внимательно слушает Би-би-си-3. Сара представляет себе, как Генри и Сьюзен раскладывают в коттедже образчики тканей на мебель. Думает она о том, что они так много себя вложили в этот дом, что теперь принадлежат ему и друг другу. Брак был единственным способом завершить этот проект, доделать этот сложный, тонкий интерьер — например, воспроизведенный на стенах кухни узор с виноградными лозами Уильяма Морриса[15]. Сара сонно думает о тех поэтах и обитателях Оксфорда, которые стремились ко все более и более Высокой церкви[16], возводили шпиль за шпилем, пока не стали католиками, а их церкви не превратились в соборы. Может, и Генри, решив жениться, проделал такой же путь? Он — воображает она — двигался от юношей к цветоводству, потом к садоводству и наконец — к коттеджу и жене. Ухаживал все более и более причудливо. Сара всегда думала, что Генри живет удивительно красиво, и немного расстроилась, когда узнала, что он женится. Она решила, что он сдастся на волю обыденности. Но Генри вовсе не сдался. Он нашел прибежище в изыске девятнадцатого века.

Когда в «Пасторском доме» звучит гонг к завтраку, Эд с Сарой быстро одеваются и идут к двери Розы.

— Роза, — сообщает Сара через дверь, — мы будем в столовой.

И они спускаются вниз, где для них приготовлены овсянка и тоненькие треугольные тосты. Они не ждут, когда Роза откроет дверь, у них разработан план военных действий.

Но Роза не присоединяется к ним за завтраком, не поджидает их, когда они возвращаются. Эд выбегает купить «Гардиан». Сара выкладывает на кровать отутюженный льняной костюм, прислушивается — не слышно ли в коридоре шагов Розы. Генри ждет их к одиннадцати — чтобы сфотографироваться. Они подробнейшим образом читают «Гардиан». Генри звонит дважды.

— Я так больше не выдержу! — взрывается в половине одиннадцатого Эд. Он забывает про план и колошматит в дверь Розы.

— Мама, выходи — тебе надо на свадьбу! — кричит он.

— Я никуда не иду, — отзывается Роза.

— Ты собираешься весь день проваляться в кровати? Ты для этого приехала в Англию?

— Я приехала не для того, чтобы меня тащили куда-то против моей воли. Не в том я возрасте!
— говорит Роза.

Эд врывается к себе.

— А я думала, на нее за такое поведение вообще никто не будет обращать внимания, — говорит Сара. Она заряжает фотоаппарат, засовывает запасные кассеты с пленкой в клапаны на ремне.

Эд снимает трубку, звонит Розе.

— Мама, мы уезжаем, — говорит он ласково. — Ты ведь не хочешь расстраивать Генри?

— Ты меня не шантажируй, — отрезает Роза. — Неужели ты не понимаешь: если кого и расстроили, так это меня?

Они ждут еще немного и отправляются на свадьбу. Когда они уходят, появляется служащий гостиницы: он катит тележку с накрытыми крышками блюдами, утренней газетой, кофейником и розой в вазочке. Останавливается он у двери Розы.

Генри стоит под шквалом органной музыки и смотрит в проход, по которому к нему идет Сьюзен. Она в своем тяжелом подвенечном платье ступает медленно и спокойно, подстраиваясь под шаг восьмидесятилетнего отца.

Эд нервно ерзает на скамье с высокой спинкой, оглядывает лица гостей Генри. Почти все из них евреи, догадывается он. Пока Сьюзен помогает отцу сесть, Сара разглядывает ее платье — камчатная ткань с узором, белое по белому, юбка колоколом, пышные рукава. В мерцающем свете витражей волосы Сьюзен отливают серебром. Эд крутится, пытается рассмотреть еврейскую общину Оксфорда — там и человек двадцать ученых из Израиля, с темноглазыми детишками, щебечущими на иврите, — им велют сидеть спокойно, и сидят они среди лилейно-белых прихожан. А Сара искренне радуется, глядя на Генри в серой визитке и на Сьюзен в белом. Генри словно оказался в сказке — во всяком случае, в продолжении сказки, он женится на волшебнице-крестной.

— Смотри, там Дик и Айрин Френкель, — шепчет Эд.

Генри замер рядом с Сьюзен. Над ними, высоко над ними — стрельчатое окно, а еще выше окно-розетка, парящее в воздухе как медальон. Для него сейчас существует только голос священника и зеленый полумрак церкви. Темные резные листья, блеск позолоты, звучная мелодия. Он все это видел и слышал, но никогда прежде не был причастен к этому. Он забывает обо всем остальном и не замечает, что его мать приехала, стоит в дверях, сует в кошелек сдачу от таксиста, щелкает замком сумочки.

— Заливное тает, — обеспокоенно сообщает Генри Сьюзен в шатре на территории Уантаджского центра. Сад Мертон-колледжа им для свадебного приема заполучить не удалось.

— Я уверена, его все равно съедят, — успокаивает его Сьюзен.

— Ты все-таки попроси, чтобы принесли побольше льда, — говорит Генри.

— Хорошо. — Сьюзен деловито уходит. Под платьем у нее пара туфель на низком каблуке.

День жаркий и душный. Гости пьют охлажденное шампанское ящиками. Генри суетится, проходя, целует мать. Струнный квартет мужественно играет, изнемогая от жары, Генри вздыхает: ему жаль, что так недолго они пробыли в прохладе церкви, и даже свадебный торт на солнце начинает подтаивать. Сьюзен бодро обмахивается веером, ставит в тени дуба пару садовых стульев — для своего отца и Розы.

— Ох, ну и жара, — говорит Дик Френкель, и Эд думает, что Дик совсем не изменился с тех пор, как Эд читал лекции здесь в летней школе и дети бесились на этой самой лужайке. — Но все равно, добро пожаловать, — говорит ему Дик. — Следующим летом непременно вызовем тебя на конференцию по Западному берегу[17].

Сара фотографирует Эда и Дика, когда Дик показывает на усадьбу, где находится его институт. У нее получается и удачный снимок Сьюзен, когда та кружится в юбке колоколом и тычет пальцем на стол с десертами.

— Обожаю все английское, — говорит под деревом Роза отцу Сьюзен. — Я, видите ли, выросла в Лондоне, в английской семье и делала все, что делают английские дети. Мы пили чай, проводили каникулы на море — у нашей гувернантки было сопрано, и она любила петь с балкона, выходящего на море. Прохожие останавливались послушать. Они были очень добры ко мне — в особенности мой английский папа. Но, — доводит она мысль до конца, — мои родные были в Нью-Йорке: меня отправили в Англию до того, как у них появилась возможность эмигрировать, и мне визу дали не сразу. Все время, пока я была в Англии, я ждала, когда мне разрешат уехать. Я просто хотела домой, к своим родным. Просто хотела домой.

— Пора, — говорит в шатре Сьюзен. — Хочешь не хочешь, а придется его разрезать. — Она берет нож и втыкает его по рукоятку в центр торта.

— О Г-споди, — говорит Генри. — По-моему, это не самое удачное место. Смотри, ты покривила опору... Позови официанта...

Когда официанты разделяются со свадебным тортом, Генри отворачивается.

— Было бы довольно глупо потратить столько денег и даже его не попробовать, разве нет, дорогой? — спрашивает Сьюзен. — Фотографии все равно есть.

Генри несет Розе кусок торта с несколькими клубничинами в придачу.

— Спасибо, дорогой, — говорит она.

— Спасибо тебе, что пришла, — говорит он, и голос его дрожит.

— Все было очень мило, — отвечает Роза. — Впрочем, вот этот джентльмен заснул.

— Я позову Сьюзен. — Генри удаляется, изнывая в своей свадебной визитке от жары.

— А вот остаться в Англии я никогда не хотела, — задумчиво говорит Роза, принимаясь за торт и клубнику.

[1]. *Музей и библиотека при Оксфордском университете, славится собраниями в области археологии и искусства.*

[2]. *Альберт Гурани (1915–1993) — английский историк, сын выходцев из Ливана, специалист по Ближнему Востоку.*

[3]. *Имеются в виду альманахи, где даются прогнозы на погоду и рассказывается, какая в этот день в этой местности была погода в предыдущие годы.*

[4]. *Аэропорт в Вашингтоне.*

[5]. *«Возвращение в Брайдсхед» (1945) — роман английского писателя Ивлина Во, одна из главных тем которого — судьба старинных английских поместий.*

[6]. *Пеклах — одно из значений: мешочки (идиш). Кульки со сладостями, которые раздаются во время бракосочетания или бар мицвы.*

[7]. *Корпус Кристи — колледж Тела Христова в Оксфорде.*

[8]. *Литературный немецкий (нем.).*

- [9]. *Сеть винных магазинов на юго-востоке Англии, существовала с 1843 по 2005 год.*
- [10]. *Торт, пирог (фр.).*
- [11]. *Крупнейший международный аэропорт Лондона.*
- [12]. *Отсылка к картине Пабло Пикассо «Авиньонские девицы» (1907).*
- [13]. *Хаим-Нахман Бялик (1873–1934) — еврейский поэт и прозаик, классик современной поэзии на иврите.*
- [14]. *У. Шекспир, «Отелло» (I, 3). Пер. П. Вейнберга.*
- [15]. *Уильям Моррис (1834–1896) — английский художник, один из лидеров «Движения искусств и ремесел». Многие разработанные им орнаменты стали классическими.*
- [16]. *Имеется в виду одно из течений в англиканстве.*
- [17]. *Имеется в виду западный берег реки Иордан.*

ÀÐÈÀÍ ÊÀÐÈÁ

ОДНАЖДЫ В БИШКЕКЕ

ÔÐÀÁÏ ÁÍ ÕÛ ÐÏÌ ÁÍÁ



«Ëáðáèì» áðáæáñ ïóáèèèíáæè òðááí áí òó èç ïíñéááííáá ðñì áíá Áðéáíá Êáðéáá: ïñáí ïð 2010 ãíá ïí ááè íáì áéý ïóáèèèáðèè «ïðñéíá» è ðñì áí ó (ñ.: Ëáðáèì. 2010. ¹ 10), à á ááèááðá 2011-ã, çáèáí-èááý ðááí ò ó íáá ðñì áí ïí, ïðñéíáè òðááí áí ò í Ï èðáèéá Ááí ááèááá (ñ.: Ëáðáèì. 2012. ¹ 2). Á íáíèð ñéó-áýð ïí ïíáñ òíáèè ááðéáí òó æððíáèííóð ïóáèèèáðèè è ááè èì íáçááíèý. Íúíá, ñ ðáçðáðáíèý íááááí ïíçááííáá «Ïñíáá ïáñéááèý Áðéáíá Êáðéáá», ï ù ïóáèèèáá ðýá òðááí áí ò íá ðñì áí á, ñóéáçáíèáì èðñð.

<...> Ëáè áñá-ðáèè ðñðñí, ÷ðí á ðñì áí á áðáí ý èááð í á òáè çáí ðáíí, èáè á æèçí è! Ïí òñ ò ÷ðí ï í íá ñé-áñ ðéáñíí íáíðí òá ðáññéáçíááðó ïðñ ïíñéááííéá áñá ï Ëçðáèéá Ë í á òí ÷ðíáú íá-ááí áñéí ðáññéáçíáðó Ááèðá ï í á èðáúá ðéè, æáèáðáèííí, èííá-íí, æáíñéá è ý ñ ðááíñóðñ ïí íèì ïíáçéú òíèéáý áíáðáèè ñáý ñáèè òáèáèèè. Ïí ý í á èðáèð ááññæáðíóð ðñì áí á, à ñáúðèý ïíñéááííéá ñáè èááðèè ñáè è ïí ñáá, áíçí íáèíí, è çáññéáèáðò ïíáñíðáíáíèý, ïí áðáá çá áðáá

*Átēxai átió iáðáátiáaóú ēēiáaóú iáip xēçtú i íæíí ē áx ióðáúáíēy. Íááí ótēúēí
iēóú iðē yóúí íá iðñúóáy. Áúðááaóúáááí úē áēēíáēáí iáóúñ iðáááúááó ááēē áññíí ēíáíēy ēç
áíēóí áí óáēúñ úó á óúáíēáñóááí íúá ē ááēá áññíēíóúáíēáñóááí íúá. Éáðáðñēñ ííáēēáááó íá ēáēáíí
óēá*

*Áñēē iðáááá, ÷óí, ēíááá ÷áēíááē óí ēðááó, iáðáá íēí iðñóíáēó áñy ááí xēçtú óí ēē:íí i íá
iáðáááññóíē ēáó iðñēó íá iíēáçtúááóú — ý yóí ēēíí áēá íóññ iðááē.*

*Íáó, ðññēáy ēēēúóóá, ííá — ðááēúñíí! — áááíēí ēíííóá á ÷áēíáá-áñēíē áááá íáíáñóēēáññí
çtáíēáí, ÷óí áñēē, óí úááyññí iúyíúí ē ñēáçáí ē, iíáóíðyóúí «ý — íáí úē áíēúñíē áñçóíēē íá çáí ēá!»,
óí áááá íúóóóó iðēēíññíááíēá áíáēá. Yóá iðññááóēáííññóú íáēēúñí iðááçēēáññí á ðññíēē
ēēóáðááóóá. B áñáðp íá iíēííí ñáðñáçá. Íáó, íó á íí-áí ó, á íáí íí ááēá áēēíáēú áíēááí áúē ááóú
óíēúēí yóúí ó xēðííí ó xáð-ēēēp? Íí ē ðññēēí iēñáóáēyí íá iðēáçáē. È ííē ðáññíðyáēēēññí ēí íí
áññóáí ó ðáçyááó. Íá áñá, iðáááá. Íáíðēí áð, íáēí ááēēēēē ðññíēēē iēñáóáēú íá óáðíáē ðáññíðáííá
áñáí-ēē, çáēúññ-áē ē çáññóááíúó ááññá, ē ÷óí áú áú áóíáēē, ñ íēí iðñēçtúēí? Íí ñóáē
ááçtēíðēçtáííúí ááðñíáēóáí!*

*Á ý, óáē ñóðáññóíí xáēáááóēē ēíááá-óí ñóáóú ááçtēíðēçtáííúí ēáááíðēíóáí, áññáúá
íēēáí íáñóáē.*

*«Íó ē ÷óí áēá — óááðáēē ý ñááá á óáááíēá — B áááú á óí-ííñóē ēáē ðññēy: ó í áíy
óíáēáíññē, íññáúē, i áññēáíññēē íóóú».*

Этот путь привел меня из Иерусалима в Бишкек. Через Москву. А в Москву — через Арабские Эмираты, потому что у Эйнштейна были там срочные переговоры. Я, правда, даже не вылез из самолета, потому что в Эмиратах с израильским паспортом меня бы на кол посадили. А у Эйнштейна, кроме израильского, есть еще украинский, латышский и венесуэльский. Эйнштейн прилетел за мной из Нью-Йорка на своем личном самолете, прихватив врача-нарколога Швайбиша с Брайтон-Бич. Швайбиш за хорошие деньги согласился на турне, но на борту выяснилось, что он панически боится перелетов, а единственное средство, снимающее чувство тревоги, — это, разумеется, алкоголь. Но профессию не пропьешь. Поковырившись с полчаса иголкой у меня в вене, доктор Швайбиш сумел-таки поставить капельницу со всеми необходимыми ингредиентами, так что, в отличие от него, в Москву я прибыл совершенно трезвым и еще в пути начал уламывать Эйнштейна не сдавать меня в больницу, потому что я не алкоголик и лечиться мне не от чего. Эйнштейн сказал, что это — типичная анозогнозия, лишний раз подтверждающая диагноз.

Отсидев положенные три недели в наркологическом отделении Ганнушкина, я расположился у Эйнштейна, в его уютном двухэтажном особнячке на Пятницкой.

Сначала я чувствовал себя очень хорошо и комфортно. Казалось, что мои мучения закончились и начинается новая светлая жизнь. Вернее, уже началась. Я, во-первых, ни черта не делал, а во-вторых, меня обслуживали домработница и машина с шофером. Я всегда подозревал, что это именно то, чего мне не хватает для счастья.

Я читал книги, смотрел кино, слушал музыку или просто плевал в потолок, и только через месяц во мне проснулась совесть и появилось желание чем-нибудь заняться, ну хотя бы выучить что-нибудь новое. Я решил взяться за новогреческий, даже не помню, почему именно за него. Взявшись, я осознал ужасную вещь: мне было больше не интересно. Я понял, что не хочу больше знать новых обозначений для «кошечки», «собачки», «полового акта» и «как дела?». Десоссюровская условность означающего лопнула во мне своей фундаментальной пустотой. А ведь предупреждал поэт, и я знал эти строки: «Не бумажные вести, а дести спасают людей».

А я заморозил свое время и не пролил ни капли горячей крови.

Я думал, что люблю женщин и языки, я думал, что живу любовью, но я обманывал себя. Я любил не их, а только их новизну.

Наверное, я вообще не умею любить.

Я начетчик. Я шел по экстенсивному пути развития.

Я перестал работать над собой. Перестал развиваться. И оказался инфантильным переростком.

Я думал, что собираю капитал, я знал, что он у меня есть — я же его регулярно щупал, — как вдруг, в одно мгновение, все банкноты превратились в фантики, и я банкрот.

Я боялся даже произнести, но в лживой глубине своей души верил: я — гений. Бывший, но гений. А я не гений. Я — неудачник.

Это самое страшное, что может случиться с человеком, который поздноват, но все же начал уже отличать поражение от победы.

Облаченный в такие примерно незатейливые размышления, явился ко мне мой кризис сорока. Полагаю, что у всех людей, прошедших путь земной больше, чем до середины, какими бы разными они ни были, ощущение кризиса одно и то же. Тут все равны, и что эллину, что иудею — всем одинаково хреново. Только реакция у всех разная.

Однажды, когда Эйнштейн еще не был так основательно богат, как сегодня, партнеры по бизнесу предъявили ему долг на два миллиона долларов с требованием погасить в течение года. Юппи бегал, причитал: «Ой, Альбертик! Что же ты будешь делать?! Что же ты будешь делать!» «Как что?! — рявкнул Эйнштейн. — Заработаю! У меня же целый год впереди!» Я полюбопытствовал у Юппи, что бы предпринял в такой ситуации он. «Я?.. я бы постарался об этом забыть, — сказал Юппи. — Чего париться, если еще целый год впереди? А ты, Мартынуш, что бы делал ты?» Я, не раздумывая, ответил, что сменил бы город, страну и даже континент, а также имя и внешность. Я бы поселился, например, в Аргентине и вскоре уже говорил бы на аргентинском испанском, как настоящий porteno. Я бы выучился танцевать танго и стал бы знаменитым маэстро...

Сослагательное наклонение, наверное, и есть мой настоящий диагноз.

Две фундаментальные области с рождения волновали меня: парадоксы теории множеств и парадокс брэдоброя. Все начинается с бесконечности. Не имеет значения, насколько сознательно вы ощущаете бесконечность, ребенок вы или взрослый: бесконечность обжигает всех. Это моменты животного ужаса, агностической безысходности и полной потери смысла. Если всегда можно прибавить еще единицу, если все всегда было и все всегда будет, то для Б-га (что бы это ни означало — пусть даже просто уверенность достойного человека действия) места не остается.

За стенкой на кухне мои глупенькие родители и их друзья пили дешевый портвейн и пели под гитару: «Мы изменим расписание поездов и электричек, пароходов и раке-е-е-ет!» От их пения над моей кроватью покачивался портрет Хемингуэя в свитере. Я не спал. Я искал, как спасти мир.

Постулировать финитность мира я ну никак не мог. От обратного: если мир конечен, то нам никогда не даст покоя вопрос: а что же там дальше, после того как он кончается? Ничего? Это худший ад из тех, которые мы можем придумать! Жуть во мраке!

Ночь за ночью, под бардовскую песню за стенкой, я искал выход. И однажды нашел. Бесконечность не создается бесконечным прибавлением единицы. Числовая ось меняется по мере продвижения по ней. И если зайти достаточно далеко, там больше не будет чисел, там будет совсем другой пейзаж. Вернее, числа будут, но — с совершенно другими свойствами, характером, отношениями между собой. Свободы, равенства и братства станет больше. Число x не будет цепляться за то, чтобы не быть $x+1$. Напротив: x и $x+1$ будут так близки и так дружны, что их и отличить-то уже нельзя. В этих краях продвигаться по числовой оси легко и приятно. Там другие законы движения. Там нет никакого $+1$. Человек шел-шел, ковылял-ковылял, потом надел коньки и заскользил по льду. А потом воспарил и полетел. Вышел в космос. А дальше? А дальше — нам всегда будет интересно. Не надо бояться бесконечности — она нестрашная.

Это был, допустим, еще не выход — то, к чему я пришел. Но это было направление поиска пути. На этом пути, похоже, можно было разобраться с другой страшилкой — теоремой Гёделя о неполноте, отнимающей у нас, человечков, категорию истины.

«Возьмемся за руки, друзья!» — пели на кухне.

Это было в январе 1971-го. Над созданием окончательной теории мне оставалось работать еще целый год. <...>

* * *

Президентскую резиденцию сотрясали истерические дебаты. Истерику запустил Влад, но все остальные моментально ею заразились. Наш главный политтехнолог потребовал объявить на канале конкурс на лучшую кыргызстанскую пару. Народ приглашается присылать нам описание своих любовных историй. Мы выбираем лучшую. Победители получают приз в размере 100 тысяч сомов, но обяжутся сыграть свадьбу накануне дня выборов. Свадьбу посещает Чингиз. Все западные СМИ бросаются освещать это событие. Рейтинг Чингиза стремительно взлетает, и он становится президентом.

Объяснить этому полудурку, что никакая нормальная телекомпания не станет накануне выборов посвящать репортаж одному из кандидатов, было невозможно. Он визжал, тербил свою дымящую грудь и гнал немислимые турысы о том, как поднимал с Чубайсом энергетику России.

Я был бескомпромиссен и орал на Влада, что он не имеет понятия о самых азах журналистики и я вообще не догоняю, как нашему другу Эйнштейну пришло в голову поставить во главе кампейна психически больного. Дело шло к мордобою, который я оттягивал из врожденного милосердия. Однако бишвиль ма царих мефиким?[1] Скоро уже мент Аркаша нежно, как ребенка, подталкивал Влада, приобняв слегка за плечико, в сторону его номера. Дальше их отношения будут развиваться по психоаналитическому сценарию. Распластавшийся на кушетке Влад будет врать на уровне хорошенькой такой афазии — о родителях, о женщинах, о своих достижениях в геополитике. А мент Аркаша, золотое сердце мошенника, будет умело делать вид, что во все это верит. И от истерики Влада не останется и следа. За два часа расплескивания воды из корыта он столько раз искренне, от сердца пожалеет себя, что расстанется с Аркашей в полной уверенности, что ему отпустили все грехи, столь же искренне путая между священником, лицензированным шарлатаном и бывшим ментом.

А другой продюсер устроила нам уют в Юппином номере, притащив туда кальян, нарды, пиалушки и маленькие хорошенькие самсы[2]. Наташка была в национальном платье, в тибетейке, с двумя косичками. Закончив хлопотать, она наехала:

— Мальчики, ну вы такие дураки, я прямо не знаю!

Сорокалетние мальчики, которых девушка назвала дураками, заметно напряглись.

— Это почему это мы дураки, а? — тихо, но страшно спросил Юппи.

— Потому что вам предлагают козырный формат, а вы лезете в бутылку и начинаете выяснять отношения с этим блаженным вместо того, чтобы радоваться. Вы прикиньте, какие письма будут приходить. Народные шедевры! Каждое письмо — история любви и отдельное кино.

— А ведь точно! — подхватил Юппи, потом замер на секунду и сломя голову выбежал вон из номера. Вернулся очень быстро, запыхавшись:

— Я узнал! У кастелянши! Махабат!

— Что «махабат»?

— Любовь! Любовь по-киргизски будет — «махабат»!

— Значит, «Махабат-story»! — подвела итог продюсер.

Застолбив один формат, немолодые негодяи и их сообщница взялись за следующий. Дискуссию открыл я:

— Итак, нам поручено нести людям свет. Давайте спросим себя: а кто они, эти люди?

— Чурки! — хрюкнул Юппи.

— Мырки! — поправил я. — И то не все. Только половина, как утверждают аналитики. Это — во-первых. А во-вторых, в Кыргызстане проживает миллион этнически довольно чистых русских. Но и это не главное. Главное, что с развалом империи люди потеряли ощущение принадлежности. А ведь ощущение принадлежности носит у человека эссенциальный характер...

— Не умничай! — скривился Юппи.

— Что такое «эссенциальный»? — спросила Наташка.

— «Эссенциальный» означает существенный, сущностный... нутряной — вот, кстати, отличное слово! — вспомнил я. — Короче. Нужен какой-нибудь формат про великий и могучий кыргызский язык. Мы должны донести его эпическую мощь и красоту до русских и поддержать гордость за родной язык у самих кыргызов. Вот.

— Может быть, кстати, и тема... — задумался Юппи.

— Тема и... комментарий, — вдруг сложилось у меня. — Тему нам задает колоритный абориген, а двуязычный ведущий дает комментарий. Костюмированный.

— Офигенно! — обрадовался Юппи. — Ты и будешь ведущим!

— По-кыргызски?

— Переводчика возьмем, не сипайся!

Я немножко посипался, но быстро дал себя уговорить, потому что, если честно, то выступить по телеку по-кыргызски было моей неизреченной мечтой, которую Кадош Барух Гу[3] («г» — с тильдой) здесь и сейчас облек для меня в слова и дал им изречься устами Юппи.

— Мальчики, облом! — вернулась Наташка, которая все это время проговорила на балконе по телефону. — Власти не пустили Паоло Коэльо в страну.

— Какой неслыханный произвол! Возмутительно! Полицейское государство! — затрепыхался Юппи. — Ну, ничего. Когда мы придем к власти и я стану министром пропаганды, мы снимем, Мартынуш, о...убительный истерн «Воин Света» с Чингизом в главной роли. Кстати, ты-то сам какое-нибудь министерство себе уже присмотрел?

— Ага, — ответил я. — Министерство любви. Ты мне лучше скажи, чем эфир будем заполнять?

— Как чем? Тобой!

Шум затих. Я вышел на подмостки. Меня держат пять камер. Юппи в аппаратной иногда попадает в нужные кнопки. Предо мною телесуфлер. Я проникновенно читаю с листа:

— Сегодня власти Кыргызстана не пустили в страну Паоло Коэльо, бразильского пророка, мудрости которого алкают люди во всем мире, от слесаря-водопроводчика до космонавта, от бомжа до олигарха, от блудницы до целки-невидимки...

Юппи хихикает мне в ухо. Это он замазал тилексом «праведника» и вписал «целку-невидимку». Но я же суперведущий. Даже глазом не моргнул:

— ...от блудницы до целки-невидимки, от купели до могилы. Чего же испугались власти? Они испугались слова! Тираны всегда дрожали праведного слова, способного зажечь сердца. Паоло Коэльо собирался говорить о Воине Света. С огромным трудом и невероятным риском мастер сумел передать нам свое послание. Мне выпала честь зачитать его вам:

«Дорогие кыргызстанцы! Вашему великому древнему народу, пришедшему с Алтая, чтобы поселиться в самом центре Азии, боги дали единственный в своем роде шанс: вы можете возвести на престол истинного Воина Света. Воин света помнит добро. В битве ему помогают ангелы; силы небесные все расставляют по своим местам, давая ему возможность реализовать себя наилучшим образом. “Как ему везет!” — говорят его товарищи. А воину порой удается такое, что превыше сил человеческих. И потому на восходе солнца он преклоняет колени и благодарит за Благодетельный Покров, осеняющий его. Но благодарность воина не ограничивается лишь духовной сферой; он никогда не забывает друзей, ибо они вместе проливали кровь на поле битвы. Воин света внимательно вглядывается в детские глаза, ибо им дано видеть мир, лишенный горечи. Когда воин света хочет узнать, достоин ли доверия тот, кто рядом с ним, он старается увидеть его глазами ребенка...»

Кроме захода «дорогие кыргызстанцы», всю остальную мутотень я аккуратно выписал из самого Паоло Коэльо. Хватило на целый час. Эпилог я завернул такой: «Вы спросите: но кто же он, этот Воин Света, которому дано возродить наш древний народ и возвеличить его между другими народами? Я отвечаю вам просто: он здесь, среди вас. Он принц. Он носит имя великого воина прошлого».

В студии раздались аплодисменты. Хлопали операторы, Юппи, Наташка и мент Аркаша. Лесбиянка Лида, не стесняясь, утирала слезы. Я тяжело опустился в кресло и закурил. Сеанс практической магии полностью меня измотал. Хотя на Западе принято называть это не магией, а риторикой, или public speaking, это, конечно же, магия в чистом виде, потому что без фокусированного луча энергии, идущего от сердца и от печени, никакие формальные правила вам не помогут. Впервые у меня получилось в Америке. Я ездил с лекциями от «Джойнта». Поначалу было прикольно, но скоро я возненавидел еврейскую Америку с ее высокомерием, апартеидом, лицемерием и снобизмом. Выступать стал вяло, стараясь поскорее отделаться. Но однажды в Бостоне, в реформистской синагоге, перед выступлением я увидел девушку необычайной красоты — той, которая светится. Свою речь я начал так: «Вот уже две недели я мотаюсь по городам и штатам Америки, выступая по шесть-семь раз в день. Я безмерно устал, чувства притупились, не осталось эмоций. Глядя на аудиторию, я уже не различаю лиц. Но сейчас, люди, когда я увидел вас, собравшихся здесь, сердце мое забилося и наполнилось радостью. Я сказал себе: “Wow! I really want to talk to these people!” Реформисты взвыли от восторга и долго аплодировали стоя, а необычайной красоты девушка после лекции подошла ко мне поболтать и все ждала, что я приглашу ее на кофе, но я уже тогда знал, что использование магии в корыстных целях аукается черным.

Конечно, из всех наших форматов наиважнейшим и козырным оказался «Махабат-story». Мы производили по одной фильме в неделю. В эфир давали в пятницу вечером — прайм-тайм, и город буквально вымирал. Не побоюсь сравнения: так вымирали по вечерам советские города в августе семьдесят третьего, когда народу впервые показали «Семнадцать мгновений весны».

Как только мы анонсировали конкурс на лучшую кыргызстанскую пару, письма от соискателей потекли нескончаемым потоком. Для премьеры я выбрал письмо Наденьки. Меня подкупило ее художественное видение. Как и то, что она писала о себе в третьем лице.

«Эта история началась двадцать один год назад, когда в Бишкеке родилась светленькая девочка Наденька, а в далекой Индии родился смуглый мальчонка Шарбани. Но до их встречи было еще далеко. А сейчас Наденька стояла во дворе Славянского университета. Ярко светило солнышко, и другие студенты и студентки резвились и смеялись на перемене. А Наденька стояла в стороне, совсем одиноко. Ей было не до смеха. Ведь совсем недавно один негодяй разбил Наденькино сердце! Он воспользовался, что она такая наивная. После всего этого Наденька не могла больше верить в любовь. Теперь она знала, что уже никогда в жизни не полюбит. И от этого ей было очень грустно.

Но жизнь продолжается. Наденьке надо было срочно найти работу. Она увидела в газете объявление, что требуется секретарша на курсы иностранных языков. Наденька долго ехала на трех бусиках на другой конец города...»

Здесь я встряну в Наденькин рассказ. «Бусиками» в Бишкеке называют маршрутки, причем совершенно официально. В новостях: «забастовка водителей бусиков». На автобусы у городских властей нет денег, и общественный транспорт представлен исключительно этими чудовищными бусиками, в которые несчастные набиваются без ограничений, стоя буквой «Г» во все время поездки. Так что можете себе представить, как намучилась Наденька, добираючись. Но судьба, как в сказке, ставила перед ней новые препоны: теперь она никак не могла найти адрес. Следующая фраза — на пять:

«В отчаянии слова в придачу каблук, рядом с Наденькой остановился какой-то добрый прохожий».

Добрый прохожий направил Наденьку по адресу, и она, наконец, дохромала до смуглого мальчонки из далекой Индии. Перипетии Наденькиной судьбы могут тронуть даже самое ржавое сердце, но лично меня еще больше торкнула предприимчивость юного индуса, непонятно с какого перепуга решившего открыть школу языков в Бишкеке. Короче, между ними вспыхнул махабат. «Какая у тебя самая большая мечта?» — спросила Наденька индуса.

«У меня самая большая мечта, что я выхожу из дома, сажусь в красную спортивную машину, а рядом со мной сидит моя любимая жена. И мы едем далеко-далеко...»

Дочитав до этой кульминации счастья, я схватил телефон, набрал номер и сообщил обалдевшей соискательнице, что кино про нее мы будем снимать прямо завтра.

Шарлатанская наука психология, допускающая бесконтрольный креатив по маоистскому принципу «пусть расцветут сто цветов», хороша тем, что в нее легко можно вводить новые человеческие психотипы. Я вот считаю, что существует отдельный психотип «режиссеры по жизни». Это люди, стремящиеся воплотить в жизнь свой собственный сценарий, иногда не совсем сообразуясь с реальностью, а чаще всего — вообще с ней мало считаясь. Живется им, сами понимаете, нелегко. Но порой их посещает удача.

Они делали у меня все — смуглый мальчонка и светлая девчушка, оказавшаяся довольно-таки бэушной блондинкой, спасаемой от вопиющей некрасивости лишь относительной молодостью и семафорящим окрасом. А мальчонка Шарбани был настоящей индийской сладенькой душкой, только вот, подлец, танцевать по-ихнему не умел. Зато ему пришлось делать многое другое. Он до изнеможения таскал на руках по парку далеко не легкую Наденьку, — я велел ему при этом еще счастливо смеяться. Затем, от избытка счастья, он бросился в фонтан; скупил у цветочницы все букеты; получил шариком от пинг-понга в лоб (11 дублей) и долго учился принимать ту галантную позу, которую я позаимствовал у старых дагерротипов: припав на одно колено, кавалер разворачивает торс и касается щекой щеки сидящей на лавочке барышни.

Наденькины испытания оказались короче. Самым потешным было выглядывание из-за дерева с одновременным отставлением по другую сторону дерева кокетливой ножки. Самым болезненным — спродюсированные во дворе Славянского университета, совершенно необходимые по законам драматургии, слезы: пришлось уколоть булавкой.

Я подумывал заставить их изобразить легкую эротику, но когда они начали только целоваться, меня затошнило, и от легкой эротики пришлось отказаться. Но Юппи добавил. Молодец! Отчаянный малый.

Нет, в самом деле, пришла пора сказать. А то я так его зачморил, что может создаться впечатление, будто Юппи — стареющий, истеричный, избалованный мальчик. Но это не так. То есть это, конечно, все так, но это далеко не весь Юппи. Прикинусь опять психологом, а то и философом и скажу: главное в человеке — это то, в чем он упорствует. А Юппи всю жизнь упорствует в своей эстетической неприкосновенности. И он, в принципе, гений. И только чудовищная лень мешает ему создать что-нибудь грандиозное. А в малом жанре ему иногда удается почти шедевально, — если кто видел, например, мультфильм «Сало». Да, Юппи без дураков талантлив и, безусловно, предан искусству. Проблема, что у таких людей эстетика, как правило, превалирует над этикой.

Короче, смонтировал я с помощью кнопочника свою фильму. Сладеньким голосом зачитал за кадром Надюшино письмо. Подложил танго «Счастье мое я нашел в нашей дружбе с тобой». И понес показывать Юппи, заранее готовясь не дать себя спровоцировать хамским и обидным репликам типа: «Ох, сверкал бы ты лучше, Мартынуш, и дальше своим пьяным е...лом по ящику, а в режиссуру — не лез!»

— Мартынуш, это о...уенно! — сказал Юппи.

Я в смущении пожал плечами:

— Что, правда?

— Ты Моцарт, поц, и сам того не знаешь! Иди, отдохни, я тут только кое-что подправлю по мелочи, если не возражаешь.

Я не стал справляться о ее состоянии, к ней бросилось достаточно доброхотов. Я просто вышел покурить. Но не успел чиркнуть зажигалкой, как мне на голову набросили мешок и убедительно ткнули кулаком в печень.

От неожиданности я довольно громко пукнул, чем вызвал смех похитителей, и это принесло некоторое облегчение, потому что, раз смеются, значит, не убьют. Наверное. Их было трое, они затолкали меня на заднее сиденье машины. Я подумал: неужели за обезьяну? Это было совершенно бредовое предположение, но и другие версии, резвившиеся у меня в голове, отдавали шизой: Аксельрод с Третьяковки — я ему должен пятьдесят рублей; портниха из Ашдода — она ведь прокляла меня; американцы — решили добить. Точно: это американцы! Но только говорящие по-русски. Хотя и малограмотно.

— Куда содить-то его, хозяин?

— Усади в кресло и проваливай. Остальным скажи, чтобы телевизор пока смотрели и чтобы все сразу не напивались. Мне нужно постоянно двое трезвых. Ты — крайний. Да снимите вы с себя этот мешок, Мартын!

— Не сниму!

— Почему? — искренне удивился голос.

— Боюсь увидеть черта.

Голос засмеялся довольным смехом:

— А вы очень и очень светский человек, Мартын. В куртуазную эпоху вы далеко шагнули бы при каком-нибудь провинциальном дворе. Хотя в один прекрасный день вам неминуемо открылась бы некая сверкающая истина, вы бросились бы нести ее людям, и вам отрубили бы голову. Если бы вы, конечно, не зассали в последний момент, как Галилей, и не взяли бы свои слова обратно. Вы бы не зассали, Мартын?

Я сорвал с головы мешок. Одного взгляда на этого ублюдка было достаточно. Именно так должен выглядеть Срулик Страшновский.

— Хотите, расскажу вам про вас? Мы здесь вдвоем, чего вам стесняться? Если станет тошно до блева, велите своим вассалам отрубить мне голову.

Он пропустил мои слова мимо ушей, сосредоточенно оглядел столик, вынул из шкафчика бутылку виски, бокалы и принес лед из холодильника.

— Ну, теперь можем беседовать, как джентльмены. Лехаим! Нет, Мартын, мне совершенно неинтересно, что вы обо мне расскажете. Я про себя все знаю. Это ваше романтическое «познай самого себя», которым вы тешитесь до седых яиц, не более чем инфантильное самокопание, совершенно бесплодное. Человек познает себя до определенного возраста, а затем переходит к действию. Мужчина — это то, что он делает, а не то, что он о себе познает. Вы видите во мне антипатического, прямо-таки даже отталкивающего еврея, готового, судя по всему, продать родную мать; вы обращаете внимание на мою редкую неблагородную бородку, на фурункулы, ибо я с детства страдал плохой кожей; вам отвратительны мое жирное пузо и сопящая одышка; только одним не могу вас порадовать — чесноком не пахну. Просто не люблю чеснок. А то бы, конечно, пах.

Но ведь не это вызывает в вас осуждение, Мартын. Вы же гуманист и даже в душе не станете относиться плохо к человеку за его физические качества.

Вы ненавидите меня за то, что я — рулю. Вы не рулите, а я — рулю. Я — умный, коварный, беспринципный, успешный, неленивый. Я задаю правила игры, в которой вы — пеон, пустышка, глупый солдат с хохмочками вместо патронов. Да, вам не откажешь в некоторой отчаянной храбрости и даже, я бы сказал, некоем веселом стоицизме. Однако комичность вашего положения в том, что, покуда вы развлекаетесь своими приключениями, миром правлю я. Вы — обезьянка, прыгающая на потеху публике. А поощрение и наказание — в моей власти. Я — директор этого цирка!

— Прекрасную вы сделали карьеру, Срулик. А мешок на голову — это чтобы я форму не терял?

Страшновский усмехнулся:

— Мешок на голову — это чтобы вас напугать. Хотя бы чуть-чуть. Потому что дальше все может оказаться по-настоящему страшно. Вы не представляете себе, Мартын, во что ввязались.

Мне начинало становиться по-настоящему страшно. И я действительно понятия не имел, во что ввязался.

— Но вы же мне расскажете?

— Конечно, расскажу! Я здесь ваш единственный друг. Все остальные вас используют без зазрения совести и не принимая никаких мер к вашей безопасности. И, если вы думаете, что Чингиз или даже Эйнштейн хоть пальцем пошевелят, когда вас будут распинать на воротах Жогорку Кенеша, вы глубоко заблуждаетесь.

— Так во что же я все-таки ввязался?

— О! Ваша бесшабашность прямо пропорциональна вашей неосведомленности. Позвольте краткий экскурс в геополитику. Киргизия — на хрен никому не сдавшаяся страна, за исключением нескольких обстоятельств. Через нее идет наркотрафик. На ее территории расположена американская авиабаза «Манас». Здесь есть золото. И, наконец, здесь находится российская авиабаза. И если стратегическое назначение американской базы очевидно — плацдарм для ударов по Афганистану, то российская база имеет чисто представительские функции. Но все это — только на первый взгляд. Главное назначение американской базы — контрабанда южно-африканских алмазов. А через российскую базу поставляют охотничьих соколов в Эмираты. Это Чингиза бизнес, он делится с русскими. Что вам еще не ясно? Кургашинов — американский ставленник. Никто не позволит его не выбрать. Москва, как вы понимаете, третью мировую из-за банановой республики затевать не станет. Ваш игрушечный кампейн, на который Эйнштейн не пожалел аж пять лимонов, — и все это, чтобы вывести вас, малохольных, из депрессии, — ваш кампейн обречен, его и не заметит никто... Не должен был заметить. Однако приходится отдать должное вашему таланту. Этот доморощенный арт-хаус, который вы замутили на «Пирамиде», задел какую-то потайную струнку в душе у автохтонного населения. В Киргизии нет пипл-метров, даже статистику толком не составишь, но эта ваша размуссированная легенда о войне света, вкупе со слезливыми историями любви и виньетками из степной речи, бередит, понимаешь, народ! Мырки зашевелились, это не к добру. Мессианство кандидата — сильный ход, жаль я первым не догадался, у моего-то скромная версия Робин Гуда. И это мессианство пахнет очередной революцией. Конечно, мы задушим ее на корню, но зачем мне эти лишние хлопоты? Я лучше договорюсь с вами. Сколько вам положил Эйнштейн: пятерку в месяц? Возьмите сто и собирайте вещи.

— А если я пожалуюсь Эйнштейну?

— Не советую. Подставьте друга. Я в курсе, что ваши отношения не пошли дальше иерусалимской песочницы, un pour tous et tous pour un[4], но поймите: и Эйнштейн, и я живем в мире таких обязательств, за невыполнение которых жизни лишают не задумываясь. Вам дали поиграться. Вы насладились творчеством. Вы получили достойные отступные. Ваша миссия окончена, и никто вас не осудит. Удалитесь в комфортный уголок и дописывайте себе свой роман. Кстати, мои комплименты! Давно не читал такой рафинированной прозы.

Я опешил: «Вы это о чем?»

— Ну, тот романчик про маленького гения и девочку с золотыми волосами. Вы, кстати, действительно были вундеркиндом? Похоже на то, очень уж правдоподобно описан ход мыслей...

— Откуда у вас, черт возьми, мой текст?

— Мне Эйнштейн дал. А что? Сказал: смотри, если у меня так пишет простой пиарщик, то что же напишет топ-менеджер! Нет, но, Мартын, это и в самом деле прекрасный текст. Я с нетерпением жду продолжения.

— Нет!

— Не дадите продолжение?

— Продолжение дам. Но от принца не отступлюсь.

Страшновский усмехнулся и, закинув голову, ехидно продекламировал: «Он был не самый честный и не самый милосердный человек на свете. А вот потягаться с ним в отваге смогли бы немногие».

— Страшновский, чтоб вы знали: мне лестно сравнение с капитаном Алатристе. И если вам в самом деле понравилась моя проза, то последняя воля обреченного: распространяйте про меня эту шлягу, ну, про не самого милосердного, но отважного, буде то после моей смерти или на фоне все еще бьющей фонтаном жизни.

— Это будет точно после вашей смерти.

— Но не раньше, чем через неделю.

— Это еще почему?

— Потому что через неделю у нас назначен бал, — соврал я наобум. — Съедутся все элиты, председательствует Воланд. Эйнштейн тоже будет. Вы же не захотите его так сильно огорчить? Тем более что вы наверняка будете в списке приглашенных.

Страшновский сделал рукой неопределенный жест. Он был безумно недоволен, что не сумел со мной договориться.хлопотное его ожидает дело. Я же старался не подавать виду, что с этого момента все мои мысли — о смерти. Правда, если я соберусь с мужеством, то мысли будут не о смерти, а в преддверии смерти. Это разные вещи. Двадцатитрехлетний Эварист Галуа в ночь перед роковой дуэлью набросал теорию алгебраических уравнений. У меня еще есть время закончить роман. Но сначала я должен, конечно, выпить.

Игра Кыз Кумай, этот пережиток бесстыдного и жестокого язычества, представляет собой противостояние между парнем и девушкой. Оба верхом. В руках девушка держит камчу — киргизскую плетку. Девушка хлещет парня камчой и пускается вскачь. Задача парня — догнать ее. Догонит — поцелует. Но вряд ли он ее догонит. Потому что по степной традиции девушка получает заведомо более сильное животное. Если моей партнершей окажется настоящая кыргызка, которая села в седло раньше, чем начала ходить, меня ждут позор и иссеченная плетью рожа. Оно мне надо?

Очень даже надо! — наперебой объясняли дворцовые, подталкивая меня к ванной: правила никто соблюдать не собирается, девчонка симпатная, но еле держится в седле, и только мои поцелуи будут ее стабилизировать. Мы снимем немереную красоту. Я стану вообще народным кумиром. Революция победит. Пришлось согласиться. Мы уже слишком далеко зашли, чтобы я мог свободно выбирать себе роли.

Равнины талмудического периода сравнивали Б-га со всадником: он отчасти зависит от животного, но все же разумнее коня и властен над ним. Эти равнины, видимо, умели ездить верхом, потому что знали, о чем говорят: в седле чувствуешь себя богом. За рулем машины — нет, если это не «Феррари», а в седле — да. В седле приобретаешь надчеловеческую природную силу. Летать меня, например, совершенно не тянет, но иметь на земле в четырех копытах удесятеренную силу мне кажется волшебным. Ее алхимическое происхождение несомненно: живое сливается с живым, образуя новое живое. На самом деле лошади — дуры. Все эти истории, в которых они умные типа дельфинов — это все выдумки. Лошадь может быть умна только в одном: в подчинении воле всадника. Это совершенно не влечет за собой вывод о необходимости жестокого обращения с животным. Наоборот: лошадь очень хочет скакать, она прётся от этого, и задача всадника — ей помочь. Скорость, которую может развить хороший наездник, зависит от того

контакта, который он способен создать со своим партнером. Если наездник болтается в седле, конь далеко не ускачет. Ощущение полного слияния с конем, это и есть ощущение мажора за рулем «Феррари».

Хозяйка конюшни Тамара, женщина эффектная, с серебряными браслетами на предплечьях, вызвалась меня сопровождать. Я сразу сказал, что выберу и поседлаю лошадь себе сам. Мы с Тамарой медленно шли мимо вольеров, она давала какие-то характеристики лошадям, но я почти не слушал ее. Я искал и наконец нашел ту, которая была нужна мне сегодня: Сауле.

— «Сауле» по-казахски значит «любовь», — улыбнулась Тамара.

— В курсе, — ответил я.

— Я сама казашка, — пояснила Тамара.

А то я сразу не увидел! «За что вы не любите киргизов?» — спросил я вдруг. «У них нет своей культуры, — сказала Тамара, — они все взяли у нас». «А эпос “Манас”?» — спросил я. Тамара промолчала. Конюх принес потник, попону, седло и уздечку, и я начал седлать Сауле. Нет, я не ошибся — это была моя лошадь! Мы не будем с ней сегодня самыми быстрыми, но мы будем самыми элегантными. Мне не терпелось испытать Сауле. Мы выехали в открытый манеж. Я дал ей погарцевать, слегка натягивая поводья, сжимая шенкеля. Затем я отпустил повод и дал шенкеля. Сауле зашагала. Я прижал шенкель и отпустил уздечку. Сауле пошла рысью и почти сразу перешла на великолепный широкий галоп. Я расслабился и припал к ее гриве. Мы сделали по манежу несколько кругов. Волшебное! Я думаю, мне даже удастся поцеловать девушку прямо на ходу. Если она, конечно, подыграет. Да, но где же эта девушка, так называемая кыз?

Вначале я увидел черного ахалтекинца и только потом обратил внимание на наездницу. Надо понимать, что ахалтекинец — это гепард среди лошадей. Выставить против меня ахалтекинца, кем бы ни была наездница, это все равно как поставить «БМВ» против «Запорожца». Я начал искать глазами Юппи, чтобы подъехать к нему и объясниться. Но повелительница черного дьявола сама направилась ко мне и подвела своего коня вплотную. Она была одета, как с картинки. Золотое полуплатье стягивала голубая жилетка. На покрытой белым платком голове красовалась сапфировая шапочка. Руки украшали серебряные монисто. Узкие глаза ее лучились. Она улыбнулась, обнажив жемчужные зубы с двумя лисьими резцами по бокам. Я открыл рот, чтобы сказать слова приветствия, и в этот момент красавица точным ударом расклепала мне лицо плетью ровно по диагонали. Затем она не спеша отвернулась и поскакала прочь. Я рванул за ней.

Сауле шла с хорошей крейсерской скоростью, но черный бес шел ровно в два раза быстрее. Мы уже давно скакали лугами, все киношники отстали, и я подумывал о том, чтобы повернуть обратно, как вдруг — показалось? — нет, не показалось: незнакомка замедлила бег, расстояние между нами стало сокращаться, вскоре мы поравнялись и пошли голова в голову. Мы с Сауле тяжело дышали, а черный дьявол и его хозяйка выглядели так, будто только что выехали из конюшни. Незнакомка опять принялась одаривать меня обворожительными улыбками. Я же глядел, все больше, на ее правую руку, сжимающую камчу. Но недоглядел. Она успела хлестнуть меня по левому уху прежде, чем я схватил и сжал ее кисть так, что камча упала на землю. Незнакомка вырвалась и пустилась от меня быстрым галопом. Я усмехнулся и вынул из седельной сумки шпоры. Хрен с ней, с элегантностью. Мы будем быстрыми.

Я нагнал ее минут через двадцать, грубо схватил за жилетку и притянул к себе. Вот чего я не ожидал, так это того, что она ответит на поцелуй залитого кровью, соплями и слезами, потного вонючего джигита. Но она ответила, ответила страстно, показывая, что готова на все. Все ее тело было готово. Хочется добавить «как будто ждало меня всю жизнь», но ощущение было и вправду близкое к этому.

Принц смотрел только на нее и обращался только к ней. Я уже было собрался пожелать ему приятного продолжения вечера и откланяться, но от этого вопиющего *pas faux* [\[5\]](#) меня спас дедушка Илья. При его появлении Чингиз из принца враз превратился в пажа.

— Илья Абрамович! Дорогой Илья Абрамович! Хорошо ли вы проводите время?

— У этих болванов закончился кальвадос! — прорычал дедушка Илья и шагнул ко мне.

— Какой позор! — воскликнул Чингиз. — Я велю посадить бармена на кол... Что такое? Вы обнимаетесь? Вы знакомы?

— Вот уже тридцать три года, — засвидетельствовал дедушка Илья и достал сигару. — Мартын, когда во время нашей последней беседы — январь 2001-го, Лондон, не ошибаюсь? — мы коснулись природы случайного, я позволил себе высказать несколько соображений. Сегодня мне хотелось бы вернуться к тогдашним рассуждениям, внося определенные коррективы. Станем рассматривать события, приписывая им эссенциальный или же акцидентальный характер... Чингиз, вам должно быть неинтересно, вы ведь что-то в этом роде уже слышали на моих лекциях в Оксфорде.

— Ничего, Илья Абрамович, я еще раз послушаю, а то кое-что подзабылось, — смиренно ответил принц.

— А юная леди? — заботливо осведомился старый философ. — Ей не будет скучно?

— Ну что вы! — запротестовала Джумаголь. — Я страсть как хочу послушать про природу случайного!

— Что ж, друзья, лучшей аудитории я не мог бы себе и пожелать.

Дедушка Илья остановил официанта и с необыкновенной ловкостью перенес на свою ладонь весь его поднос, уставленный стаканчиками виски. Сделав глоток и затянувшись сигарой, он продолжил:

— Вопрос о свободе воли относится к той категории философских проблем, которые не имеют решения в замкнутой системе мышления. Под замкнутой я подразумеваю систему, которую этот мздоимец Френсис Бэкон протащил в семнадцатом веке в приличное общество и назвал научным методом. Тогда-то и рвануло человечество вперед. На облегченном интеллекте быстро бегаются. Эмпирически подметили, индуктивно сделали вывод, наварили немножечко знаний. И так потихоньку, потихоньку поднялся шквал прогресса науки и техники. Ай, хорошо! Однажды Роберт Оппенгеймер, отец американской ядерной бомбы и тайный друг советской, явился ко мне в совершеннейшем шоке от встречи с высоким партийным чиновником. «Представляешь, Илья, он сказал, что через двадцать лет в вашей стране все будут учеными! А когда до него дошел чудовищный смысл собственных слов, он поправился: “Ну, может, не совсем все”». Ах, Роберт, Роберт! Я пытался говорить с ним о сущностном познании, но куда там! В те годы они были культурными героями, эти физики. Мужественные парни с красивыми мозгами. Которые брызгами вокруг летели, когда они разбивали себе головы об ими же открытые принципы мироздания. Эйнштейн так и не согласился поверить, что Б-г играет в кости, а остальные по-прежнему делают вид, что наука вскорости решит этот вопрос. Ну-ну! Если учесть, что вся сегодняшняя наука сводится к колебаниям материального поля, черта лысого они в этой мутной водиче словят! А не надо было плевать на алхимию. Не надо было верить дешевым книжкам, перепевающим друг друга из века в век. Давайте посмеемся над тем, какими непроходимыми тупицами были наши предки, и порадуемся своему интеллектуальному превосходству! Спроси сегодня любого так называемого ученого, чем занимались алхимики, и он с уверенностью ответит: «Пытались превратить в золото неблагородные металлы». Если бы это соответствовало действительности, то — да, алхимиков можно было бы считать невежественными химиками прошлого. Но они не золото добывали. Они искали и устанавливали подобия. Они оперировали не элементами, а сущностями. И вот это сущностное мышление осталось сегодня только в искусстве. Как работает художник? Он смотрит на модель и, получив ее образ, переносит на бумагу или на холст. Этот образ, который держит внутри себя художник, — образ, а не сама модель — и есть уже некоторое приближение к сущности модели. Или вот я вам даже проще объясню. Сущность лучшего друга — это то, что вы думаете о нем, не применяя эпитетов. Представили? Ощутили тепло? То-то! Наука изгнала сущности, оставив только факты. Это было первой ересью просвещения. Вторая ересь касается времени. Наука считает его однородным. Почему? Потому что физические законы вчера, сегодня и завтра — одни и те же. Кто бы спорил! Но сущность времени меняется, и, если ее нельзя измерить, это не означает, что от нее следует отмахнуться. Один момент времени не равен другому. Более того: каждый момент времени уникален. Даже сегодня это понимают некоторые люди с развитой интуицией. Про таких говорят: он чувствует момент. Екклезиаст когда-то доходчиво объяснил про время и не-время. Наши невежественные предки всё об этом прекрасно знали, ибо обладали главным, фундаментальным знанием — астрологией. Каждое мгновение окрашено оттенками семи планет, выраженных в одной из двенадцати потенциальностей, в одном из знаков Зодиака. В каждом мгновении, помимо настоящего, содержится и прошлое, и будущее, — и приквел, и сиквел. Люди Нового времени обрекли астрологию на погибель, начав обращаться с ней, как с научной теорией. А когда оказалось, что ее основы не выдерживают экспериментальных проверок, честные, но недалекие ученые заклеили ее лженаукой, а бессовестные шарлатаны начали за дорого продавать глупым обывателям ее дешевый суррогат. Обыватель жаждет чуда, ученый придумывает оправдывающую эксперимент теорию, а мыслитель стремится проникнуть в Б-жественный замысел. Слова рабби Гилеля «все предначертано и право дано» считаются исполненными тайного смысла. Между тем в их смысле нет ничего тайного. Подумайте, почему

союз соединительный, а не противительный — предрешено и право дано? Да потому что это неразрывно происходит — все предрешается и право дается. Здесь нет никаких «или», нет никаких «но». Жизнь человека, судьба его не могут считаться последовательностью причин и следствий, это бред, ничего не объясняющий бред. Но и утверждать, что человек — хозяин своей судьбы, не менее возмутительная благоглупость. Он не хозяин, он — исполнитель, слуга Г-сподний. Все было предрешено, и право было дано. Без предначертанности судьбы не было бы и права, а без права на действие судьба не имела бы смысла. Случайность — вещь в высшей степени увлекательная, достаточно углубиться в теорию эволюции и проследить, как из первичного бульона за какие-нибудь три-четыре миллиарда лет случайными мутациями и отбором получилось существо, способное моделировать само себя. Но мало ли какие еще инструменты, помимо случайности, имеются у Г-спода. Что ж теперь, каждую отвертку принимать за главный жезл творения?

Скажу вам так, друзья: кому суждено умереть на виселице, не утонет в пруду. Да, свобода воли ограничена. Физический мир вообще ограничен, как нетрудно заметить. Но в Своей великой милости Создатель поместил нас в просторном вольере, от стенки до стенки — скачи не доскачешь. Только больной на голову конь скажет, что ему не хватает места. Только больной или подлый человек посмеет жаловаться, что его воле недостает свободы. Будучи частью общего плана, случайность не может быть этому плану помехой. И, кстати, разве не случай свел всех нас здесь, в этом сказочном городе? Впрочем, дав себе труд подумать, мы поймем, что этого не могло не произойти. Лехаим!

* * *

Часы пробили полночь. Уединившись ото всех, мы с дедушкой Ильей сидели на каменной скамье в восточной башне борделя «Терпсихора».

— Луна полная и теперь пойдет на убыль, — сказал дедушка Илья. — Худшее время для принятия важных решений. Между тем жребий брошен, Чингиз уже не передумает. Вы об этом знаете, мой юный друг?

— Догадываюсь, — ответил я. — Мое знание с некоторых пор страдает приблизительностью.

— А вам хотелось бы абсолютного знания?

— Нет. Просто более точного. Когда-то я был к нему близок.

Дедушка Илья достал и раскурил еще одну сигару. Потом уселся на скамью с ногами, опершись спиной о стену, и стал похож на праздного студента. Он выпустил изо рта пять колец и пропустил через них струю дыма, не разрушив ни одного.

— Мой земной путь близок к завершению. Мы видимся в последний раз. Догадались?

У меня перебило дыхание. Но я выдавил:

— Да.

— Я еще немного поболтаю, если вы не против. Забавные вещи приходят в голову на пороге вечности. Нина Берберова закончила свою книгу так: «Ожидание тайн будет приготовлением к последнему, незнакомому опыту, на который я давно дала свое согласие и который не страшен уже по одному тому, что он неминуем». Умная, мужественная женщина. Но вы обратили внимание на эту трогательную проекцию в интересное путешествие, приготовлением к которому будет ожидание тайн? Не ожидание того, что тайна откроется, а предвкушение новых, целой кучи разных тайн. Девочки, Мартын, за то мы их и любим.

Я облизнул пересохшие губы:

— Дедушка Илья, а вы думаете, что тайна откроется?

— Что за вопрос! Конечно! — с готовностью откликнулся старый философ и, наклонив голову, с лукавым прищуром проследил за моей реакцией: — Ага! Купились! Сердце потянулось к чуду? Потому что вы еще молоды. А мое сердце уже почти спокойно. Почти. Иногда я, признаться, все же представляю,

как меня встретит флорентинец и пригласит на свою божественную экскурсию. А я спрошу так невзначай: «Ну что, в третий круг, к чревоугодникам и гурманам?» То-то он удивится моей проницательности!

Дедушка Илья от души расхохотался, и я вдруг начал смеяться вместе с ним. Но мой смех скоро перешел в рыдания. Он не пытался меня утешить, подождал, пока я сам.

— Что ж, пора, — он поднялся на ноги.

Горе душило меня, но все равно в голове билась мысль: неужели он ничего не скажет? Я ждал от него мудрых прощальных слов, эстафеты, которую я когда-нибудь в свой черед тоже передам другим. Он подошел к винтовой лестнице. Снизу послышались быстрые шаги. Кто-то бегом поднимался в башню.

— Это за вами, Мартын, — сообщил дедушка Илья.

— Да-да, за тобой! — подтвердил Лёша Ким. — Пойдем скорее, ты нужен принцу.

— А где Джумагюль?

— В данный момент они с Наташей танцуют на баре.

Дедушка Илья вдруг ахнул и поднес ладонь ко лбу:

— Старый я дурак! Главное забыл сказать: не бойтесь завтрашнего боя, Мартын. Вас должны будут убить, но не убьют. <...>

[1]. *Для чего нужны продюсеры? (ивр.). — Здесь и далее прим. автора.*

[2]. *Треугольные пирожки, начиненные рубленным мясом.*

[3]. *«Свят Он Благословенный» — одно из имен Б-га (ивр.).*

[4]. *Один за всех, и все за одного (фр.).*

[5]. *Ложный шаг (фр.).*

ЛЕХАИМ ИЮНЬ 2012 СИВАН 5772 – 6(242)

ЗАПИСКИ ПОЛЕЗНОГО ЕВРЕЯ

Александр Локшин

Воспоминания кинодокументалиста Бориса Шейнина^[1] прошли, по сути, незамеченными. Оно и понятно: мало ли в наше время издается мемуаров, в том числе с еврейской составляющей? Нелегкое довоенное, военное и послевоенное детство и юность в Белоруссии, в кокандской эвакуации, в Москве; учеба в техникуме и во ВГИКе; трогательный рассказ об удивительной встрече с раненым отцом в одном из госпиталей в годы войны... В появлении подобных книг нет ничего плохого, они помогают восстановить связь поколений, но интересны по преимуществу родственникам и близким мемуариста.



Борис Шейнин. 1985 год

Если воспоминания Шейнина заслуживают отдельного разговора, то прежде всего из-за рассказа автора о его деятельности в Антисионистском комитете советской общественности. Никто из других членов достопамятного комитета воспоминаний об АКСО не оставил и уже едва ли оставит: «иных уж нет, а те далече». А вот Шейнин молодец, не поленился и написал...

Борьба Шейнина с сионизмом началась в период его работы в АПН — в том отделе, который обслуживал зарубежные компании, заказывавшие в Советском Союзе документальные съемки. Незадолго до Шестидневной войны израильская общественная деятельница прокоммунистического толка Маргот Клаузнер заказала АПН фильм о советских евреях (ее слова о фильме, который она считала своим «ребенком» и просила Шейнина во что бы то ни стало «не дать ему умереть», и стали названием книги).

Пригласивший Шейнина для беседы некто Большаков, бывший военный разведчик, переквалифицировавшийся в заводском АПН, доверительно сообщил ему, что «речь вовсе не идет о создании киноагитки, призванной доказывать, что в СССР нет антисемитизма. Нужен, — как сказал он, — честный и правдивый фильм, который покажет зрителю, что на самом деле представляют собой в социальном и человеческом плане евреи в Советском Союзе». Подумать только, так и сказал: «в человеческом»! Шейнин, идя на беседу, готовил себя к тому, что ответит решительным отказом, но, услышав такие речи, сразу согласился. О своем решении, как пишет Шейнин, он «никогда не жалел».

Так началась работа над документальным фильмом, который получил название «Здесь мы родились». Однако вскоре случилась Шестидневная война, и ситуация осложнилась. Чиновники Госкино

присылали на студию указания немедленно прекратить съемки. В ответ Шейнин обращался с письмами в ЦК, убеждая партаппаратчиков, что «в интересах государства объективно показать зарубежным зрителям правду о советских евреях». И всякий раз наш герой удивлялся, «когда кто-то, так и не открывшийся» ему, откликнулся на его обращения и «спускал в Госкино команду о возобновлении» работы. Не иначе то был сам Всевышний! «В данном случае, — не слишком логично заключает мемуарист, — тоталитарная система демонстрировала свои очевидные достоинства».

«Мы, — с гордостью заявляет Шейнин, — были первыми, кто пришел в синагогу с кинокамерой (здесь он неточен, были и предшественники: в архиве кинофотодокументов сохранились кадры Московской хоральной синагоги, снятые в конце 1920-х годов и представляющие ее “гнездом нэпманов и еврейской буржуазии”. — А. Л.), первыми <...> показали еврейских писателей, артистов и музыкантов — носителей национальной культуры. Первыми в советском кино напомнили о трагедии Бабьего Яра. <...> Естественно, создавая в те годы фильм, мы вынуждены были себя в чем-то ограничивать, <...> в глубоком подтексте (? — А. Л.) остался разговор о репрессиях, обрушившихся в послевоенные годы на Еврейский антифашистский комитет, на деятелей национальной культуры».

Работая над фильмом, Шейнин и его товарищи объездили всю страну. «Почти всегда и почти повсюду, — откровенно сообщает он, — нас встречали настороженно. Люди опасались, что фильм станет очередной пропагандистской фальшивкой». Так, артисты еврейского народного театра при Дворце профсоюзов в Вильнюсе — городе, который в то время становился одним из центров борьбы за репатриацию и сохранение еврейской культуры, — попросту отказались участвовать в съемках[2]...

Время от времени мемуарист вспоминает различные эпизоды, касающиеся его еврейского происхождения. Увы, многие из них не добавляют читателю уважения к нему. Родители нашего героя нарекли его Абрамом, но «бытовое» его имя всегда было Борис. В восьмидесятих годах, когда дочери Шейнина настало время получать серпастый-молоткастый, она с удивлением узнала, что «по-настоящему» ее зовут не Мария Борисовна, а — о ужас! — Мария Абрамовна. Решение пришло сразу: отцу надо сменить имя. В ЗАГСе все прошло как по маслу, смена партбилета далась чуть тяжелее (вмешалась некая райкомовская «еврейка из реабилитированных»: «Вы — плохой коммунист. Вы плохо воспитали свою дочь, если она стесняется имени отца»), но чего не сделаешь ради любимой дочери! Все закончилось благополучно: в полку коммунистов на одного Бориса стало больше, на одного Абрама меньше.

Победа Израиля в Шестидневной войне произвела ошеломляющее впечатление на советских евреев. Едва начавшееся движение за выезд в Израиль внезапно становится массовым. Резко изменился образ еврея в общественном сознании: на смену стереотипу робкого и коварного существа пришел «Моше Даян — бог войны». Но изменилась и концепция советской антиссионистской пропаганды, а вместе с ней — консультант фильма. На смену покладистому, но совестливому и знающему Рабиновичу приходит Юрий Иванов — влиятельный инструктор ЦК, автор легендарного антисемитского пасквиля «Осторожно: сионизм!», вышедшего в 1969 году. «Имя Иванова ничего не говорило, — вспоминает Шейнин. — Мы только знали, какую организацию он представляет. Но пройдет всего лишь несколько месяцев, и об Иванове заговорят и у нас, и в Израиле, и во всем мире. Мы ужаснемся, узнав, что наш консультант является автором книги “Осторожно: сионизм!”, которая, подобно разорвавшемуся ядерному заряду, станет облучать нуклидами антисемитизма широкие просторы советской пропаганды». Тем не менее общение Шейнина с Ивановым выливалось в шумные застолья. После одного из них между собутыльниками, возвращавшимися из Дома журналиста, возник такой диалог:

— Вот давеча, когда ты упрекал русский народ за то, что он заставлял евреев водку пить...

— Не говорил я этого.

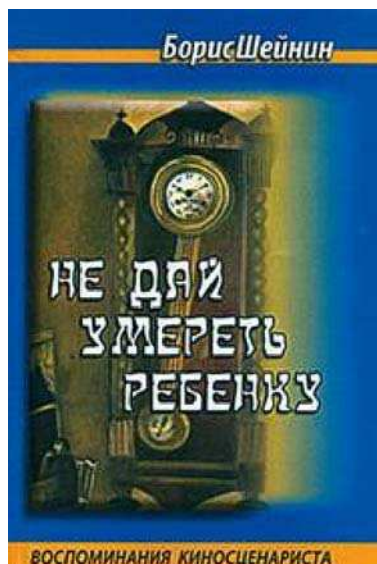
— Так вот давеча, когда ты сказал, я хотел тебе ответить, но не ответил. А теперь скажу. Когда ваш царь Соломон с наложницами развратничал, наши русские мужики еще только квас пили.

«Иванов, — продолжает Шейнин, — заикнулся на своем. И я вдруг понял — он шизофреник».

Но и поняв, в какой компании оказался, Шейнин не оставляет работы над фильмом. В конце концов он был завершён, порезан цензурой и закрыт для просмотра как раз в той стране, в которой

показанные в нем евреи родились и жили. Фильм Шейнина использовали для оболванивания доверчивого зрителя в Штатах, Уругвае, Аргентине...

Чем ближе к нашему времени, тем чаще память изменяет нашему герою. И тогда он начинает «вспоминать» об удивительных происшествиях, оказывается, имевших место в Советском Союзе в самый разгар стагнации: «В полном смысле на пепелищах стали подниматься еврейские театральные коллективы, создавались еврейские культурные центры, открывались еврейские школы. Появились осязаемые признаки изменения отношения и к еврейскому государству».



Одним из признаков либерализации, припоминает Шейнин, стало образование Антисионистского комитета советской общественности. «Этим названием, — туманно пишет автор, — создатели комитета рассчитывали нейтрализовать деятелей, воспитанных на привычных идеологических штампах. Была надежда <...>, что общественность в стране и на Западе будет судить не по его названию, а по его делам». Секретарь ЦК Зимянин, принявший Шейнина и других отцов-основателей АКСО, сказал, что комитет «должен стать местом, куда люди еврейской национальности смогут обратиться, зная, что их поймут и помогут добиться справедливости». «Этакая своеобразная перестройка в отношении к целой этнической группе. <...> Мог ли я не приветствовать такое? Кто знает, не уйди через короткое время из жизни Андропов, который, как сказал нам Зимянин, поддерживает идею создания нашего комитета, возможно, все, что тогда говорилось <...>, было бы реализовано», — комментирует Шейнин. Но в итоге АКСО превратился «в полную противоположность тому, каким он замышлялся и на самом деле был первое время».

Увы, наш мечтатель лукавит. В бумагах, которые он подписывал, изначально не было ничего, свидетельствующего хотя бы о минимальных подвижках в «еврейском вопросе». Рассекреченные еще в начале 1990-х «совершенно секретные» документы доказывают то, в чем и так мало кто сомневался: за созданием АКСО стоял КГБ, а целью всей операции было ослабление эмигрантских настроений среди советских евреев.

Впервые предложение об учреждении подобного комитета прозвучало еще в 1974 году. Однако за исключением проводившихся время от времени антиизраильских пресс-конференций, участники которых получили в народе известность как «дважды евреи Советского Союза», какие-либо шаги в этом направлении не предпринимались до начала 1980-х. Видимо, период детанта был неподходящим временем для возникновения подобных организаций.

Создание АКСО в 1983 году стало реакцией на рост напряженности между США и СССР после советского вторжения в Афганистан и на усиливающееся внутри страны и за рубежом движение за еврейскую эмиграцию, фактически прекращенную советскими властями в 1979 году. Решение об организации АКСО было принято спустя две недели после большого международного форума в Иерусалиме в защиту советских евреев. Вскоре Шейнин вместе с семью другими «лицами еврейской национальности» подписывает обращение, сочиненное в недрах КГБ и Отдела пропаганды ЦК и имевшее гриф «секретно». В нем, в полном соответствии со штампами советского агитпропа, «международный сионизм» объявлялся одним из «ударных отрядов» империализма и осуждалась «безрассудная, авантюристическая» политика

читать лекции в рамках проекта «Эшколот». «Лехаим» воспользовался этой возможностью, чтобы поговорить с профессором о философии и религиозной традиции, гражданской позиции и задачах университетского образования.



נִי־וֹיב עִי־אַעֲבִי Начнем с того, что вы родились в Монтевидео. Как ваши предки там оказались?

יִי־וֹאֵ אֶעֱאָבֹאֵעִי Я жил в Латинской Америке до восьми лет. Мой отец, уроженец Польши, во время второй мировой войны находился в Сибири, а после войны хотел переехать в Израиль. Однако ему не дали сертификата репатрианта, и он отправился в Монтевидео к одному из своих родственников, который еще до войны перебрался в Уругвай. По-видимому, местной общине тогда требовался шохет или раввин, и они пригласили нашего родственника. А мама родилась в Иерусалиме и приехала в Монтевидео, чтобы преподавать иврит. Поэтому дома у нас говорили и на идише, и на иврите. Я также знаю испанский, английский и другие языки, но ближе всего мне иврит. В Израиль мы вернулись в 1966 году, и с тех пор я живу в Иерусалиме. Правда, сейчас также читаю лекции в США и по несколько месяцев провожу в Нью-Йорке, но в остальное время я в Иерусалиме.

נְעֵ То, что ваш отец пережил Холокост, оказало влияние на воспитание детей, на семейные традиции?

יִי־וֹ Да, во многих отношениях. Мой отец рос в типичной ультраортодоксальной хасидской семье, настроенной антиссионистски. Он стал сионистом во время войны, осознав, что евреи вынуждены сами себя защищать и нуждаются в средствах защиты. Так что, во-первых, в семье бытовало стойкое убеждение, что евреи должны сами вершить свою судьбу и нести за нее ответственность. А во-вторых, отцу было всего 13 лет, когда началась война. Он не мог продолжать учебу и еще многого не мог себе позволить. Поэтому, я думаю, для него было столь важно дать нам образование — дать своим детям то, чего сам был лишен. Кроме того, дома чувствовалась глубокая тоска по утраченному, по прекрасной, богатейшей польско-еврейской культуре, по религиозной и политической жизни польского еврейства, которой более не существовало.

סָק Говоря о религиозной жизни — к какому течению вы себя относите?

יִי־וֹ Я бы просто ответил, что я соблюдающий еврей. Мне в принципе не нравится деление на течения и то, как люди определяют себя через них, но можно сказать, что я принадлежу к современному ортодоксальному течению в иудаизме, хожу в миньян «Шира хадаша» и т. д. В юности я учился в ешиве и предполагал, что свяжу свое будущее с этим миром.

נְעֵ Что же побудило вас заняться изучением еврейской философии?

יִי־וֹ С одной стороны, я осознал, что рамки талмудической науки слишком узки для того, чтобы понять еврейскую культуру во всей ее полноте, а с другой — меня сильно притягивала философия как таковая.

С моей точки зрения, любое размышление, предпринятое евреями с целью понять самих себя как евреев, является «еврейской мыслью». Так что не всякий плод еврейского ума — это еврейская философия. Витгенштейн, к примеру, не является еврейским мыслителем. Он был философом еврейского происхождения, но рассуждал не с еврейских позиций, не как еврей. Йосеф-Хаим Бреннер, на мой взгляд, является еврейским мыслителем, а Спиноза мог бы им быть, если бы только хотел видеть в себе еврея. Не «догма», не априорный набор признаков определяет еврейский характер философии, а подлинная попытка еврейского самопознания и самопонимания. Следовательно, еврейская мысль может быть и атеистической, и «еретической» с точки зрения ортодоксального иудаизма — какой угодно.

NE Каковы ваши личные герменевтические принципы и какие приемы вы используете для анализа текстов?

IO Первый и чрезвычайно важный герменевтический принцип: нужно быть предельно внимательным к факторам, влияющим на интерпретацию источника. Например, когда изучаешь лист Талмуда, сталкиваешься с тем, что поколения амораев одно за другим делают выбор в пользу, казалось бы, совершенно неправдоподобного толкования, прекрасно понимая, что оно противоречит пшат, буквальному смыслу текста. Поэтому всегда нужно спрашивать себя: «Что побудило интерпретатора выбрать столь невероятный вариант прочтения?» Выбор интерпретатора может быть культурно, исторически обусловлен, может диктоваться его системой ценностей или концептуальными представлениями. Как это ни парадоксально, чем большим авторитетом обладает тот или иной текст, тем меньшей устойчивостью обладает его смысл. Канонический текст, по определению, обязан заключать в себе все возможные смыслы и давать ответы на все вопросы, поэтому со временем его значение становится все более гибким и изменчивым.

NE Картина мира современных людей, в том числе ваших студентов, существенно отличается от средневековой, и многие представления кажутся далекими от реальности, нуждаются в «переводе» на более доступный, может быть, более прагматичный язык. Как преодолеть этот разрыв?

IO Преподавание таких дисциплин, как философия, призвано расширить горизонты студентов, обогатить их воображение, а не дублировать картину мира, приводя материал в соответствие с ней. В принципе, эту цель должно преследовать любое образование, и я с большим подозрением отношусь к идее «релевантности» знаний. Чтобы вовлечь студентов в изучение средневековой еврейской мысли, надо поставить перед ними вопрос: «Что беспокоит автора, чем он озабочен? Что ему нужно? К чему он ведет?» Если имеешь дело с серьезным мыслителем, то посредством таких вопросов дойдешь до сути, которая окажется весьма интересной независимо от того, согласен ты с автором или нет. Настоящая философия — это, по словам Пьера Адо, «духовное упражнение», с помощью которого человек пытается разобраться с основными проблемами своего существования, и это наблюдение справедливо для любой эпохи. Не следует «поднимать» или «опускать» текст до уровня студента, следует познакомить студента с миром мыслителя, отправив его вслед за автором на поиски истины.

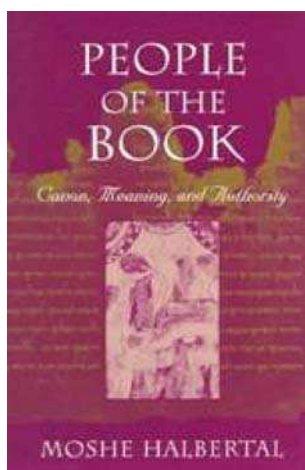
NE А есть ли разница между американскими и израильскими студентами?

MX Американские студенты больше ориентированы на получение профессиональных знаний и навыков. Поступающие в университеты «Лиги плюща» хорошо пишут, дисциплинированы и широко эрудированы. Израильские студенты, как и страна в целом, не отличаются профессионализмом. Лучшие из них учатся на уровне лучших студентов в любой другой точке мира — и в каком-то смысле им повезло оказаться в израильской культурной среде с ее непрофессионализмом и неформальностью, в среде, которая поощряет импровизацию и изобретательность. Но это не подходит обычным студентам, которым для успешного обучения нужны иерархия, дисциплина, определенные навыки. Сильно преувеличивая, можно сказать, что в Америке все читают задание, но молчат, а в Израиле никто не читает, но все высказываются. Кто-то остроумно заметил однажды, что в Израиле нет второсортных людей, есть только первосортные и третьесортные; то же самое можно сказать о студентах.

NE Какой области исследований вы отдаете предпочтение?

IO Диссертацию я писал по Талмуду и мидрашам. Меня интересовал вопрос, в какой степени алахическая интерпретация обуславливается ценностными суждениями законоучителей, каким образом новые взгляды интегрируются в процесс интерпретации канонического текста и определяют содержание закона^[1]. Например, если в Торе сказано, что нужно убить всех жителей города, поклоняющегося идолам, распространяется ли это повеление на детей? Вправе ли интерпретатор сказать, что несправедливо убивать невинных детей, и трактовать стих в соответствии со своим представлением о правосудии?

Меня по-прежнему интересуют талмудические исследования и философия алахи и наряду с ними — история средневековой еврейской мысли и каббалы. Я не согласен с тем, что нужно разделять изучение каббалы и философии. Это единый, взаимосвязанный мир. Я, например, написал работу о Нахманиде, посвященную его алахическим и каббалистическим идеям[2]; в другой моей книге рассматривается проблематика «сокрытия» в средневековой еврейской мысли[3]. Парадоксальным образом, еврейская эзотерическая традиция была средством интеграции внешних влияний в культуру евреев, и моя книга строится вокруг этого. Тайное знание охраняют с особой тщательностью, и в Мишне специально оговаривается, кому и при каких обстоятельствах можно его передать. Однако, по сути, оно становится безграничным. Посредством тайного знания еврейская традиция могла «расширяться», включать в себя новые области — каббалу, философию, астрологию. Вместе с тем эзотеризм позволял сосуществовать совершенно разным мирам, пока они сохраняли свою «секретность». Например, в синагоге Нахманида и среди его учеников встречались самые разные люди: каббалисты, традиционалисты, приверженцы философии — и все они считали друг друга еретиками, но, пока это оставалось секретом, уживались друг с другом. Культурные войны XIII века, полемика вокруг наследия Маймонида и каббалы, в особенности в Провансе[4], стали результатом исчезновения сдерживающего фактора «секретности».



יְהוָה אֱלֹהֵינוּ יְהוָה אֱלֹהֵינוּ «יְהוָה אֱלֹהֵינוּ: עֵאִיף, מִן הַיָּם עַד הַיַּבֵּשׁ». Harvard University Press, 1997

Проблематика секретности и прозрачности сохраняет свое значение и в наше время. Так, эзотеризм Маймонида базировался на одном из платонических постулатов — о том, что политические структуры не могут существовать в атмосфере прозрачности, а если людским массам сообщить правду, наступит конец общественного порядка. В эпоху Просвещения с ее культом Разума концепт «массы» утрачивает актуальность, однако вопрос, в какой степени «миф» является неотъемлемой частью нашей политической жизни, остается. В армии я часто спрашивал себя: если бы обе стороны знали со стопроцентной очевидностью обо всех решениях, которые привели их к военному противостоянию, сколько человек вышли бы на передовую? Мы на самом деле преодолели платоническое представление о взаимоотношениях масс и элит или наш миф состоит в том, что у нас больше нет мифов?

NE Отталкиваясь от темы идолопоклонства[5] в интерпретации Маймонида, вы приходите к проблеме «идолов разума», к проблеме обожествления концепций и идей. Каким «идолом разума», на ваш взгляд, человечество поклоняется сегодня?

I O В каком-то смысле идея организованного, централизованного государства стала предметом такого поклонения в Новое время. Многие в мировой политике XX века были следствием обожествления политических сил и процессов, и множество человеческих жертв было принесено во имя политической власти. Аналогичное явление наблюдается в сфере религии. Например, считается, что и иудеи, и мусульмане утверждают внемирность Б-га и верят, что Храмовая гора в Иерусалиме — это пространство, манифестирующее Его трансцендентность. Однако на деле имеет место фетишизация данной территории, поклонение месту. Некоторые представители обеих религий рассуждают так: «Если это место свято для меня, оно мое», и они готовы принести в жертву целое поколение, чтобы сохранить его в своей собственности.

NE Вы часто публично выступаете в защиту либеральных ценностей, мультикультурализма, в защиту еврейского демократического государства. Тем временем на Западе многие евреи и неевреи

выступают с резкой критикой Израиля, устраивают бойкоты израильской продукции, выступлений израильских артистов и т. п.

10 Следует отличать несогласие с современной израильской политикой по тем или иным вопросам, которые имеют место и внутри самого израильского общества, от отказа Израилю в праве на существование. Меня тревожат именно попытки сделать из Израиля государство-парии и лишить его легитимности. Западные критики Израиля представляют его оплотом колониализма и национализма, как если бы государства Европы не были, по большому счету, национальными, а Европейский союз не противился, например, попыткам Турции присоединиться к нему. Такое отношение к Израилю несправедливо и исторически не оправдано, равно как и уподобление сионизма колониализму. Колониализм отличают два принципиальных момента: во-первых, государство распространяет свои границы на территорию, которая ему не принадлежала; во-вторых, оно отчуждает экономические излишки в свою пользу. У евреев не было государства, зато имелась глубокая историческая связь с землей, на которой оно было создано, и сионисты сами добивались экономического роста, а не отнимали прибыль у нееврейского населения. Так что здесь мы имеем дело с переносом на Израиль чувства вины за собственную колониальную политику.

Это не значит, что в Израиле нет проблем. В самом факте наличия у евреев государства я вижу важнейший духовный вызов иудаизму, и на этот вызов еще не был дан адекватный окончательный ответ. Я не хочу, чтобы государство диктовало нам, как соблюдать шабат и т. д., — иначе страдает не только демократия, но и иудаизм. Слияние религии и государства в Израиле разлагает религию изнутри, настраивает против нее множество граждан. Приведу частный пример: в районе, где я живу, работает очень хороший раввин, но его мало кто знает, так как он был назначен на должность государством и не является органичной частью общины. Принципиально важно, чтобы в иудаизме утвердился принцип, провозглашенный Джоном Локком в «Послании о веротерпимости»: религиозное деяние, совершаемое не по внутреннему убеждению, лишено религиозного содержания. И если государство заставит всех евреев соблюдать шабат, это не будет являться соблюдением шабата, а будет принудительным выполнением государственного приказа. Свобода не угрожает религии, так как подлинная религия может существовать только в условиях свободы, и в истории еврейской культуры были и есть люди, отстаивающие эту идею, не в последнюю очередь Моисей Мендельсон. Но сможет ли иудаизм преодолеть соблазн воспользоваться аппаратом государственного принуждения с целью навязать себя? Если нет, то, по моему глубокому убеждению, это уничтожит и иудаизм, и Израиль.

Современная еврейская идентичность начиная с XIX века буквально разрывается между двумя определениями еврейства. Одно, национальное, видит еврейство, прежде всего, как солидарность, готовность разделить судьбу и внести свой вклад в благосостояние еврейского народа, и это разительно отличается от существовавшего прежде определения еврея как человека, который принадлежит к нормативной религиозной традиции и соблюдает заповеди. Еврейское государство — это выражение современного еврейского национализма, и с данной точки зрения главным критерием должна быть именно солидарность. Чтобы ощутить реальность и глубину этого разрыва, достаточно вспомнить случай со Львом Пейсаховым, израильским солдатом русского происхождения. Он погиб и должен был быть похоронен на военном кладбище, но его мать не была еврейкой. Думаю, для многих израильтян, стоящих на позициях национальной модели идентичности, этот молодой человек был евреем, независимо от того, что говорит об этом «Шульхан арух». Он приехал в Израиль, чтобы разделить судьбу еврейского народа, и пожертвовал самым дорогим — своей жизнью — ради своего народа.

У этой проблемы есть еще один важный аспект. Если идея Закона о возвращении состоит в том, чтобы все евреи чувствовали себя в Израиле как дома, то, когда речь заходит об обращении в иудаизм, признание государством только ортодоксальных гиноров выглядит совершенно нелепо, поскольку отчуждает от Израиля евреев, принадлежащих к реформированному и консервативному течениям. Попытка отстранить две трети еврейского населения планеты как чужестранцев обречена на провал. Для государства приоритетными должны быть солидарность и всеохватность, а вопрос о сущности иудаизма не в его компетенции.

Еще одна проблема — это отношение к нееврейскому меньшинству в Израиле. В свое время это была реакция на преследования евреев, но пользоваться языком «слабого» теперь, находясь в позиции «сильного», очень опасная игра. Когда мы сами были таким меньшинством, мы добивались уважения и самоопределения, в которых сейчас отказываем другим. За свою жизнь я не раз становился свидетелем того, как любое злодеяние можно оправдать с помощью библейского стиха, цитаты из Талмуда или другого авторитетного источника. Но в еврейской традиции также есть голоса, которые говорят нам, что исключительность евреев состоит не в превосходстве над остальными, а в том, как мы предстаем перед Б-

спросил, как я отнесусь, если обо мне расскажут Эренбургу. Я ответила, что мнение такого лаконично-мудрого человека для меня очень важно.

Тогда два старика — Хавкин и Павел Лавут, работавший в Союзе писателей, некогда сопровождавший Маяковского в поездках по стране, — пошли с моим письмом к Эренбургу. Тот хмыкнул, прочитав про лаконично-мудрого, но попросил, чтобы я привезла дневник. На тот момент у меня был только еврейский вариант, для вильнюсского издательства я перевела дневник на литовский. Мне и в голову не приходило, что возможна публикация на русском. И вот я взяла отпуск и за три недели сделала перевод. Себя переводить несложно — ни у кого претензий нет. Пришла я к Илье Григорьевичу с Хавкиным и Лавутом, он хорошо нас принял, сказал, что занят и не сможет быстро прочитать рукопись, но не успела я вернуться на работу, как на шестой день получила от него письмо. Он сообщил, что прочитал текст не отрываясь и просил держать его в курсе дел.

А дела были неважные: рукопись рецензировал Институт истории партии, она лежала там уже год. С точки зрения цензуры, главный недостаток книги был в том, что она написана с внеклассовых позиций. А я в четырнадцать лет не знала таких слов, как «буржуазный националист». Именно так надо было характеризовать председателя Вильнюсского гетто Генса. Одни его хвалили, другие ругали. Он считал, что надо работать и приносить немцам пользу, тогда они ничего плохого нам не сделают. Говорил, что не надо связываться с партизанами. А кто-то утверждает, что он им помогал.

Замечаний по тексту было много. Например, слово «немец» писать нельзя, только «фашист». Я думала, что нет надежды на публикацию, но работавший в этом издательстве Дмитрий Гельпернас — мы делали вид, что незнакомы, — посоветовал переделать «немцев» в «фашистов» (что я и сделала за ночь). Кстати, расстреливали литовские предатели, а немцы только руководили. Что касается других замечаний, то рецензент так отреагировал на мою фразу «Скорей бы зима, тогда Гитлеру конец»: «Неужели автор не понимает, что Гитлера победила не зима, а героизм советских людей?..» В общем, из-за этой публикации выпили у меня ведро крови.

АЕ А на иврите вы не говорите?

ИД Нет. В гетто мы готовили на иврите Девятую симфонию Бетховена, у нас было два хора (один пел на идише, другой на иврите) и оркестр. Ноты достали люди из филармонии. Гита, с которой я работала на огородах, перевела для меня содержание четвертой части симфонии — оду Шиллера «К радости». Я ее записала, и мы распевали, что все люди — братья. Но официально исполнить не успели, потому что гетто ликвидировали...

АЕ В Литинститут вы по дневнику поступали?

ИД Нет, я про него даже не упомянула — это было рискованно, могло даже стать поводом для отказа в приеме, — а прислала на конкурс современную пьесу для самодеятельности... Папа был против Литинститута. Врачи предупредили: на стипендии меня ждет полуголодное существование, а значит, неизбежен туберкулез. Папа сказал: «Иди на журналистику», я: «Ни за что! Сидеть целый день на заводе, слушать производственные совещания и написать пять строчек о том, кто взял какие сообразительности». «Тогда поступай на иностранное». «Что? Всю жизнь учить спряжения и склонения? Неинтересно».

АЕ Что бы вы назвали главными событиями своей жизни?

ИД Из траурных — то, что попала в гетто, потеряла маму, сестренку и братика. Из хороших — что нашелся отец и старшая сестра, что вышла замуж, что приняли в Союз писателей, что книжку опубликовали. Недавно на немецком вышло ее пятое издание — карманное, для студентов. А одно из предыдущих издало под грифом «Мужественные женщины Третьего рейха». Почему так — не знаю, я не женщина Третьего рейха.

АЕ Вы недавно сделали русские подстрочники своих стихов, написанных в войну...

ИД Я долго сидела над переводом «Штрасденгофского гимна». Мы должны были петь, что были господами мира, а теперь вши мира, а я сочинила, что мы, штрасденгофские евреи, строим новую Европу, работа у нас разная, но бед много.

Но самое страшное из написанного мной в гетто — это стихотворения «Расстрел в лесу» и «Смейся, дьявол, смейся». Я шла в гетто и потерялась, и пока блуждала по дворам в поисках мамы, у меня сложилось стихотворение. Вот оно в моем подстрочном переводе с идиша:

*Ni aeyt, auyate, m aeyt,
A narai auyateureti i'leada
I am aaeity
Iaa :aeitaa: ayei e no daaai eyi e,
Eade e caai e narai e oaiyi e.
Etana ou i'li -eouiy a narai i'leada—
Ni dae ni aiyi i'p aeitaa
Oedaee o daaai ea oeuiaee
Aiqm e i adaaia oaei aaiaee,
Oioaeue i adaei'neee i'ea:
I'neaa oia,
eae iia i'noaeaii aax daaai ea, iai a,
E'aita oai'eta naaa:ei i eaaai oa,
E'ioi'otaa caaa:ee, neitai i'neio'ei o
Aiqm e oea o'etiai'op o'ee
Naaee ec'yo'itaa i aeai ueia ec'ay'iea
Etana i'li -eouiy, neitai i'aa'aa
Iaa daeai e e'ada i' auno'oi,
Aiqm e yo' i ec'ay'iea
Yo'itaa ne'aa'aaey' eam i' adaaia
E i -e'iaai' a'no'ani'ei
Iaa i'eyi e, daeai e, eam e.
E'io'oua o'aitai m'aa'ne'ue'oi'iy,
Eae ee'et'ee:oo i'ioy'neax.*

Откуда только у четырнадцатилетнего ребенка берется такая мистика?!

ЛЕХАИМ ИЮНЬ 2012 СИВАН 5772 – 6(242)

СКАЖИ МНЕ, КТО ТВОЙ РЕДАКТОР...

I' eade Yaa'ee'oo'aei

*I'ape'ieuei i'ay'oaai a'nao e ia' aoi'aa' i'ot'ae'aa'oo'iy' ae'ne'oi'ey' a'edaa' ae'na'oo'oe e
Ae'aa'ei eda I'aa'e'ne'ia'. Eaitaa m'au'oe e' aeda'oo'aa' o'ae'iaa. Aai'oo'ao'-aa'e'i'io'it' m' I'aa'e'ne'ee, ec'aa'io'iu e
i'oa'aa' aa'ia' eae' aa'oi'd' aa'iu a' i'io'ey'd'ie' na'ee «I' eou' i' Di'ne'» (ca' :aou'da' aa'aa' a' i'ae' ai'oe'i'
i'le'oi'da' aa'yo'ea' ei'ea' m'ae'oi'iu e' o'eda'ae' ei'oi'd'io' m'no'aa'ey'ao' i'et'et' i'le'oi' ee'ee'ia' ye'ca' i'ey'oi'a), aa'
I'aa'aa' ca'ue'oe e' a'le'oi'd'ne'op, i'na'yu'ia'i'io'p' e'ede'oe'ea' m' :e'ia'ie e' ca'ia'ait'uo' ae'q'eo'ad'ia' i' I'ne'ia'ee XVI-
XVII' aa'et'a' I'ot'oa'ne'ia'ae'ui'ia' m'ia'ua'io'at' ei'ee'aa'p' ia' i'oe'ca'et' : I'aa'e'ne'ia' i'aa'e'ie e' a'ie'aa'oo'aa' a'
o'ae'oe' :a'ne'eo' ey'iaa', a' i'ai'ot'oa'ne'ia'ae'ui'ie' da'ait'oa' n' en'oi' :ie'ee'ai' e. Ia' ca'ue'oe' o' i'ia'ot'ae'aa'ii'ia'
a'le'oi'da' aa'na'e' o'ya' ae'aa'aa' e' :a'ne'eo' o'oi'ee'ee'ia'ad'ia' aa' ae'aa'aa' n' :e'ae'ie'oi' DA'I' A'i'aa'aa' Na'oo'ot'aa'ii,
i'ne'aa'ia'ae' i'ai' ai' ad'i' ee'i e' ca'ya'ae'ai'ey'i e' e' i'oe'ou'ou'i e' i'ee'nu' ai' e.*

Я не заглядывал в диссертацию Мединского и лишь бегло листал одну-две его книжки. Мне вполне достаточно того, что научным редактором «Мифов о России» был доктор философских наук Андрей Буровский. В благодарность за помощь Мединский несколько лет пиарил Буровского, называл «замечательным историком» и водил за собой по радиостанциям. Потом любовь прошла, Буровский был

отставлен и в отместку запустил книжную серию «Анти-Мединский». Но его роль в написании книг Мединского от этого меньше не стала.

Кто же такой Андрей Буровский? В девичестве специалист по палеолиту Енисея, он с 2000 года принялся десятками выпускать книги на самые разные темы: от боевиков из сибирской жизни до сочинений о науке антропозософии, им же самим придуманной. Предмет особого интереса Буровского составляют евреи, которым посвящено с полдюжины его книг. Открываем первый попавшийся том на первой попавшейся странице. Анна Ахматова — «еврейка наполовину». Константин Симонов — «еврей по отцу». Юрий Герман — просто еврей, без уточнений. (Любопытно, что цитируемая книга называется «Евреи, которых не было»; чистая правда, не было таких евреев.) Художественный авангард придумали евреи Малевич и Кандинский: «Очень забавно, что под конец жизни, уже в Париже, Кандинский прикладывал титанические усилия, чтобы не считаться “русским художником”, а его все равно считали русским. Как он ни орал устно и письменно: мол, еврей я! еврей! — в глазах французов он оставался русским, и все тут». Действительно забавно: бегает потомок тунгусских и мансийских князей по Парижу и орет: «Я еврей!» А ему почему-то никто не верит.

Квитко, Маркиш, Фефер, Гиршбейн и Шолом Аш — это такие русскоязычные писатели, которых никто не читал за бездарностью. В 1938 году закрыли «еврейский театр Мейерхольда» (ну, этого в евреи записали еще дореволюционные антисемиты), а также «пересажали и перестреляли еврейских писателей, пишущих на идиш и на иврите». В 1948 году «убили нескольких деятелей еврейской культуры, включая Переца и Михоэлса». Кто такой Перец? А это тот самый Перец Маркиш, который чуть выше был включен в число русскоязычных бездарей. Просто Буровский раздвоил одного поэта на двух — русского и еврейского. Кстати, Маркиша расстреляли в 1952-м. Лидия Тимашук, по мнению автора, погибла в подстроенной автокатастрофе сразу после начала «дела врачей» (в действительности благополучно дожила до 1983 года).

Но это про евреев и примкнувшую к ним Тимашук. Может, с подлинно русскими гениями дела обстоят лучше? Читаем дальше. Буровский пугает год рождения Николая Гумилева. Он уверен, что Георгий Иванов в стихотворении «Теперь тебя не уничтожат, / Как тот безумный вождь мечтал» приветствует переход от раннесоветской русофобии к сталинскому патриотизму. Одна загвоздка: «В тексте имя вождя не названо; имел ли Иванов в виду Ленина или Троцкого — не знаю». Увы и ах, Иванов имел в виду Гитлера, стишок про другое.

Или вот о самом любимом прозаике, многократно противопоставленном всем евреям, от Шолом-Алейхема до Бабеля и обратно: в 1920-х годах «в России живет Михаил Булгаков. Никто не знает еще о “Мастере и Маргарите”, но ведь опубликованы “Роковые яйца” и “Собачье сердце”, “Белая гвардия” и “Бег”, ставились в театре “Дни Турбиных”». И где же, любопытно, были опубликованы при жизни автора «Бег» и «Собачье сердце»? Да и «Белая гвардия» полностью вышла на родине лишь через четверть века после смерти писателя...

Напоследок цитата из Мединского, где он перечисляет авторитетных для него авторов: «Карамзин, Ключевский, Соловьев, Буровский, Бушков...» Нет уж, либо история с Ключевским и Соловьевым, либо «Мифы о России» с Буровским и Бушковым.

ЛЕХАИМ ИЮНЬ 2012 СИВАН 5772 – 6(242)
НАША КНИЖНАЯ ПОЛКА

МЫ И НАША ПАМЯТЬ

Ханна Кралль

Опередить Г-спода Б-га

Пер. с польск. К. Старосельской
М.: Текст; Книжники, 2011. — 160 с. (Серия «Проза еврейской жизни».)



Марека Эдельмана долго представлять не нужно: последний или, лучше сказать, единственный выживший из руководителей восстания в Варшавском гетто. Книга польской журналистки Ханны Кралль построена как серия бесед с ним, диалогов и монологов. Но язык не повернется назвать ее, как обычно говорят про книги подобного содержания, «документальным свидетельством мужества и героизма». Автор воспроизводит на бумаге всю свойственную живой речи сумбуренность, перемежает и без того не слишком объемное повествование не относящимися, казалось бы, к делу историями из послевоенной медицинской практики Эдельмана. Но самое главное — она решительно сохраняет все «дегероизирующие» тех людей и те события подробности.

Книга Кралль — это не просто хроника событий, но и великолепный литературный текст. Она говорит о самом главном — о жизни и смерти. Отсюда и «медицинские» вставки: что жизнь и смерть значили в Варшавском гетто и что в мирной жизни, возле операционного стола? Каково это — «распределять» жизнь и смерть, решать, кому жить, а кому умереть? Как на это решиться и как жить после этого? Смерть как личный акт и как демонстрация. Смерть как удачный выход, как шанс избежать чего-то еще более страшного — это не пируэт философствования, а простая бытовая проблема, с которой постоянно имели дело там, в гетто. Отсюда вечное нежелание тех, кто пережил гетто, вспоминать об этом, отсюда и звучащее постоянным рефреном раздраженное эдельмановское «Да какое это имеет значение?» — всякий раз, когда он беседует с журналистами, историками, функционерами еврейских организаций, и они пытаются рассуждать с привычных, логичных, «правильных» позиций.

Говорят, есть исследования, по результатам которых выходит, что главный фактор, объединяющий всех евреев, — это память о Катастрофе. Честно говоря, не верю. Мне кажется, мы стараемся забыть даже то, чего никогда не знали. Но прочтите эту жестокую и прекрасную книгу. Может быть, дымное дыхание паровозов на Умшлагплац, смрад подземных каналов, запах крови и пороха заставят нас уйти от привычных ярлыков и формул и задуматься над тем, о чем мы обычно пытаемся не думать.

Ī ēōāēē Ēērēēī

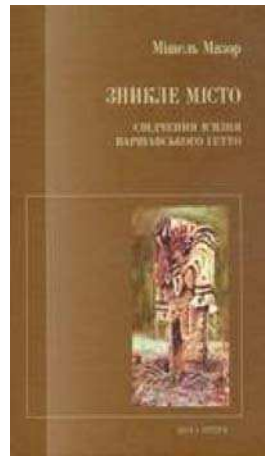
ИРРЕАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ГОРОДА СМЕРТИ

Ī ēōāēēī Ī ācīō

Ī ēēēā ī ĩōōī. Nāāā-āī īy ā'yūcīy āāōōāāīēīāā āāōōī («Ēīī-ācī ūōēē āāōīā Nāēāāōōāāīōōāā ācī ēēā āāōōāāīēīā āāōōī»)

Ī ā ūēō. ūc.

Ēēāā: Āōō³ ē'ōāāā, 2010 — 240 ū



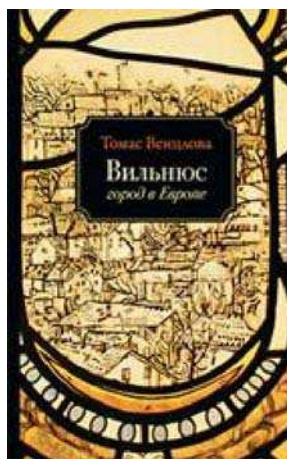
Существует мнение, что самые честные свидетельства о Холокосте оставили те, кто его не пережил. Мол, уцелевшие в своих эмоциональных интерпретациях прошлого неизбежно субъективны... К племяннику Шолом-Алейхема Мишелю Мазору это едва ли относится. Его суждения взвешенны, упреки аргументированны, смягчающие обстоятельства прописаны детально — недаром автор в послевоенные годы входил в правление Союза русских адвокатов во Франции.

А тогда, в начале 1940-х, президент Центральной комиссии жилищных комитетов варшавского гетто Мазор стоял в оппозиции к юденрату, который в книге он обвиняет во многих грехах: крышевании еврейской полиции (читай — банды гангстеров), тотальной коррупции, но главное — в преступном равнодушии к наиболее обездоленным членам общины. Своеобразный парламент гетто, жилищные комитеты формировались в каждом многоквартирном доме, где на общем собрании избирали президента, секретаря, казначея. Для решения внутренних конфликтов созывался арбитражный суд — люди, жившие в кафкианской атмосфере, сохраняли базовые ценности привычного миропорядка. Однажды Мазора упрекнули: мол, негоже играть в английский парламент. «Вы правы, — ответил адвокат, — в какой-то степени это игра, но я предпочитаю ее игре в тоталитаризм».

Все попытки юденрата прибрать комитеты к рукам наталкивались на сопротивление жильцов. Не действовала даже излюбленная ссылка — на «категоричные требования» (как правило, выдуманные) немцев. Тем не менее реальная власть (в отпущенных немцами пределах) была у юденрата, провозгласившего принцип «свободной игры экономических сил». На главном проспекте гетто — улице Лешно — сверкали вывески двух десятков ресторанов. Интерьеры «Штуки», «Сплендида», «Негреско» были исполнены с исключительным вкусом, меню разнообразно, витрины с вином и холодными закусками соблазнительны. Одно плохо — перед этими роскошными витринами падали в голодные обмороки многочисленные нищие. Проще всего было бы закрыть рестораны — правда, резонно замечает автор, это не уменьшило бы количества голодных. К тому же там возникала иллюзия нормальной жизни — а в городе, который немцы считали кладбищем, это было своеобразной формой протеста. Однако социальный разрыв надо было как-то сокращать, и после длительных размышлений юденрат постановил: 10% от суммы каждого счета отчислять на социальную помощь. Но собирались эти деньги под присмотром агентов юденрата, как правило, весьма чутких к материальным аргументам рестораторов.

Социальная деятельность жилищных комитетов была более прозрачна. С каждого взимался ежемесячный налог, а президент комитета, человек очень состоятельный, лично помогал нуждающимся. По вечерам работал буфет, люди за столиками баловались картами. Игроки платили процент от выигрыша в пользу комитета, выручка буфета шла в тот же фонд.

Тем не менее нищета, тиф и голод процветали на фоне мегаломании еврейских органов власти, которую автор считает побочным продуктом комплекса неполноценности — комплекса, выработанного у польских евреев в 1930-х годах, когда им был закрыт путь на все должности (вплоть до консьержа или водителя трамвая), предполагавшие общение с широкими слоями населения. Поэтому упоение высокими постами у функционеров гетто приобретало отвратительно-гротескные формы — и чем в более антисемитской среде вращались до войны господа из юденрата, тем острее была потребность придушить в себе многолетние комплексы. Адвокатская коллегия в Польше отличалась радикальнейшим, в предвоенные годы — почти гитлеровским антисемитизмом, и именно молодые адвокаты стали основой еврейской полиции. Мазор вспоминает одну из облав, которой руководил адвокат Л., — на нем были желтые ботинки, элегантный френч, а в руке, пытаясь имитировать эсэсовца, он держал стек. Л., как и его жертвы, позднее погиб в лагере Понятув.



Томас Венцлова написал историю Вильнюса: от Ромула до наших дней. Местным Ромулом был не то Миндовг, не то Гедимин. Не обошлось и без стоящего у истоков мифа волка — правда, это был все-таки волк, а не волчица.

История многонационального города — с литовцами, поляками, белорусами, татарами, караимами, русскими, евреями. Среди русских Курбский и Бахтин. Среди поляков Мицкевич, Пилсудский, Дзержинский.

«Окраина и пограничье, эксцентричный, капризный, неправильный город со странным прошлым, нарушающим законы логики и вероятности». Венцлова — обаятельный рассказчик, книга, в сущности, и о нем тоже: рассказ всегда свидетельствует о рассказчике, даже когда тот предпочитает держаться в стороне. Венцлова проживает историю, делает ее частью внутренней жизни.

Его книга больше, чем о Вильнюсе: он выстраивает гуманистический образ европейского города и мира — с его многообразием, гетероглоссией, открытостью, культурной благожелательностью, культурным любопытством, взаимным культурным влиянием. Венцлова ощущает себя естественным наследником истории, вклад в которую внесли разные народы. Пишет с трезвостью, не оставляющей места национальной мифологии, с нежностью, с улыбкой, с болью — с болью, когда речь идет о понарских стрелках и не только о них.

Иерусалим де Лита, Литовский Иерусалим, город Гаона, один из главных центров еврейской цивилизации в Восточной Европе. «Несколько столетий половину, а иногда и больше половины населения города составляли евреи». Евреи присутствуют на страницах книги Венцловы и в больших, посвященных только им фрагментах, и упоминаемые по случаю, вроде: «Жена Достоевского прежде всего заметила на улицах евреек в желтых и красных шалях».

Перевод сохранил живую интонацию автора. Хочется цитировать и цитировать. Ограничусь одним фрагментом. Ему предшествует описание еврейского, теперь уже существующего только в исторической памяти, Вильнюса. Мельком упоминаемый Страшун, именем которого был назван переулочек, переименованный в советские годы, — Матитьяу Страшун, основатель самой большой еврейской библиотеки Вильнюса, где хранились инкунабулы и бесценные рукописи.

Мои родители застали еще еврейский район в центре Вильнюса, не изменившийся с шестнадцатого или семнадцатого века. Я же видел другое. В начале нацистской оккупации мне было пять лет, и однажды я встретил мужчину, к рукаву которого была пришита шестиконечная звезда. Я шел с мамой: она с этим человеком поздоровалась, он ответил кивком, а я спросил ее, что такая звезда означает. «Он еврей, — отвечала она, — евреям приказали ее носить». Только после войны она мне рассказала, как была арестована — новая власть заподозрила, что она еврейка, а это означало расстрел. Маме удалось спастись, когда ее бывший учитель засвидетельствовал, что она литовка и католичка (и одно и другое — правда). Тогда, после войны, я ходил в школу. Дорога туда пролегла по району ужасающих развалин, в центре которых торчал скелет колоссального белого здания с остатками пилястров и арок. Это было все, что осталось от еврейского Вильнюса. К тому времени, когда я узнал, что белое здание — бывшая Большая синагога, ее уже снесли, поскольку советская власть не одобряла иудаизма, как, впрочем, и всех остальных религий. Евреи лежали в безымянных ямах меж сосен предместья Панеряй (Понары), один-другой еще был в Вильнюсе, но большинство оказалось за границей, в том числе и в настоящем Иерусалиме. Развалины

квартала стали пустырями, о прошлом которых долго никто не говорил. Остался переулок Страшуна, очень запущенный и, конечно, переименованный. Сегодня, когда счистили краску с его стен, в нескольких местах под окнами проступили еврейские буквы, подобные тонкому рисунку голых ветвей.

Так заканчивается первая глава «Страна и город». Эпизод, увиденный глазами маленького мальчика. Непонятый. Странный. С уклончивым, недосказанным «приказали». С невидимой мальчику пропастью. Потом глазами школьника. Синагоги нет уже — развалины, но ты не знаешь, что за развалины, а когда узнаешь, уже нет и их, вообще ничего нет. Как бы и не было. И потом — глазами взрослого человека. С понарскими соснами. Текст как притча о прошлом. В какой-то момент счищают краску, и из небытия появляются буквы, подобные тонкому рисунку голых ветвей. Водяной знак Вильнюса.

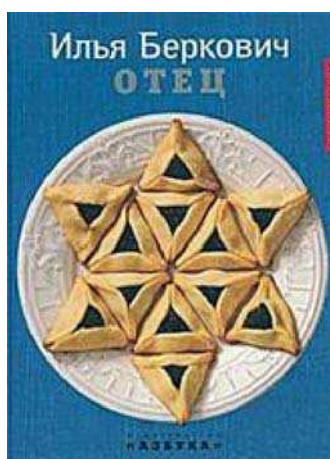
Ī ēōāēē Āīōāēēē

Ī Ī Ī Ī Ū Ī Ē Ē Ā Ē Ē Ā Ō Ō Ē Ē Ō Ā Ē Ā

Ē ē ū Ā ā ō ē ĩ ā ē ÷

Ī ō ā ō

Ū Ī ā: Ā ō ā ō ē ā, 2011. — 240 ū



Каменский Ребе видит нестроение среди хасидов городка, «сидящего, как воробей, на холке Иудейских гор», и шлет туда ученика своего Ехиэля. Дорога от города Камень Могилевской области до пункта назначения далека, но кони несут посланника со сказочной скоростью, легко перелетая даже через Черное море: «Рванулись с берега и слились в одного коня над зонтами пляжа, над глинистым дном, над поплавками и развалисто пашущим уже синюю, серьезную воду катером»...

Такова экспозиция романа Ильи Берковича «Отец». Или повести — так жанр обозначен при первой публикации в «Иерусалимском журнале» (2008. № 26). Беркович — израильский поэт и прозаик, родом из Ленинграда, автор трех книг стихов, изданных в Москве, Иерусалиме и Петербурге.

В стихах Берковича мы сталкиваемся с началом мистическим и одновременно — с вроде бы снижающим бытовым гиперреализмом, приобретающим, однако, метафорический характер и тоже отсылающим к основам веры: «Как отделяет Тора строчкой от шерсти лен, / Проволокой забора склон горы разделен. / Утром бросаешь мусор в гулкий зеленый бак — / А на газоне гости — свора ночных собак. / То ли пять, то ли сонмы: цвет и характер стерт, / С пристальным, полусонным голодом вместо морд. / Ночью в квартале близком, как от уха щека, / Лай кончается визгом — стая рвет жоака».

Этот же своеобразный герменевтический круг свойственен и прозе Берковича. «Отец», начинающийся сказочным полетом посланника Каменского Ребе, в сущности, наполнен сугубо психологическим анализом. Беркович сплетает сюжет — даже не столько сюжет, сколько просто событийную канву текста — из самых разных судеб людей, так или иначе осевших в городке в Иудейских горах:

Кто только к нам ни приходит. Сапожник из Житомира, не бывавший в синагоге тридцать лет, приходит прочесть заупокойную молитву по убитому позавчера сыну и заодно благословляет молящихся, потому что он — потомок храмовых священников. Вместе с ним благословляют нас Коган из Сормова и стотрехлетний Козн — его приводит седой внук... Неместный человек в коротких брюках кричит «амен» таким страшным голосом, что черная шляпа падает на пол с гвоздя, и так восемь раз... Приходят, распространяя запах копченых кур, Бней-Менаше, полуиндусы-полукитайцы из североиндийского штата Мизорам... Приходят гости из Бруклина и их потрясающие румяные дети... Приходит Меир, еврейский Иванушка-дурачок, точнее — Абрамушка-дурачок, маленький жилистый мужичок с огромным носом, в цветной тюбетейке, с тяжелыми золотыми перстнями на пальцах разнорабочего... И так далее.

Это всё посетители синагоги. Но есть и сторонники агрессивного лежеучителя-вундеркинда, и у каждого из них тоже необычные свойства и необыкновенная судьба. Конфликт кажется сугубо реалистическим. Но — Б-жественное чудо мерцает за этими историями, и дело отнюдь не в летающих конях, не в рассказах ветерана о чудесном спасении.

Язык хасидской притчи счастливо совпадает у Берковича с традициями магического (или, если угодно, фантастического) реализма — что вроде бы лежит на поверхности (вот и Людмила Улицкая пишет о том в рекламной заметке на обложке книги). Но на деле все не так просто. Мир магического реализма — латиноамериканского, восточноевропейского, еврейского (в конце концов, не только Маркес, но и Агнон — классик этого способа письма) — мир параллельных событий, сплетающихся воедино, мир совершенной целостности, проступающей сквозь узоры отдельных событий. Не механическое воспроизведение бытия,

как в натурализме, не агрессивный детерминизм критического реализма, но и не произвольность абсурда — некое понимание связи всего со всем на мета-уровне.

Специфика хасидского магического реализма — не только в концентрации притчевого начала, что характерно для всяких мета-нарративов. Здесь важна роль учителя, ребе, цадика — проводника Божественного единства. Мартин Бубер писал: «Требуется помощник, помощник и для души, и для тела, как в небесных, так и в земных делах. Таким помощником и является цадик. Он способен исцелить как больное тело, так и больную душу, ибо знает, как они связаны друг с другом, и это знание дает ему силы воздействовать и на тело, и на душу». Но тело и душа возможны не только у отдельного человека, но и у общины; исцелить такую больную общину посылает ученика Каменский Ребе.

Болезнь эта, думаю, в утрате того самого чувства целостности, со-единения. Портрет Каменского Ребе висит в синагоге, переделанной из бомбоубежища.

Лицо на портрете говорит: «У тебя есть отец. Твой отец...» Завершить эту фразу должен ты сам. Есть только две возможности, и каждый входящий в синагогу выбирает одну из них. Если у тебя есть отец, лицо говорит тебе: «Твой отец — Б-г». И неважно, жив ли твой отец. Отец не умирает... Но если ты безотцовщина, лицо на портрете, лицо Ребе, говорит: «Твой отец — я».

Беркович отрывистым письмом, сплетением самых разных линий, отступлениями во времени и пространстве, переключением стилистических регистров, говорением то от имени «я», то от третьего лица не разрушает целостную бытийную ткань, но собирает ее воедино.

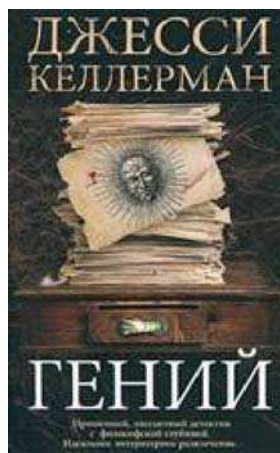
А́а́т е́е́а́ А́а́а́а́а́

А́а́т е́е́ е́ А́а́а́а́а́и́ А́и́ Бóи́т́и́ Нóу́

А́а́а́а́а́и́ Е́а́а́а́а́и́ а́и́

Аїї еє

*Ї ад нїї ә. А. Оааооєїє є Н. Оааооєїї
Ї.: Оаї оїи Ї даїї 2011. — 416ї*



«Меня зовут Итан Мюллер. Мне тридцать три, и раньше я был галеристом». Роман Джесси Келлермана начинается с представления главного героя — человека, чьи недоверчивость и жесткость до недавних пор являлись необходимой частью профессии. Итан живет в престижном районе Нью-Йорка, отлично зарабатывает и твердо знает, что чудес в мире не бывает, что неизвестные шедевры — факт маловероятный, и если приятели будут убеждать тебя прийти «на первую выставку сводного брата мужа лучшей подруги их золовки в еврейском культурном центре в Бруклине», то сто процентов из ста, что картины этого незнакомца окажутся мусором, за который даже самый ловкий галерист не сможет выручить и цента.

И вдруг этот стройный образ мира дает трещину: друг и помощник отца Итана однажды приводит Мюллера-младшего в захлавленную квартиру без хозяина — и там внезапно обнаруживаются многочисленные коробки с рисунками. Эти работы завораживают галериста своей необычностью: взгляд мастера на окружающую реальность парадоксален, а искусство рисовальщика граничит с гениальностью. Но кто он такой, Виктор Крейк? Откуда взялся? Где учился? Почему ни разу нигде не выставлял своих работ? Куда пропал? И почему на его рисунках запечатлены лица детей, пропавших и убитых в Нью-Йорке в течение нескольких последних десятилетий? Какое отношение имеет неведомый художник к тем загадочным убийствам?..

Тридцатитрехлетний Джесси Келлерман — новая фигура в американской литературе. «Я учился в ортодоксальной еврейской школе, а перед колледжем год провел в религиозном училище в Израиле, — рассказывает он. — После чего поступил в Гарвард, где изучал психологию, сделав акцент на исследовании асоциального поведения. Но истинным моим интересом был театр, и однажды у меня появился шанс поработать с прекрасными актерами, для которых я написал не менее прекрасные пьесы». Тем не менее прославился Келлерман не как драматург, а как прозаик: его недавно вышедшие романы «Гений» и «Философ» уже попали в списки бестселлеров. Хотя по форме «Гений» напоминает детектив (главный герой вместе с бывшим копом Ли Макгретом и его дочерью-прокурором Самантой пытается распутать уголовные дела минувших дней), на самом деле роман имеет отношение к массовому жанру лишь по касательной. Главное здесь не в поисках ответа на вопрос «кто убил?», а в злободневных проблемах национальной и культурной самоидентификации.

Параллельно современным главам в романе пунктиром построен сюжет, отсылающий читателей в те отдаленные времена, когда эмигрант из Германии Соломон Мюллер сходит с корабля в американском порту. Идет 1847 год, восемнадцатилетний Мюллер, поправляя кипу, возносит хвалу Б-гу «за то, что Тот провел Соломона через эти трудные дни, а потом просит не оставить его своей милостью и дальше». Но уже для следующего поколения Мюллеров нет никакого еврейского Б-га: многочисленные потомки Соломона распространяют свою деловую активность на все континенты, старательно прикидываясь немецкими аристократами. А еще через поколение, когда в Германии уже маршируют штурмовики и поджигают синагоги, американские Мюллеры воспринимают наступающий фашизм почти безучастно, видя в нем лишь препятствие к ведению бизнеса. Дескать, надо сворачивать коммерцию в Европе и переводить активы в Новый Свет...

К концу романа современная и историческая линии сольются воедино, детективный сюжет получит необходимое завершение, а семейная тайна потомков Соломона Мюллера окажется раскрытой. Не будем множить спойлеры — книга вполне достойна прочтения. Заметим только, что упомянутая тайна изменила жизнь многих людей, сделав их заложниками собственных предубеждений. Результат — прах и пепел, гибель искусства и трагедия человека, для которого рисунки стали частью существования. Изломы судьбы гениального Виктора Крейка, с детства запертого в клетку чужих фобий, выглядят жутковатой, но убедительной метафорой: люди, которые всеми силами пытаются похоронить правду о собственном прошлом, недостойны будущего.

Éaá Áóóííéé

ЛЕХАИМ ИЮНЬ 2012 СИВАН 5772 – 6(242)

НАШ ВЕРНИСАЖ

«ЕВРЕЙСКАЯ ЛУНА НАД ЧЕРНЫМ ГОРИЗОНТОМ»

Евгения Гершкович

6 июля мир отметит 125-летие со дня рождения Марка Шагала. Празднования вылились в бесконечный выставочный марафон, и нельзя сказать, что художник не предполагал столь массовых гастролей своих работ по миру: став великим при жизни, он наверняка предвидел такой успех.



Άέα ἐς τεία τὰ ἰπὸδῆα Ἐβραϊά-Αδία (ἰπὸδῆ ἢ ἄδία Ἀδίαῖε). 1924 πᾶ Ἄττ τὰτῆπὸᾶ ἔραεὸᾶἔε ἐπὶπὸᾶ Ὀρδῆ Ὀᾶεὸᾶδῆῦ

Долгая выставка Шагала в мадридском Музее Тиссена-Борнемисса завершилась в мае, но к июлю из фондов Ватикана его полотна привезут в Минск. Витебск устраивает фестиваль наивного искусства, посвященный великому земляку, в Музее библейского послания в Ницце реализуется проект «Шагал и театр», а в Москве, в Третьяковской галерее, с 15 июня выставляют витебские рисунки и поздние парижские коллажи. Главным образом это работы, предоставленные семьей художника, российскими музеями (свой Шаггал есть не только в Третьяковке и Русском музее, но и в Музее прикладного искусства и Этнографическом музее в Петербурге), а скульптура и сотня листов графики — из швейцарского Фонда П. Джанадда. Шаггал любим всеми, и распределение шедевров по юбилейным экспозициям оказалось нешуточной работой — при всей плодовитости мастера, оставившего большое наследие...

Марк Захарович Шагал родился 25 июня 1887 года. Но так по старому стилю. По новому же, принятому после революции, этой дате соответствует 6 июля. Однако художник всю жизнь ошибался, считая 7.7.1887 датой своего рождения, а семерку — своим счастливым числом. Точно так же любил и верил он в сине-васильковый цвет, в «сырый цветок из породы репейников». «С Витебска ими раним и любим. Дикорастущие сорные тюбики с дьявольски выдавленным голубым!» — комментировал Андрей Вознесенский в «Васильках Шагала».

Мошка, как его звали в семье, Шагал появился на свет в черте оседлости на западной окраине Российской империи, в части «еврейской» Литвы, в местечке Песковатики, что под Витебском. «Корыто — первое, что увидели мои глаза. Обыкновенное корыто: глубокое, с закругленными краями. Какие продаются на базаре. Я весь в нем умещался. Не помню кто, скорее всего, мама рассказывала, что как раз тогда — в маленьком домике у дороги, позади тюрьмы на окраине Витебска, вспыхнул пожар. Огонь охватил весь город, включая бедный еврейский квартал. Мать и младенца у нее в ногах, вместе с кроватью, перенесли в безопасное место, на другой конец города», — вспоминал он потом, в 1930-м. Это был первый полет. Из местечка Шагал перенесся в Петербург, Париж и Берлин, Москву и Нью-Йорк, побывал в Венеции и Альпах, Италии и Греции, Палестине и современном Израиле, но побывал так, будто всю жизнь не оставлял родных своих Песковатиков. Взгляд Шагала, этот безумный, фантастический сплав иррационально-интуитивных начал, постоянно устремлен был в детство, куда-то в ночное небо, к череде звезд, к деду Марку, полжизни проведенному на печке, четверть — в синагоге, а остальное время — в мясной лавке, к бабушке Баше, не выдержавшей его праздности и умершей совсем молодой... К отцу, грузчику в селечной лавке, чья одежда была вечно забрызгана рассолом, к матери, уступившей уговорам и отведшей сына в художественную школу к Иегуде Пэну («Да, сынок, я вижу, у тебя есть талант. Но послушай меня, деточка. Может, все-таки лучше тебе стать торговым агентом?»). К спокойной и даже мелочной прозе провинциального быта, к вывескам трактиров и лавчонок, к веренице дядь в плохоньких талитах и тетя («Муся, Гутя, Реля, Хая»), парикмахеров, канторов, резников, учителей в хедере, мясников и скрипачей, «зеленых евреев», то и дело взлетающих над городом. «Ребенком я чувствовал, что во всех нас есть некая тревожная сила. Вот почему мои персонажи оказались в небе раньше космонавтов». Традиционный еврейский воображаемый мир шtetла, как и литература на идише (языке, на котором художник говорил и писал, хоть и с ошибками) имели фольклорную, сказочную форму, со множеством параллелей и непредсказуемых, абсолютно непредсказуемых сопоставлений. Шагал буквально визуализировал этот мир, сделал его зримым, соединив на одном полотне разные времена, персонажей, в реальной жизни пересекающихся едва ли. Бурлящая стихия фантазии Шагала границ не знала. Но вот чего напрочь лишено было его искусство, так это повествовательности, стилизаторства, нравочения.



Εικόνα επί τσόδα 1911 από Ἰσάκ Ωττάβ Ααεάιδ Ααξιέυ Οαεόαδέρ

Нет конца извечному спору специалистов, был ли Шагал еврейским художником. А если не еврейским, то каким же — русским, французским, белорусским, литовским?.. Этот вопрос был сюжетом и его ежедневных фрустраций, что подтверждают письма и статьи. «Иногда, бессонными ночами, я лежу и думаю: может, я и создал несколько картин, которые все же дадут мне право называться “еврейским художником”?» В нем, как в кипящем котле, боролись желания покончить с внутренней местечковостью, локальностью, вырваться к европейской культуре, но, воспитывая высокий вкус, не выплескать из души красок детства. Шагал принадлежал к тому редкому типу мастеров, которые, имея ярко выраженные национальные корни, удивительно естественно чувствовали себя в любой культурной среде, с легкостью осваивали традиции разных стран, эпох и стилей, при этом сохраняя собственный неповторимый почерк, не без легкой иронии конечно.

Создавать особый, еврейский, стиль ему хотелось меньше всего, да и отношения Шагала с еврейским артистическим миром было неоднозначными. Древние предания иудеев, Библия имели для него преимущественно художественный и нравственный смысл. Хасидизм оказал известное влияние на психологию и творческие интонации молодого художника. Во всяком случае, к образам космического масштаба он сознательно двигался от национальных тем.



Դա՛ն Անճառնի՛ն. 1914 թ. Երեւանի Ար Դ Շաբուի ալ. Ի Օրն Երթա՛նք, Եւրոպայի

Даже если и хотел Шагал иногда забыть, что он еврей, сделать это не давала жизнь. Проживать в столице без специального вида на жительство таким, как он, было не положено. Однако благодаря некоей бумаге о будто бы коммерческих целях путешествия и покровительству барона Гинцбурга, члена исторического и этнографического обществ (который будет помогать ему еще и ежемесячной стипендией), в 1907 году Шагал попадает в Петербург, где возвращается в основном в обществе евреев, сводит знакомство, к примеру, с Леоном Бакстом. Оказавшись вскоре в Париже, он продолжает интеграцию с еврейскими культурными кругами. Эренбург, Соня Делоне помогли Шагалу обосноваться. В «Улье», общежитии для бедных иммигрантов, он селится по соседству с Кёнигом, Эпштейном и Лихтенштейном, вечно спорившими о существовании еврейского искусства, но у Шагала эти споры вызывали лишь насмешки («Ну ладно, вы еще поговорите — а я пока поработаю. Лично я знаю, на что способна эта маленькая нация»). Зато он научился довольно бегло говорить по-французски, помышляя о своем собственном месте на олимпе европейского изобразительного искусства. С соседом Хаимом Сутиным Шагал общался все же на идише...

Полотно «Молящийся еврей» 1914 года имело все еще еврейский сюжет, но уже переработанный в авангардистской манере. В те же годы Шагал иллюстрировал поэмы Дер Нистера и сказку «Волшебник» Ицхока-Лейбуша Переца, написанные на идише. «...Лишь тогда я начал читать Переца. И был удивлен. Вам знакомо такое чувство, когда долго идешь по улице, сворачиваешь за угол, а

там, за забором, еврейская луна над черным горизонтом — прыгает с небес прямо к твоим ногам. Именно так всплывали с маленьких белых страниц бедные и в то же время роскошные еврейские образы и фигуры. Все это живет в нас — все эти мелодии, дни шабата, пятничные свечи, бархатные шапочки, первая любовь, пейзажи, напоенные псалмами, последние звуки молитвы усталого кантора и евреи, евреи на земле и на небе».



*«Хאַן אַעאַו אַעעפּי אַ מאַאַעפּע (א אַעאַו אַעעפּי אַעעפּי)».
1938-1943 אַאַאַ. אַאַאַ אַאַאַ אַאַאַ אַאַאַ*

Тем не менее его, неутомимого, все мотало по свету. Вернулся он в Россию из Франции сложившимся художником. Революцию встретил восторженно, та обещала некоторые перспективы, во всяком случае полноценное гражданство, ликвидацию черты оседлости и внутренней паспортной системы. В 1919 году в подмосковной Малаховке живописец получает место учителя рисования и еврейской литературы в колонии для детей, осиротевших после еврейских погромов. Через год Шагал трудится над живописными, восемь метров в длину, панно для московского Еврейского камерного театра, будущего ГОСЕТа, где пьесы играют на идише. Панно имело название «Введение в новый национальный театр»^[1]. И тем не менее опять эмиграция: с 1923 года Шагал с женой Беллой Розенфельд поселяется в Париже и через пятнадцать лет получает французское гражданство. В 1941 году художник волею судеб вновь оказывается в среде, где основным языком общения узкого круга еврейской общины служил идиш: на время войны Шагал находит пристанище в Америке. Там художник начинает сотрудничать с прокоммунистическими еврейскими изданиями, хотя коммунистом никогда не был. Вступил он и в Американский комитет еврейских писателей, под председательством Альберта Эйнштейна. Когда война закончилась, вернулся во Францию и с облегчением вновь ощутил себя частью «большой» культуры. «Я очень давно не видел тебя, мой милый город, не получал весточки о тебе, не говорил с твоими облаками, не прислонялся к твоим заборам. А ты, родной мой, ни разу не упрекнул меня, не спросил с горечью: “Почему?” Почему я покинул тебя много лет назад? Ты думал: мальчик что-то ищет, ему нужна особая утонченность, некий нежный цвет, что струится с неба как звездопад и оседает, яркий и прозрачный, как снег на крышах. Где он это найдет? И на что вообще он может рассчитывать, при его-то обстоятельствах? Не знаю, почему он не хочет искать это здесь, на родине. Может быть, мальчик “безумен”, но это безумство идеалиста, безумство во имя искусства». Слова написаны были уже известным живописцем, успевшим подарить миру тусклые лампы, кривые улочки, кладбища, синагоги и подслеповатые домишки родного местечка и влюбить в них

маршанов, галеристов, коллекционеров и просто зрителей. Теперь он обращался уже к библейским сюжетам, создавая витражи для средневековых кафедральных соборов Франции, Германии, Швейцарии. В Нотр-Дам де Реймс, соборе, где короновались французские короли, на месте утраченных во время бомбежек витражей появилось его знаменитое «Сотворение мира». В Медицинском центре Еврейского университета, в Адассе, синагога украсилась дюжиной витражей, в соответствии с двенадцатью коленами Израилевыми. Это был подарок Шагала еврейскому народу, который, по его словам, «мечтал о библейской любви». Васильково-синие стекла, наполненные легкими фигурами зверей и птиц, осликами и петухами, цветами и библейскими символами, пропускали солнце. «Все время, пока я работал, я чувствовал, что мой отец и мать смотрят из-за моего плеча, а за ними — миллионы евреев, которые исчезли недавно и тысячу лет тому назад». Марк Шагал так знал секрет того, как, не утрачивая связей с еврейской культурой, стать всемирно любимым художником. А сам говорил: «Если бы я не был евреем, я бы не был художником — или стал бы совсем другим художником».

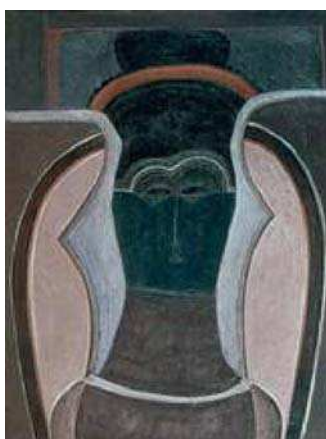


*Εδαπώγι εί ό έτέλαά 1952-1953 ά άύ.
Πίπ έπί ί ί έάδαι έέα χ άπώ ί ά ύ έτέέαέόέύ*

НАШ ВЕРНИСАЖ

«I' eöäëë Öääöi äi è äi ö-äi eëë»

I' äö ääöä, Düñëë i öçäé, äi 25.6



Михаил Шварцман. Иерархия сыновья. 1980-е годы. ГРМ

В Строгановском дворце собрали около полусотни работ Михаила Шварцмана и его последователей.

Шварцман (1926–1997) вошел в историю неофициального искусства как создатель концепции «иератической живописи». Он известен не только как художник, но и как философ, и как педагог. Круг его общения был необычайно широк: здесь и режиссер Евгений Шифферс (с которым у Шварцмана быстро начались идейные расхождения), и искусствовед Борис Гройс (о нем художник высказался отчужденно: «Взгляд Гройса претерпевал эволюцию от проницательной и свежей пророческой интуиции до брюзгливого снобства»), и множество коллег, с которыми он организовал в 1975 году «Иератическую школу». Название школы связано с понятием «иературы», как Шварцман называл свои произведения. Концепция в целом, соответственно, — «иератизм». Термин происходит от древнегреческого *hieros* — «священный», «знаковый». Но это была внелитературная знаковость. Не случайно его живопись с таким трудом подпускает к себе чужие слова. Лучшим ее интерпретатором был сам Шварцман, наверняка ужаснувшийся бы любой попытке его классифицировать.

Шварцман был известен хотя бы в узких кругах, а творчество его — практически нигде. Он неохотно расставался со своими работами, воспринимая их продажу как трагедию, как предательство собственных детей. Потому в 1987-м отказался дать свои картины для аукциона Christie's, и это не было позой, лишь проявлением последовательности. Да и первую свою выставку тогда же не захотел проводить в Лондоне, решил дождаться ее на родине. Она открылась в Третьяковке лишь семь лет спустя.

В облике Шварцмана было много библейского. Как заметил один из современников, он и «вещал как пророк-поэт». Известный герметизм его идей привел к неожиданным последствиям. В его «системе ценностей, — пишет Галина Ельшевская, — почти теряет свой обычный смысл понятие художественной “удачи/неудачи”, поскольку не предусмотрена позиция внешнего наблюдателя, с которой подобная оценка могла бы быть верифицирована и ратифицирована: вероятно, именно поэтому единственная прижизненная выставка Шварцмана, состоявшаяся в 1994 году в ГТГ, многих повергла в

растерянность — было непонятно, в каком понятийном поле воспринимать работы, слухи о которых явно превышали возможность отнести к ним просто как к произведениям живописи».

Среди художников — последователей и учеников Шварцмана, чьи работы также представлены сейчас на Невском проспекте, — Валерий Башенин, Дмитрий Комиссаров, Никита Медведев, Геннадий Спирин и Анатолий Чашинский.

«Голубой мир и его герои»

Впервые опубликовано в журнале «Искусство», № 1.7



Голубой мир и его герои. Эссе-портрет в прозе А. И. Айзенберга «Еще один».

1936 г.

Нравственный и эстетический кризис А. И. Айзенберга

Московский музей Владимира Маяковского продолжает праздновать собственное 75-летие. Причем делает это музей на дружественных ему площадках.

Весной в галерее «Проун» уже показывали выставку графики «Даешь!», связанной в основном с образом Ленина. На Винзаводе собрали плакаты и эскизы Александра Родченко, Густава Клуциса, Лазаря Лисицкого и Сергея Сенькина. Экспозиция в галерее «Ковчег» еще богаче на имена. Помимо работ четверых героев «Проуна», здесь также выставлены произведения работавшей для театра «Синяя блуза» Нины Айзенберг (ее эскиз костюма 1926 года к «Частушкам о метрополитене» Маяковского), Давида Бурлюка, Густава Клуциса и многих других авторов, известных и не очень.

Большинство работ датируются 1920-ми годами, хотя «Ангелы и аэроплан» Натальи Гончаровой, из альбома «Мистические образы войны», созданы еще в 1914-м.

Почти все представленные в «Ковчеге» художники были вынуждены так или иначе адаптироваться к социалистической идеологии. Чаще всего адаптация происходила на уровне образов — истово верующих в новый мир среди живописцев было немного. Хотя поначалу иллюзии испытывали почти все. Штеренберг и Каменский, Тышлер и Степанова, Вильямс и Шагал — кто только не оказался захвачен цепким потоком эпохи. Так, Амшей Нюрнберг, выходец из знаменитого одесского «Общества независимых художников», после революции стал первым народным комиссаром искусств в той же Одессе, позднее работал художественным корреспондентом «Правды» и с Маяковским в «Окнах РОСТА», создавал МОСХ. А Владимир Роскин оформлял советские отделы на крупнейших международных выставках, от авиационной в Берлине в 1930-м до нью-йоркской в 1938-м. В итоге он стал председателем художественного совета Комитета декоративно-оформительского искусства, благодаря которому в советские времена могли зарабатывать многие неофициальные художники. Но председателем Роскину пришлось быть недолго — его сняли за поддержку опального Оскара Рабина.

«Γὸ ὄσα ἐ ὄσα: Αὐαεῖαοεῖα ἐς Αἰῖοῖ-ἰῖε Αἰῖῖῖ. 45/90»

Ἰ πῖ ὄαῖ, Αἰῖεῖεῖ ἰ ὄαῖ, αῖ 17.6



Ὀεὸ ὄεῖῖ ἄῖ ἡ ὄαῖ εῖα εῖ εῖ Αἰῖῖ Ἰ αἰῖ ἰ «ῶαῖῖ ε ὄαῖ ».

Ἐῶαὸ ἄεῖῖ ὄαῖ ἰ ὄαῖ εῶαὸε «Ἰ ἰαεῖ Ὀεῖῖ» («Ἰαῖῖ-εἰ Ἰεῖῖ»).

1949 αῖ

Выставка посвящена еврейским судьбам, связанным с послевоенным Мюнхеном и его окрестностями. Первая ее часть — рассказ о так называемых Displaced Personen (DPs), перемещенных лицах. Среди них были и пережившие Шоа. Их судьба, увы, не так часто привлекает внимание исследователей, как судьба погибших в концлагерях. Зато теперь к выставке вышел каталог, в котором дети бывших DPs рассказывают о семейных историях и преданиях.

Большинство выживших уехали в Израиль или другие страны, но, пока они находились в лагерях временного пребывания, их будущее не было известно ни им самим, ни представителям союзных армий, ни организациям, занимавшихся их бытом. Ситуация неопределенности, невидимого будущего, отражена в дизайне этой части выставки, напоминающей о блужданиях в лабиринте. Вторая часть экспозиции рассказывает о конкретном лагере Фёренвальд, его обитателях и их быте. Фёренвальд, просуществовавший дольше других лагерей (он закрылся лишь в 1957 году), уже становился объектом арт-исследования. Современная мюнхенская художница Михаэла Мелин посвятила ему инсталляцию, созданную из записей голосов и видео (см.: Лехаим. 2011. № 8).

«Αἰῖε ἰ ὄαῖ ὄαεῖῖ ἰ»

Ἰ ἰαεῖ, Ἰ ὄαῖ αἰῖεῖῖ αῖ εῖεῖῖ ὄαῖ εῖ ὄαῖ, αῖ 87



Υαεί Αἰῶνά
Ἐπὶ τῆς ἀποστολῆς τοῦ Ἰσραὴλ ἐν τῇ Ἰερουσαλὴμ τῆς ἐποχῆς τῆς Ἰσραὴλ

Тема парижского проекта — архетипический образ Еврея как представителя «восточного» в европейском искусстве 1832–1929 годов.

Два знаменитых путешествия в Северную Африку двух знаменитых художников — Эжена Делакруа в Марокко и Шассерио в Алжир – маркируют первую временную границу выставки. Вторая дата связана с закрытием художественной школы «Бецалель», основанной в Иерусалиме в 1909 году (сегодня под этим именем работает иерусалимская Академия художеств и прикладного искусства).

Любопытно, что Делакруа увлекся Востоком, уже пережив байронический ориентализм, восхищение греками, их освободительной войной против турецкого владычества. Его сменил ориентализм знатока. Путешествие 1832 года оказалось единственным в его биографии — и важнейшим. Его влияние Делакруа ощущал на протяжении всей жизни, альбомы сделанных в Северной Африке эскизов вдохновляли его на протяжении десятилетий. Многие в этом увлечении определялось литературой. Как и на его современников, на Делакруа произвело впечатление предисловие Виктора Гюго к сборнику «Ориенталии» (1829), создавшее новую мифологию Востока и породившее массу последователей. Центральным полотном этого раздела становится «Еврейская свадьба в Марокко» из коллекции Лувра.

Среди других авторов, показываемых во французской столице, — Моро и Альма-Тадема, Гутман и Бауернфайнд... Компания подобралась интернациональная. Англичане Дэвид Робертс и Томас Седдон запечатлели Иерусалим, каким мы его уже никогда не увидим, а француз Орас Верне увлекался ветхозаветными сюжетами (любопытно, что Конан Дойль считал Шерлока Холмса внучатым племянником Верне).

Произведения мэтров ориенталики пользовались огромным успехом на рынке — сперва как экзотика, затем как память о собственных путешествиях. К 1870-м годам поездки на Восток стали относительно массовыми, их организовывала, например, фирма Кука, но стоили они очень дорого, до 3 тыс. франков (средняя зарплата рабочего тогда, например, составляла три франка в день). Искусство оказывалось альтернативой путешествию — быть может, менее эмоциональной, зато наверняка более комфортной.

Ἀἰῶνά Ἰερουσαλὴμ

ЛЕХАИМ ИЮНЬ 2012 СИВАН 5772 – 6(242)

ТЕАТР: НАША ПРЕМЬРА

В ОТСУТСТВИЕ СИМОНЫ

Ада Шмерлинг

Персона. Тело Симоны

Режиссер Кристиан Люпа

Драматический театр Варшавы



*Ααηδρευυτε πιαοαεευ ι γοδα ιτευηετα οααοδα Εδεηδεατα Εριυ ι Νει ιτα Ααεευ
ατααριυαι ηυ οεεημοαι ενδεεα ιαοαιε ιτεηαειυ ΟΟ ααεα, ηοαε αααιυι ηαυοεαι ια ορεηεη α
ιδραδαι ι α «ρεηοτε ι αηεε — 2012», ιι ε α εητοαεηδα αηηα ι εηοαοαι ι ηηεηαηετα οααοδαευυτα
ηαηια*

По резонансу в прессе он обогнал даже «Персону. Мэрилин», еще один спектакль Люпы, входящий в его знаменитый триптих о культовых личностях XX столетия. Обогнал, хотя спектакль о Мэрилин Монро способен впечатлить даже на уровне формы, а «Тело Симоны», напротив, внешне нарочито простой и к тому же эмоционально выматывающий, как для актеров, так и для зрителей.

Хронометраж — четыре с лишним часа, в течение которых на сцене почти ничего не происходит. Двухчасовое первое действие — вообще только спор между актрисой, которой предложено воплотить Симону Вейль, и режиссером, представленным как комическое альтер эго самого Люпы. Эта актриса, по его замыслу, — Элизабет Фоглер, героиня знаменитой «Персоны» (1966) Ингмара Бергмана, то есть выдуманная театральная звезда, которая однажды во время спектакля внезапно замолчала и навсегда покинула сцену.

Приглашенная на эту роль польская кинозвезда 1960–1970-х годов Малгожата Браунек сделала в свое время примерно то же. В 30 лет, имея в зачете главные роли у Вайды, Анджея Жулавского и Ежи Гоффмана, она вдруг отправилась в Тибет, приняла буддизм и около 30 лет не давала о себе знать. Не так давно, будучи уже в статусе дзен-буддийского сенсея, она неожиданно отменила свой мораторий на актерство. Однако театром назвать то, что Малгожата Браунек делает в «Теле Симоны», трудно. Скорее это публичное размышление, оформленное режиссером как театральное представление, имитирующее три этапа подготовки спектакля: застольный период, импровизационный и финальный, когда артисты репетируют уже на сцене.

До спектакля о Симоне Вейль, который хочет поставить сценический двойник Кристиана Люпы, дело, однако, не доходит, поскольку Элизабет Фоглер, мучительно пытающаяся войти в образ Симоны, в конце концов отказывается от роли. Тем не менее Симону Вейль зрителям все-таки показывают. Вместо Браунек ее дано сыграть звезде недавней вайдовской «Катыни» Майе Осташевской, которая появляется в финале, всего на полчаса, — то ли во сне, то ли в мистических видениях Элизабет Фоглер.

Тех, кто рассчитывал на байопик о Симоне Вейль, это должно разочаровать. Все, что публика узнает из спектакля Люпы о женщине, чье имя вынесено в название, можно свести к справке из энциклопедии (часто ее фамилию произносят как Вайль, но правильно — Вейль, на французский манер, и именно такая транскрипция принята в русскоязычных изданиях ее трудов). Закончила Сорбонну, но пошла чернорабочей на завод, считая, что так будет справедливо по отношению к угнетенным классам. Будучи пацифисткой, стала участницей Сопrotивления. Являясь эстетической анархисткой, одновременно была яростной марксисткой. Родившись в семье атеистов, стала одним из величайших религиозных философов. Будучи еврейкой по рождению, активно и даже агрессивно критиковала иудаизм. В приступе мистицизма уверовала в Христа, но категорически отказалась принять крещение.

Находясь в 1943-м в Лондоне, Симона Вейль умерла в 34 года от истощения, добровольно приравняв свой рацион к пайке узников концлагерей. Она почитается многими католиками как святая, однако сама отлучила себя от церкви, страшась ее как социального института. Сознательно стремилась к бесславию, писала не для печати и оставила множество незаконченных текстов. Их хватило на шесть томов, изданных в «Gallimard» и ставших для европейских интеллектуалов второй половины XX века источником творческого, духовного и нравственного поиска.

Друживший с ней Альбер Камю, получив в 1949-м Нобелевскую премию, в ожидании церемонии награждения прятался от всех, запершись в одиночестве в комнате, где до войны жила Симона Вейль. Потом он стал первым, кто начал издавать ее книги, и именно ему мы обязаны тем, что учение Симоны Вейль об искупительном страдании, воплощенном ею в собственной жизни, не осталось лишь фактом ее личной биографии. Сергей Аверинцев считал, что творчество Вейль будет иметь особое значение в будущем, и предрекал, что XXI век станет веком Симоны Вейль.

Говорят, когда Леви-Стресс встретился в 1940-м в Нью-Йорке с Симоной Вейль, учившейся с ним в Сорбонне, и рассказал ей о ситуации во Франции после оккупации нацистами, то в ответ на слова о гибели Франции Вейль неожиданно произнесла: «А не кажется ли тебе, Клод, что гибель Франции одновременно означает и освобождение Индокитая?» Способность думать таким образом, всегда находя

среди угнетенных еще более угнетенных, и переживать чужое несчастье как свое в форме осознанного и добровольного страдания — характерная особенность личности Симоны Вейль.

Поверить в то, что она искренно так думала и так чувствовала, — главная проблема для всех, кто читал ее тексты. Они вызывают странную смесь чувств — желание верить ей и подозрение в неискренности. Даже тот факт, что она сама из солидарности с жертвами нацизма довела себя до смерти, часто трактуется как следствие психического заболевания. Страдала ли она в действительности анорексией и не была ли ее истовая, как у первых христиан, вера в Иисуса, который ей якобы явился в минуту мистического прозрения, всего лишь следствием психологических проблем? Ее биография позволяет думать о ней, как кому хочется. Но спектакль Люпы, к счастью, не об этом.

Принято считать, что именно Вейль ввела в сознание человека XX века идею этического Другого, которая в итоге стала сегодня основополагающей для европейского антитоталитарного мышления. Если за основу в рассуждениях о Симоне Вейль взять именно этот факт, то медицинские вопросы в оценке ее творческого наследия уже не имеют значения. Важно лишь то, что, отказываясь от своего тела, принося его в жертву этической солидарности с «униженными и оскорбленными», она достигла того, что является главным для современной культуры, — сумела выйти за пределы собственного «я». Говоря языком теоретиков постмодернизма, она осуществила трансгрессию. Для практиков современного искусства это самая актуальная тема, и у того же Кристиана Люпы, собственно, об этом — о возможности или невозможности трансгрессии — весь его театральный триптих «Персона».

Превращения человека в другого, то есть возможность выхода за пределы самого себя, — самое таинственное и завораживающее, что есть в театре. Однако в парадоксальном спектакле Люпы и главной героине (Элизабет Фоглер), и актрисе (Малгожате Браунк), ее играющей, по воле режиссера не удастся именно то, чего от нее все ждут, — перевоплощение. Почему Люпа поступает так, становится понятно в финальной сцене — когда Элизабет Фоглер является призрак Симоны Вейль. На глазах у зрителей им обоим предстоит вместе пережить предсмертные полчаса Симоны. Ее душевные и телесные страдания вызывают у Фоглер естественный ответный жест: она обнимает Симону, свернувшуюся калачиком на кровати, и как бы сливается с ней в единое целое. Но все, что она может дать умирающей, — это тепло своего тела и несколько утешительных, но, в сущности, бесполезных слов. Ибо, как писала Симона Вейль, тот, которого любить есть долг каждого из нас, отсутствует. И верой в него мы не можем утешиться, как не можем утешить другого верой в того, в кого желаем верить.

ЛЕХАИМ ИЮНЬ 2012 СИВАН 5772 – 6(242)

НАШЕ КИНО

СНЯТО В ИЕРУСАЛИМЕ

Аэаэи ед І аэ

«Аёдёаэд»

Ваэёиэд І ааэ Эоі аі 2012 аа

*Нааэеё оёеи І ааа Эоі аі а і деаае аі еі аі еа дииіууу-і уо
ёааеёиууі ааа оаі, ÷оі иуò â Еадоиёеі а Ёуòіе оі÷её ааі еу аа
оіаа еі ааò ии ûиё іоаі еòи*



Иерусалим — фон, на котором разворачивается действие, сакральное пространство, цель, к которой стремится герой. Дирижер летит с оркестром в Иерусалим, чтобы исполнить «Страсти по Матфею». Не Баха, и это одна из интриг. Накануне он узнает о самоубийстве сына, жившего в Израиле. Маэстро отрекся от него, не желая оплачивать богемную жизнь и наркотики, но трагедия и предсмертная записка заставляют музыканта пересмотреть взгляды на жизнь. У солистов — свои проблемы. Тенор боится, что дирижер заменит его, сопрано и баритон (муж и жена) на грани развода. Он атеист, она верит, что брак

удастся спасти на Святой земле. Он флиртует с попутчицей и зовет ее на концерт. Жена отговаривает ее, и бедная женщина вместо концерта идет на рынок, где погибает от взрыва шахида.

Такой сюжет предложил режиссер. Неровное его творчество — блестящий «Такси-блюз», неудачный «Луна-парк», после «Свадьбы» — не оправдавший надежд «Царь» — не отменяет интереса к Лунгину. В последней картине, как обычно, заняты достойные артисты, но и они не смогли ее спасти.

Я даже не имею в виду несоответствие иерусалимских маршрутов и видов: неаккуратное обращение с географией — общее место. Пусть кадры, снятые в городе, напоминают банальный рекламный ролик — эта визуальная подмена, видимо, кажется режиссеру оправданной: зрители должны узнавать святые места. Но он плохо думает о зрителях, многие из которых бывали здесь. Дешевый ход не тянет на художественный прием. А помимо небрежностей есть грубые ошибки, тем более оскорбительные, что совершил их еврей. Вместо того чтобы строить сюжет в соответствии с израильской реальностью, он схалтурил — подогнал реальность под сюжет. Примеров этого в фильме множество, вот один из них: израильтяне в траурных одеждах указывают на труп сына, лежащий на столе под простыней, — не на что хоронить. Но в Израиле мертвого никогда не оставят дома и похороны бесплатны, независимо от вероисповедания умершего. Случается, христиане ищут место для покойного на кладбище в монастыре, но авторы намекают, что хоронить дорого, и папа должен заплатить. Кстати, друзья сына — не христиане, а обычные евреи, говорящие на иврите и явно знающие, что к чему.

Они говорят, но никто не переводит — автора завораживает музыка языка. Особенно жаль не знающих иврита в диалоге дирижера с возлюбленной сына: он ее учит жизни, она говорит о любви. Оба не понимают друг друга — но зритель-то должен понимать? Иначе теряется впечатление от отличной сцены, которых в фильме всего две. Вторая — подготовка самоубийцы. Сильно и неправдоподобно: шахиды обычно одеваются как светские люди, чтобы затеряться в толпе. Но если он должен, по сценарию, выглядеть как ортодокс — зачем, скажите, его брить?

А в финале мы видим днем (немыслимо!), одновременно с терактом, важнейший концерт в «Театрон Йерусалаим», где маэстро дирижирует «Страстями по Матфею» композитора Алфеева. Под этой фамилией известен в миру митрополит Илларион, автор оратории, премьеры которой, не замеченные критикой, прошли в Москве и в Риме в 2007-м. Музыка профессионально написана — автор ушел с третьего курса Московской консерватории (где его помнят под другой фамилией) — и отдаленно напоминает литургии великих, от Баха до Рахманинова. Но сама по себе она не работает, и не потому, что написана не специально для фильма. Баховские «Страсти...» отлично работают у Тарковского, «Adagio» Малера — у Висконти. Просто «Дирижер» снят не как фильм, а как клип. Лунгин этого и не скрывает: в интервью он признавался, что митрополит, обсуждая с ним видеоряд, который мог бы сопровождать его музыку, предлагал свои варианты, например древние фрески. Но режиссер предпочел фрескам сюжетную спекуляцию на тему Иерусалима. И не преуспел.

ЛЕХАИМ ИЮНЬ 2012 СИВАН 5772 – 6(242)

НЕЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ

Éðéíà Ì àé

Óðeáðoíí éáð íaçaá Áaðáðá Ñòðáeçáíá íðeñðoíeéá é ñáíí éáí ñáíááí íáðáíá ðáeéññáðeíá íðíáeòá – í óçíeáeíííá ðeéíí á «Áíðe» íí ííðeááí ðáññeáçá Èñááeá Ááeáeñí Çeí áðá. Éáðoéí à eí áeá íááðíýoíúe óñí áð é ñí íñí áñò áíáeá ñeááá eáé í eíñðáeý, òáé é ðáeéññáðá, í :áí ñáí íá áðáí ý óííí ýíóðíe á ýòíí áí ðáeá Ñòðáeçáí á eñí íeí eéíñí 70 éáð.



Польское местечко, начало XX века. После смерти реб Менделя осталась юная Ентл, которая единственная скрашивала жизнь ученого отца. В отсутствие сына он пытался передать свои знания ей, и зерна мудрости упали на плодородную почву — изучать Тору и Танах девушке нравилось больше, чем шить и готовить обеды. А потому, сбыв первому встречному дом, Ентл переодевается в отцовское платье, отрезает косы и отправляется искать — нет, не счастья, а знаний, которых жаждет ее душа. Она меняет себе имя — теперь она Аншель, знакомится с Авидором, студентом ешивы, и начинает новую жизнь.

— Ентл, у тебя мужская душа.

— Тогда почему я родилась женщиной?

— Даже Небо иногда ошибается.

Красноречивый диалог отца с дочерью дополняет описание внешности Ентл, которая «и внешностью отличалась от других девушек Янева — высокая, худощавая, широкоплечая, с небольшой грудью и узкими бедрами. В субботу после обеда, когда отец спал, она надевала его штаны, малый талит, длинную шелковую капоту, ермолку, бархатную шляпу — и подолгу рассматривала себя в зеркале. Оттуда на нее глядел красивый смуглый юноша. У Ентл даже вилял легкий пушок над верхней губой».

Но то в рассказе Зингера. Другое дело фильм с переодетой прелестницей. И начинается он со слов: «Во времена, когда мир учения принадлежал только мужчинам, она была девушкой». Иначе в кино и быть не могло.

История Зингера просилась на экран — недаром Барбра Стрейзанд купила права на экранизацию сразу после публикации рассказа «Ентл-ешиботник» в 1968 году. Она рассчитывала, что снимет картину чешский режиссер Иван Пассер, как раз сбежавший из оккупированной советскими войсками Чехословакии в США. По слухам, Стрейзанд даже не собиралась сама играть главную роль, считая себя староватой для нее (в 25 лет) и взяв на себя, видимо, лишь обязанности продюсера. Неудачно — денег не нашлось. Впрочем, в готовность Барбры поделить бенефисной ролью все равно не верится — через 15 лет она ее таки сыграла.

Но к этому времени все изменилось. Зингер, уже увенчанный Нобелевской премией (за 1978 год), считался классиком и авторитетом, был снят первый фильм по его произведению — «Люблинский

волшебник» (по мотивам знаменитого романа, опубликованного на русском языке под названием «Люблинский штукер»). Вышедшая через год после исторического награждения Зингера, картина имела все шансы на успех: в главных ролях снялись Алан Аркин и Луиза Флетчер (получившая «Оскара» за главную роль в «Пролетая над гнездом кукушки»). Но фильм был результатом копродукции Израиля и Германии, Голливуд был в нем не задействован и, соответственно, не участвовал в раскрутке. Картину не заметили. В отличие от нее, «Ентл» оказалась весьма успешна. В первую прокатную неделю она заняла пятое место в стране по сборам. Хотя это обстоятельство ничего не говорит о реальном качестве кино. Как и «Оскар», врученный картине за лучшую музыкальную адаптацию — за нее надо благодарить композитора Мишеля Леграна и Мэрилин и Алана Бергман, написавших тексты песен. Они уже были к тому времени авторами популярнейшей в Америке 1970-х песни «The way we were», прозвучавшей в одноименной мелодраме Сидни Поллака, с той же Барброй Стрейзанд и Робертом Редфордом в главных ролях. Там актриса тоже играла еврейскую умницу-болтушку. Это типичная ее роль — талантливая дурнушка, окрыленная любовью и расцветающая у нас на глазах. Стрейзанд играет ее всю жизнь. И делает это блистательно — в «Смешной девчонке», в «Звезда родилась», в фильме «У зеркала два лица», где она уже университетский профессор, — там Стрейзанд тоже и режиссер, и продюсер. Но в «Ентл» она была режиссером и продюсером впервые. И стала первой женщиной, сделавшей это в своей стране. В 1980-х найти деньги на картину ей было несложно: давно шла на Бродвее пьеса, написанная по мотивам рассказа Зингера. И вообще, истории с переодеваниями обречены на успех. Сочиненные по общей канве, они обычно завершаются обратными превращениями — из юноши в прекрасную незнакомку — и хеппи-эндом, с поцелуями, свадьбой и прочими приметами женского счастья.

Не та судьба ждала Ентл, которая не претендовала не то что на любовь мужественного Авигодора (в роли которого был очень убедителен Мэнди Патинкин), но вообще на женскую долю. Если до какого-то момента читатели (речь о рассказе) еще сомневаются в такого рода необычности натуры Ентл, то диалог в финале, после разоблачения и предъявленных доказательств женской сущности, окончательно расставляет акценты.

— Но ты же могла выйти за меня замуж, — сказал Авигодор.

— Я хотела заниматься с тобой изучением Гемары и комментариев, а не штопать твои носки!

Это у Фонвизина было «не хочу учиться, хочу жениться». У Зингера наоборот. Могла ли смириться с таким уделом кинодива и прославленная эстрадная звезда? Ни за что. И потому при всей духовной близости героев мы с восторгом наблюдаем чувственный поцелуй. Могла ли Барбра Стрейзанд не запеть? Тоже нет, сколько бы она ни отрицала потом свои намерения. «Первоначально я не собиралась использовать музыку, — оправдывалась она, — но я счастлива, что получилось по-другому. После того как Ентл оставляет свое местечко, она живет тайной жизнью, о которой не может поведать никому. Мы все посчитали, что лучшим способом дать возможность звучать ее внутреннему голосу будет музыкальное повествование».

Оправдывалась Стрейзанд, главным образом, перед автором первоисточника, который был вне себя. Через год после премьеры он обругал ее в интервью «Нью-Йорк таймс»: «Я не нашел в адаптации ни художественных достоинств, ни режиссуры. Не думаю, что мисс Стрейзанд сыграла в “Ентл” свою лучшую роль, — мисс Тоба Фелдшу, которая играла в спектакле на Бродвее, была намного лучше <...> Мисс Стрейзанд получила, пожалуй, слишком много советов от разных раввинов. Раввин не заменит режиссера. Цитаты из Талмуда ей не помогли».

Брюзжание классика не вполне оправдано. Когда 90-летнего Исаака Башевиса Зингера «Нью-Йорк таймс мэгэзин» назвал, наряду с Карнеги-холлом и Бруклинским мостом, одной из «причин, делающих Нью-Йорк столь привлекательным», благодарить за это надо было в том числе Барбру Стрейзанд: ни главная литературная премия мира, ни бродвейский спектакль не способны так привлечь людей, как экран. Шестьдесят млн долларов, собранных «Ентл» в прокате (40 только в Штатах!), при 20-миллионном бюджете, — гарантия того, что фильм посмотрели все. Посмотрели и узнали имя автора рассказа. Правда, зрителям предложили кастрированный сюжет. В рассказе Авигодор, за которого самый богатый человек городка отказался выдать свою дочь Хадассу, женится на отвратительной, карикатурно уродливой вдове, а Аншеля он уговаривает, не зная, что тот на самом деле девушка, жениться на его несостоявшейся невесте — чтобы этого не сделал кто-то другой. В кино же на вдову нет и намека, зато много переживаний, положенных на музыку. И совсем иной, чем у Зингера, финал. Ентл не растворяется в памяти в образе юноши в лапсердаке, а обращается в девушку, и вот уже она на борту парохода, похоже, океанского — берегов не видно совсем. Ентл — а не Аншель — плывет за счастьем. В Америку? Может быть. Барбре Стрейзанд такое развитие сюжета наверняка казалось логичным: так сделали в свое время ее предки, так

поступил и сам писатель в 1935 году. А то, что Зингер ничего такого в виду не имел, так то издержки жанра. Литератор еще мечтает, а режиссер уже твердо стоит на ногах. Зингер нашел удивительную героиню — таких и нет, а Стрейзанд сыграла ту, какой захотят быть многие, если не все. И трудно пенять актрисе на желание нравиться и потакать залу: кино все еще остается самым массовым из искусств.

ЛЕХАИМ ИЮНЬ 2012 СИВАН 5772 – 6(242)

НЕКРОЛОГ

ÈËÏÄ Ì ÈËËÅÐ: ×ÅËÏÄÅÊ ÈÇ ÅÒÏ ÐÏÄÏ ÐÇÄÄ

Ä äîçðäîä 70 ääò äÏ äðæä îò ääèà ñèÏÏ: äèÏÏ äææèÏÏä ÈËÏÄ Ì èËËÄ



Его до сих пор называют учеником и протеже Трюффо и режиссером второго ряда. Он, кажется, этому не противился. В каждом интервью режиссер ссылался на Трюффо, даже получив мировое признание. В этом году его фильм «Тереза Декейру» с Одри Тоту, который Миллер снимал, уже будучи смертельно больным, закроет Каннский фестиваль.

«Это великий режиссер страха и тревоги», — сказал как-то Миллер о Бергмане. А может быть, о самом себе. Миллера действительно больше волновали нюансы чувств с негативной части эмоционального спектра: страх, больные мечты, тревоги детства. Но как говорит один его герой другому, довольному жизнью: «В моем пессимизме трагедии меньше, чем в твоём оптимизме». «Благополучие мне неинтересно. Да, меня беспокоит жестокость... Но здесь нет ничего автобиографического, — оправдывался Миллер, — у меня было нормальное детство». Хотя насколько могло быть нормальным детство еврейского ребенка, родившегося в Европе в 1942 году?

Его первой короткометражкой стал фильм о Холокосте «Обычный вопрос». Его самым известным фильмом стала «Семейная тайна» — о том же. В фильм попали факты из биографии Миллера. Как и его герой, Клод родился в Париже в секулярной еврейской семье. Его отец тоже отказался пришивать к одежде шестиконечную звезду — так семья избежала депортации. Герой «Семейной тайны» мальчик Франсуа живет себе во Франции 1950-х, ни о чем не подозревая, только сторонится евреев — сам не знает почему. Когда родители крестят его, просят не говорить дедушке — тот боится церкви. И вдруг тишайший Франсуа избивает одноклассника, когда тот смеется во время фильма о Катастрофе. Загадки тянутся и копят, пока прошлое не начинает вылезать из всех щелей. Выясняется, что фамилия Франсуа вовсе не Гримбер, а Гринберг. Что он еврей. Что был брат, и он, как и первая жена отца, сгинул в Освенциме. Но родители Франсуа, решившие построить свое счастье на эмоциональных руинах, придумали о погибших не вспоминать.

Миллер умудряется говорить о самых сложных вещах и обращаться к самой широкой аудитории, не продав при этом души дьяволу. В его замечательном фильме «Малышка Лили» по чеховской «Чайке» почти не осталось чеховских реплик (кроме львов, орлов, куропаток и всех жизней, всех жизней). При этом фильм остался очень чеховским: есть реплика, написанная Клодом для его героя, прославленного режиссера Бриса (Тригорина), про дурнушку Жанну-Мари (Машу) — а дурнушек у Миллера играла Жюли Депардь, она собрала всех «Сезаров» за эти роли второго плана. Французский Тригорин говорит французской Маше: «Я записываю все, что вы говорите. В кино часто бывает, что именно роли второго плана невозможно забыть...» Жанна-Мари (как и ее двойник в «Семейной тайне», также блистательно сыгранный дочерью Депардь) — самый притягательный персонаж. Ее героини никого не осуждают (когда так хочется). Они ближе всего к режиссерской точке зрения.

«Тригорин» в «Малышке Лили» уверен, что «Маша» — самый интересный персонаж. И Миллер в этом уверен, даже вероломно изменил финал, соорудив возмутительный хеппи-энд: оставил Треплева в живых, женил на Маше, заставил разлюбить Нину, стать успешным. И все ради Маши, человека второго плана. Но отвращения к счастливому финалу не возникает. Напротив, есть ощущение приближения к Чехову.

А в кино так часто бывает, что именно фильмы режиссеров второго ряда невозможно забыть...

ЛЕХАИМ ИЮНЬ 2012 СИВАН 5772 – 6(242)

НЕКРОЛОГ

АНАТОЛИЙ РАВИКОВИЧ: СМЕШНОЙ ЕВРЕЙ

8 ai daey a Nait eò-I àò adadua oi ad addeñò ÁI àò fèèè DaàeéIaè:.

У Равиковича на удивление гладкая биография — на первый взгляд. Более 60 ролей в кино и на ТВ, 25 лет работы в Театре им. Ленсовета в пору, когда этот театр был одним из ведущих в стране, и многолетний счастливый брак, который дал в свое время повод для сплетен и изрядно подпортил артисту жизнь. И не хочется думать о том, что любовь пришла в сорок, звездная роль в кино так и осталась единственной, а из родного театра пришлось уйти. Впрочем, актер повторял, что доволен всем, кроме здоровья.

Он родился 24 декабря 1936 года в Ленинграде и прожил в этом городе всю жизнь. Актером стал случайно: ребенком, чтобы завоевать расположение «дворовых», пародировал кино-артистов. Как-то его концерт увидела мама, в молодости мечтавшая о сцене. И отвела сына в драмкружок. В 1954 году Равикович поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кино. Поступление вышло громким: титулованные экзаменаторы — Райкин, Черкасов, Меркурьев, Хохлов — вынуждены были слушать бесконечный вой, в котором с трудом угадывалось «По долинам и по взгорьям». Репертуар абитуриенту подсказали «Владимир Иванович» и «Константин Сергеевич» — два старшекурсника, решивших поиздеваться над недотепой-абитуриентом. Все как в славном фильме «Приходите завтра», про Фросю Бурлакову, — так острили студенты в те времена.

После четырех лет в провинции Равикович попал в труппу к Игорю Владимирову, в которой уже блистала Алиса Фрейндлих. В партнерстве с ней Равикович сыграл первые громкие роли — в спектаклях «Угрошение строптивой», «Малыш и Карлсон», «Люди и страсти», «Интервью в Буэнос-Айресе» и др. В 1970-х годах в труппу театра пришли молодые Михаил Боярский, Сергей Мигицко, Ирина Мазуркевич. Разница в возрасте с Ириной больше чем в 20 лет и «несвободный» семейный статус ничего не изменили: между Равиковичем и Мазуркевич начался «служебный роман», закончившийся свадьбой.

Несмотря на положение премьера в одном из лучших театров СССР, в кино Равикович играл исключительно эпизоды. Смеясь, артист пояснял: с его фамилией и внешностью нельзя играть ни сталевара, ни колхозника, ни хорошего милиционера. Максимум — мелкого мафиози или гинеколога, а они главными героями не бывают. «Я ведь смешной еврей», — говорил он. О существовании артиста Равиковича страна узнала, только когда на экраны вышли «Покровские ворота» Михаила Козакова. Прозвище «Хоботов» прилипло к Равиковичу до конца дней. Сам же он относился к этой работе сдержанно, утверждая, что «сыграл бы позаквырестей», да Козаков не разрешил. И как же актера обижало, что его самого частенько отождествляли с мямлей Хоботовым. Героем Анатолий Юрьевич себя никогда не считал, но однажды врезал-таки по морде пьяному, поинтересовавшемуся, когда этот зануда-очкарик «свалит в свой Израиль». «И уж издеваться над любимой женщиной я никому бы не позволил», — добавлял он.

В конце жизни Равикович под давлением жены написал книгу, в которой вкусно и весело рассказал о своей жизни в послевоенном Ленинграде, работе в театрах и в кино. Книгу назвал категорично: «Продолжения не будет». Его пытались уговорить писать еще, он отнекивался. Правда, оговорился, что готов взяться за «Больничные рассказы», — за время, проведенное в больницах, накопилось много сюжетов. Но на них времени не хватило.

Ĭ àèŷ Āîĕ: àé

ЛЕХАИМ ИЮНЬ 2012 СИВАН 5772 – 6(242)

СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ

Ēdēî à Ĭ àé

Шавуот требует молочного стола. Во всяком случае, молочных десертов.



Молочное в еврейский праздник — не самый типичный вариант. Исключение — Шавуот, или Швуэс, как его называли ашкеназы, праздник Дарования евреям Торы на горе Синай. Молочных блюд в еврейской кухне множество — но не праздничных. Во времена, о которых мы думаем с умилением и ностальгическими слезами на глазах, в эпоху, когда традиции придерживались все, молочное евреи употребляли чаще мясного. Сырники и латкес были на каждый день, тогда как драгоценное мясо — исключительно в шабат.

Сегодня все переменялось, и мясо можно позволять себе чаще. Потому, видимо, и кошерные рестораны в Москве — мясные. Десерты там делают только парве, то есть без молока — на растительных составляющих, во что иной раз трудно поверить. В «Misada», например, меня кормили восхитительным мороженым — тоже без молока. Исключение в столице — лишь «Йона», молочный ресторан при синагоге в Марьиной роще. Здесь для читателей журнала «Лехаим» приготовили превосходный, совсем домашний медовик.

Кто-то удивится: разве медовик — еврейское блюдо? Представьте себе. Старый ашкеназский пирог так укоренился в русской кухне, что стал восприниматься как ее часть. Как библейские имена, навсегда вписанные в православные святцы. Что не отменяет еврейского происхождения имен и десерта, аналогу которому — многослойный торт с кремом — найдется в любой европейской стране.

Французы, например, называют его мильфёй (mille feuilles), в буквальном переводе — тысяча листьев, а мы скажем: тысяча слоев. Русский вариант мильфёя — торт «Наполеон» (приготовленный, кстати, французом в Москве в честь 100-летия победы в Отечественной войне 1812 года) предполагает слоеное тесто, но мильфёй может быть сделан необязательно из него. Медовик — тот же мильфёй, из теста, замешанного на меде. Безусловно, тот медовик, который вы попробуете в кофейне в пражском гетто, напротив старого Еврейского кладбища, будет несопоставим с одноименным тортиком из московского

супермаркета. Но тут все дело в технологии и ингредиентах. И во вдохновении, без которого нельзя подходить к плите.

Рецептов медовика много. Больше, чем пальцев на обеих руках. Причем, если тесто традиционно более или менее одно и то же — мука, мед, яйца и молоко, разве что кто-то добавит какао или кофе (не только в крем, но и в тесто) или изюм, крем может быть самым разным — сметанным, сливочным, а то и вовсе замешанным на сгущенном молоке. Меня, признаюсь, этот устаревший советский вариант коробит. Не ища легких путей, я последую примеру повара ресторана «Йона» Розы Панцхава — она начинила свой медовик заварным кремом. И подсказала его идеальный рецепт.

МЕДОВИК

Ἐλάσσεται οὐ: 450 ἄ ἰοαίε:-ίίε ἰ σέε, 2 γέσα, 200 ἄ ἡσάδα, 3 ἡοίεἰάα ἕἰαεε ἰ ἄἄ, 1 ἄεἰἄγ ἕἰαεε ἡἄἄ, 200 ἄἡεἄἡ:-ίίἄ ἰ ἄἡἄ

Ἀεἄ εἰἄ ἄ: 1 ἕ ἰ ἕἕἕἄ, 6 ἡοίεἰἄἡ ἕἰαεἕ ἰ σέε, 1 ἡἡἄἄ ἡἡἡἡ, 2 γέσα, 200 ἄ ἡεἄἡ:-ίίἄ ἰ ἄἡἄ, 1 ἰἄεἄεε ἄἡἕἕἡ ἡἡ ἡἡἡἡ (εεε ἄἡἕἕἡ ἄ ἡἡἡ:-εἄἡ), ἡἡἡἡἡ ἡἡἕ.



Начать приготовление можно с крема — пока он будет остывать, хватит времени, чтобы и тесто замесить, и коржи испечь. Муку надо по чуть-чуть всыпать в кастрюлю, в которую вы уже вылили пол-литра молока. Размешав содержимое (лучше миксером), всыпать сахар и вбить яйца. Вскипятив остальное молоко, понемногу, чтобы не было комков, разводить в нем полученную молочно-яично-мучную сладкую смесь. Туда же добавить немножко соли — сочетание сахара с солью, как учил меня один повар-француз, делает вкус ярче, и я неоднократно убеждалась в его правоте. Возвращаясь к крему: надо еще положить в него размягченное сливочное масло, всыпать немножко ванильного сахара (за неимением ванили в стручках), взбивать крем миксером и поставить на холод.



Пока крем будет остывать, самое время заняться тестом. Положить в кастрюлю мед, всыпать соду — чайную ложку с верхом — и поставить на небольшой огонь. Понемногу опускать в кастрюлю масло, когда оно совсем растает — всыпать сахар и размешать. Пузыри, которые начнут образовываться на поверхности, темный медовый цвет и узнаваемый карамельный запах просигналят вам, что пора снять кастрюлю с огня, разбить в эту массу яйца и всыпать, наконец, просеянную муку. Ее надо быстро размешать, замесить тесто, скатать шар и разделить его на пять равных частей — пять шариков, по числу коржей, каждый весом примерно 200 г. Смазать шарики растопленным сливочным маслом и размять каждый, слегка присыпая мукой, чтобы тесто не прилипло к рукам, в большой тонкий круг. Смазать сливочным маслом противни. Выкладывать на них коржи и выпекать их в нагретой до 160–180 градусов духовке 7–8 минут. Готовые коржи остудить, один из них пропустить через мясорубку — для обсыпки торта.



Коржи соединять друг с другом, щедро промазывая кремом. Сверху тоже выложить крем, посыпать крошками из измельченного последнего коржа и, насыпав крошки на ладонь, облепить ими торт с боков. Готовый торт сразу убрать в холодильник. И только завтра, когда хрустящие коржи пропитаются кремом и обретут нежность и мягкость, медовик можно будет есть.

МЕСТО ДЛЯ ВЫПАДАНИЯ

Ася Вайсман

«Он как Волошин... Волошин принимал у себя и белых, и красных, а Эли принимает и арабов, и евреев», — сказал кто-то мне на ухо. Дело было в 1990 году. Вначале мы ходили по музею: впечатляющая коллекция разнообразных черепков, фрагментов и целых артефактов. Всем этим трудно удивить туриста, который путешествует по Израилю, но здесь *אֵילִי אֲבִיבִי* как-то естественно вписывались в интерьер жилого дома. Эли Авиви, хозяин дома и директор музея, был человек с белой бородой и в белой хламиде. Тогда мы еще не знали, что это галабия, и хламида вызывала скорее антично-коктебельские ассоциации. В Иерусалиме в Старом городе вместо пестрого рынка были наглухо закрытые двери с угрожающе извивавшимися арабскими граффити. А у Эли Авиви — синее море, синее небо, пляж, а на нем — длинноволосые юноши и девушки (издали трудно понять, кто какого пола, и все периодически целуются друг с другом), еврейские пары с детьми и огромная арабская семья, состоящая из детей на две трети. Ровно посередине сидела полная матрона, явно глава клана, и курила гашиш.

Позже оказалось, что, съездив с друзьями в музей и на пляж, мы посетили государство Ахзив.

Эли Авиви родился в Иране в 1930 году, но уже в 1931-м его родители переехали в Страну, которая еще не была государством. Эли рос на юге Тель-Авива, в тринадцать лет ушел из дома, в пятнадцать — поступил в Пальмах, а в семнадцать отправился путешествовать, от Магриба до Баренцева моря. В 1952 году он вернулся в Израиль и решил, что пора писать книгу — мемуары о Войне за независимость и путешествиях. Как рассказывал сам Эли, в поисках уютного места, которое подарило бы ему вдохновение и покой, он наткнулся на Ахзив — недалеко от ливанской границы, в пяти километрах севернее Наарии.

Город с таким названием упомянут в Танахе:

עֵיטָא, יֹדֵד עֵ אֵטָא; עֹדֹאֵן, אֵטָא עֵ יֵאֵעָא; עֵאֵעָא, אֹרְעָא עֵ יֵאֲדֻעִיא — אֲאִיָּוִו אֲדִיָּאֵא אֵי אֵטָא עֵ עֹ (עֵאֵיֹוֹא 15:42-44; עֵ יֵאֲדֹא-עֵאֵאֹו אֲדִיָּעֹא יֵא דֵאֵי אֵי עֵדֵאֵי עֵאֵי יֵאֵ אֲדִיָּאֵא אֹדֹא, עֵ יֵאֲדֹא-עֵאֵאֹו אֲדִיָּעֹא עֵ אֵיָּא, עֵ יֵעֵאֵי-עֵאֵאֹוֵי יֵאֵ אֵי יֹדֵי; אֵ יֵעֵאֵיֹו עֵ אֹרְעָא (עֵאֵיֹוֹא 19:29).

Во времена Второго храма на месте нынешнего Ахзива обитала крупная еврейская община. В Вавилонском Талмуде рассказывается, что в Ахзиве жили ученики рабби Акивы. Позже там, конечно, была крепость крестоносцев, а еще позже — арабская христианская деревня Аз-зиб, жители которой в 1948 году, когда деревня была захвачена «Хаганой», убежали в Сирию.

Эли Авиви поселился в бывшем доме мухтара Ахмада Хусейна Атийи и начал реставрацию этого и соседних зданий. Дом мухтара прирос вторым этажом и превратился в музей Ахзива, а заодно в резиденцию Эли. Он оперативно съездил в Хайфу, оформил аренду земли на 99 лет и принялся за археологические раскопки. Некоторым экспонатам музея более трех тысячелетий. Они лежат в открытых витринах — все на уровне глаз, все можно рассмотреть, потрогать и сфотографировать.

В конце 50-х и в 60-х и 70-х годах дом Эли Авиви был очагом притяжения для божемной молодежи. Все, кто вспоминает те времена, говорит об ощущении свободы, которое охватывало буквально каждого в этом нагруженным историческими ассоциациями месте. Видимо, свобода была у Эли внутри — то ли от рождения, то ли от его своеобразного и богатого жизненного опыта, — и он, будучи харизматической личностью, наделил ею все вокруг. На территории Ахзива устраивали рок-концерты, фестивали и хеппинги. Эли давал убежище молодым людям, которые хотели уйти из дома и где-то укрыться.

Власти, увидев, что место перспективное, решили разбить в окрестностях Ахзива национальный парк.

Отчасти в ответ на это в 1971 году Эли Авиви и его жена Рина и провозгласили Мединат Ахзив — государство Ахзив. Президентом избрали Эли. Утвердили государственную идеологию (служение морю, песку, любви и Богу), официальный гимн (шум волн) и язык (язык природы), начали выпуск паспортов. Туристам ставили в паспорта штампы, свидетельствующие о посещении Ахзива. Штампы эти, понятное дело, стали объектом коллекционирования. Ходят слухи, что Эли однажды ездил с ахзивским паспортом в Египет и никаких проблем не возникло.

Зато были проблемы с израильскими властями, которые стали жалеть о разрешении на долгосрочную аренду. В какой-то момент Эли вроде бы даже арестовали. Но он неизменно улаживал все неприятности, пользуясь своими связями и — возможно — обаянием. Государство Ахзив со временем оставили в покое, что означало молчаливое признание. Заезжали туда и знаменитости — Софи Лорен например. Но имидж Ахзива создавала неформальная молодежь.

В мире существует множество самопровозглашенных государств (они же *virtual states*). Считается, что они имитируют черты государственности, но не обладают ими в полной мере. Но многие «настоящие» государства тоже начинали с имитации, только игра часто выходила драматическая и кровавая. А вот Дикеополь, герой комедии Аристофана «Ахарняне», единолично заключил мир со Спартой — для себя, своей жены и детей — и весьма преуспел, на зависть более воинственным и принципиальным согражданам. История же Ахзива — очень еврейская, и Эли Авиви — фигура очень еврейская и израильская, несмотря на свой интернационализм. Он старше Израиля, выросл вместе с ним, сражался за него, уехал, вернулся (совершив тем самым вторую, уже сознательную, алию) и наконец нашел свое место — в Израиле и одновременно вне его. Он объявил синагогой, в которую он не хочет ходить, весь Израиль, но при этом создал свою синагогу, куда может прийти кто угодно.

Эли Авиви с семьей Бен-Йосеф. 1985Илана Бен-Йосеф впервые посетила Ахзив в 80-х годах. Ее семья подружилась с президентом Эли и несколько раз наносила ему визиты. Вот что она вспоминает:

«Первый раз мы были там году в 84-м. Попали случайно — проезжали мимо и увидели вывеску "Мединат Ахзив", "Государство Ахзив". Вообще-то у нас были дела, но нам стало любопытно. Поднялись, постучали, из-за ворот выбежали собаки и стали на нас лаять, потом вышла Рина и позвала Эли.

Мы увидели место обалденной красоты. Действительно — заходишь за ворота и попадаешь в другой мир, как будто в другую страну.

У нас в тот раз даже не было палатки, мы ведь ничего такого не планировали. Жили в доме Эли, у него были такие даже не комнаты, а какие-то подземные залы с матрацами на полу. Туалет — в будке. Тогда еще не было электричества — вечером зажигали свечки, а готовили на керосинках.

Мы провели там два дня. Со всех сторон разные люди, добровольцы из Израиля и из-за границы, копали землю: занимались археологическими раскопками и жили за это в Ахзиве бесплатно. И сейчас можно договориться и приехать.

Эли очень любит древности. В Акко у него есть магазинчик, где он с большим трудом расстается с некоторыми предметами.

Потом оказалось, что он может поставить в паспорт печать своего государства, и в следующий раз мы взяли с собой паспорта и палатки, чтобы остаться на несколько дней.

Эли долго боролся с государством, чтобы сделать индивидуальное, своеобразное место. Там действительно особенная энергия, другой мир, как будто ты — часть всех этих древностей. Это разлом во времени. Место для выпадания.

Эли Авиви и Йонатан Бен-Йосеф. 1988 Лет 15–20 назад он сдался, ему провели электричество, и он поставил прямо на улице холодильники. А на крыше его дома есть огромная трапезная. Мы хотели в этом году сделать там семейную встречу.

А еще наверху — пристройка из дерева, похожая на капитанский мостик.

По вечерам народ собирается у костра. Самые разный народ. К Эли ездила и молодежь, и семейные люди, и хиппи, и религиозные, как мы.

А территория в Ахзиве большая, и можно ни на кого не наткаться. Выходишь за ворота с другой стороны — и скатываешься на пляж. Там заводи, где совсем нет волн, и детям безопасно купаться.

Потом Эли начал строить циммеры. Да, он пытается заработать, но не гонится за деньгами в ущерб, как бы это сказать... вальяжности. Не стремится завлечь к себе как можно больше людей. Хотя людей он всегда любил. И был похож на пророка Элияху, потому что обычно ходил в галабии, разве что для поездок в город надевал джинсы».

В последние годы Эли, по слухам, несколько сдал, но обязанностей правителя с себя не слагает. Наследников у него нет. Музей процветает. В Ахзиве играют свадьбы. Его любят фотографы и вольные туристы, не связанные временными рамками и экскурсионной программой. Время хиппи, видимо, все же уступило место времени циммеров. Люди, побывавшие в Ахзиве в последние годы, жалуются на непривычные современному человеку спартанские условия, но хвалят пляж, которому по-прежнему нет равных.

СК: Картина мира современных людей, в том числе ваших студентов, существенно отличается от средневековой, и многие представления кажутся далекими от реальности, нуждаются в «переводе» на более доступный, может быть, более прагматичный язык. Как преодолеть этот разрыв?

МХ: Преподавание таких дисциплин, как философия, призвано расширить горизонты студентов, обогатить их воображение, а не дублировать картину мира, приводя материал в соответствие с ней. В принципе, эту цель должно преследовать любое образование, и я с большим подозрением отношусь к идее «релевантности» знаний. Чтобы вовлечь студентов в изучение средневековой еврейской мысли, надо поставить перед ними вопрос: «Что беспокоит автора, чем он озабочен? Что ему нужно? К чему он ведет?» Если имеешь дело с серьезным мыслителем, то посредством таких вопросов дойдешь до сути, которая окажется весьма интересной независимо от того, согласен ты с автором или нет. Настоящая философия — это, по словам Пьера Адо, «духовное упражнение», с помощью которого человек пытается разобраться с основными проблемами своего существования, и это наблюдение справедливо для любой эпохи. Не следует «поднимать» или «опускать» текст до уровня студента, следует познакомить студента с миром мыслителя, отправив его вслед за автором на поиски истины.

СК: А есть ли разница между американскими и израильскими студентами?

МХ: Американские студенты больше ориентированы на получение профессиональных знаний и навыков. Поступающие в университеты «Лиги плюща» хорошо пишут, дисциплинированы и широко эрудированы. Израильские студенты, как и страна в целом, не отличаются профессионализмом. Лучшие из них учатся на уровне лучших студентов в любой другой точке мира — и в каком-то смысле им повезло оказаться в израильской культурной среде с ее непрофессионализмом и неформальностью, в среде, которая поощряет импровизацию и изобретательность. Но это не подходит обычным студентам, которым для успешного обучения нужны иерархия, дисциплина, определенные навыки. Сильно преувеличивая, можно сказать, что в Америке все читают задание, но молчат, а в Израиле никто не читает, но все высказываются. Кто-то остроумно заметил однажды, что в Израиле нет второсортных людей, есть только первосортные и третьесортные; то же самое можно сказать о студентах.

СК: Какой области исследований вы отдаете предпочтение?

МХ: Диссертацию я писал по Талмуду и мидрашам. Меня интересовал вопрос, в какой степени алахическая интерпретация обуславливается ценностными суждениями законоучителей, каким образом новые взгляды интегрируются в процесс интерпретации канонического текста и определяют содержание закона*. Например, если в Торе сказано, что нужно убить всех жителей города, поклоняющегося идолам, распространяется ли это повеление на детей? Вправе ли интерпретатор сказать, что несправедливо убивать невинных детей, и трактовать стих в соответствии со своим представлением о правосудии?

Меня по-прежнему интересуют талмудические исследования и философия алахи и наряду с ними — история средневековой еврейской мысли и каббалы. Я не согласен с тем, что нужно разделять изучение каббалы и философии. Это единый, взаимосвязанный мир. Я, например, написал работу о Нахманиде, посвященную его алахическим и каббалистическим идеям** ; в другой моей книге рассматривается проблематика «сокрытия» в средневековой еврейской мысли***. Парадоксальным образом, еврейская эзотерическая традиция была средством интеграции внешних влияний в культуру евреев, и моя книга строится вокруг этого. Тайное знание охраняют с особой тщательностью, и в Мишне специально оговаривается, кому и при каких обстоятельствах можно его передать. Однако, по сути, оно становится безграничным. Посредством тайного знания еврейская традиция могла «расширяться», включать в себя новые области — каббалу, философию, астрологию. Вместе с тем эзотеризм позволял сосуществовать совершенно разным мирам, пока они сохраняли свою «секретность». Например, в синагоге Нахманида и среди его учеников встречались самые разные люди: каббалисты, традиционалисты, приверженцы философии — и все они считали друг друга еретиками, но, пока это оставалось секретом, уживались друг с другом. Культурные войны XIII века, полемика вокруг наследия Маймонида и каббалы, в особенности в Провансе****, стали результатом исчезновения сдерживающего фактора «секретности».

Проблематика секретности и прозрачности сохраняет свое значение и в наше время. Так, эзотеризм Маймонида базировался на одном из платонических постулатов — о том, что политические структуры не могут существовать в атмосфере прозрачности, а если людским массам сообщить правду, наступит конец общественного порядка. В эпоху Просвещения с ее культом Разума концепт «массы» утрачивает актуальность, однако вопрос, в какой степени «миф» является неотъемлемой частью нашей политической жизни, остается. В армии я часто спрашивал себя: если бы обе стороны знали со стопроцентной очевидностью обо всех решениях, которые привели их к военному противостоянию, сколько человек вышли бы на передовую? Мы на самом деле пре-одолели платоническое представление о взаимоотношениях масс и элит или наш миф состоит в том, что у нас больше нет мифов?

СК: Отталкиваясь от темы идолопоклонства***** в интерпретации Маймонида, вы приходите к проблеме «идолов разума», к проблеме обожествления концепций и идей. Каким «идолам разума», на ваш взгляд, человечество поклоняется сегодня?

МХ: В каком-то смысле идея организованного, централизованного государства стала предметом такого поклонения в Новое время. Многое в мировой политике XX века было следствием обожествления политических сил и процессов, и множество человеческих жертв было принесено во имя политической власти. Аналогичное явление наблюдается в сфере религии. Например, считается, что и иудеи, и мусульмане утверждают внемирность Б-га и верят, что Храмовая гора в Иерусалиме — это пространство, манифестирующее Его трансцендентность. Однако на деле имеет место фетишизация данной территории, поклонение месту. Некоторые представители обеих религий рассуждают так: «Если это место свято для меня, оно мое», и они готовы принести в жертву целое поколение, чтобы сохранить его в своей собственности.

СК: Вы часто публично выступаете в защиту либеральных ценностей, мультикультурализма, в защиту еврейского демократического государства. Тем временем на Западе многие евреи и неевреи выступают с резкой критикой Израиля, устраивают бойкоты израильской продукции, выступлений израильских артистов и т. п.

МХ: Следует отличать несогласие с современной израильской политикой по тем или иным вопросам, которые имеют место и внутри самого израильского общества, от отказа Израилю в праве на существование. Меня тревожат именно попытки сделать из Израиля государство-парию и лишить его легитимности. Западные критики Израиля представляют его оплотом колониализма и национализма, как если бы государства Европы не были, по большому счету, национальными, а Европейский союз не противился, например, попыткам Турции присоединиться к нему. Такое отношение к Израилю несправедливо и исторически не оправдано, равно как и уподобление сионизма колониализму. Колониализм отличают два принципиальных момента: во-первых, государство распространяет свои границы на территорию, которая ему не принадлежала; во-вторых, оно отчуждает экономические излишки в свою пользу. У евреев не было государства, зато имелаась глубокая историческая связь с землей, на которой оно было создано, и сионисты сами добивались экономического роста, а не отнимали прибыль у нееврейского населения. Так что здесь мы имеем дело с переносом на Израиль чувства вины за собственную колониальную политику.

Это не значит, что в Израиле нет проблем. В самом факте наличия у евреев государства я вижу важнейший духовный вызов иудаизму, и на этот вызов еще не был дан адекватный окончательный ответ. Я не хочу, чтобы государство диктовало нам, как соблюдать шабат и т. д., — иначе страдает не только демократия, но и иудаизм. Слияние религии и государства в Израиле разлагает религию изнутри, настраивает против нее множество граждан. Приведу частный пример: в районе, где я живу, работает очень хороший раввин, но его мало кто знает, так как он был назначен на должность государством и не является органичной частью общины. Принципиально важно, чтобы в иудаизме утвердился принцип, провозглашенный Джоном Локком в «Послании о веротерпимости»: религиозное деяние, совершаемое не по внутреннему убеждению, лишено религиозного содержания. И если государство заставит всех евреев соблюдать шабат, это не будет являться соблюдением шабата, а будет принудительным выполнением государственного приказа. Свобода не угрожает религии, так как подлинная религия может существовать только в условиях свободы, и в истории еврейской культуры были и есть люди, отстаивающие эту идею, не в последнюю очередь Моисей Мендельсон. Но сможет ли иудаизм преодолеть соблазн воспользоваться аппаратом государственного принуждения с целью навязать себя? Если нет, то, по моему глубокому убеждению, это уничтожит и иудаизм, и Израиль.

Современная еврейская идентичность начиная с XIX века буквально разрывается между двумя определениями еврейства. Одно, национальное, видит еврейство, прежде всего, как солидарность, готовность разделить судьбу и внести свой вклад в благосостояние еврейского народа, и это разительно отличается от существовавшего прежде определения еврея как человека, который принадлежит к нормативной религиозной традиции и соблюдает заповеди. Еврейское государство — это выражение современного еврейского национализма, и с данной точки зрения главным критерием должна быть именно солидарность. Чтобы ощутить реальность и глубину этого разрыва, достаточно вспомнить случай со Львом Пейсаховым, израильским солдатом русского происхождения. Он погиб и должен был быть похоронен на военном кладбище, но его мать не была еврейкой. Думаю, для многих израильтян, стоящих на позициях национальной модели идентичности, этот молодой человек был евреем, независимо от того, что говорит об этом «Шульхан арух». Он приехал в Израиль, чтобы разделить судьбу еврейского народа, и пожертвовал самым дорогим — своей жизнью — ради своего народа.

У этой проблемы есть еще один важный аспект. Если идея Закона о возвращении состоит в том, чтобы все евреи чувствовали себя в Израиле как дома, то, когда речь заходит об обращении в иудаизм, признание государством только ортодоксальных гиоров выглядит совершенно нелепо, поскольку отчуждает от Израиля евреев, принадлежащих к реформированному и консервативному течениям. Попытка отстранить две трети еврейского населения планеты как чужестранцев обречена на провал. Для государства приоритетными должны быть солидарность и всеохватность, а вопрос о сущности иудаизма не в его компетенции.

Еще одна проблема — это отношение к нееврейскому меньшинству в Израиле. В свое время это была реакция на преследования евреев, но пользоваться языком «слабого» теперь, находясь в позиции «сильного», очень опасная игра. Когда мы сами были таким меньшинством, мы добивались уважения и самоопределения, в которых сейчас отказываем другим. За свою жизнь я не раз становился свидетелем того, как любое злодеяние можно оправдать с помощью библейского стиха, цитаты из Талмуда или другого авторитетного источника. Но в еврейской традиции также есть голоса, которые говорят нам, что исключительность евреев состоит не в превосходстве над остальными, а в том, как мы предстаем перед Б-гом.

Подлинная любовь к своей традиции и культуре не нуждается во внешних опорах, в риторическом утверждении своего превосходства и отказе от Другого. Думаю, многие израильтяне понимают, что будущее Израиля как еврейского демократического государства в опасности и что единственный выход из положения — способствовать созданию палестинского государства. Если не будет палестинского государства, у нас, возможно, будут более безопасные границы, но постепенно мы превратимся в сообщество, которое попросту не стоит того, чтобы его оборонять.

СК: Каково будущее философии и должна ли у нее быть какая-то политическая миссия?

Маймонид, например, вслед за Платоном считал, что, в идеале, управлять государством должны именно философы.

МХ: Человек — животное вопрошающее, и философия не исчезнет из нашей жизни потому, что не исчезнут базовые вопросы, которые мы себе задаем. Общество, построенное на материализме и практицизме, рано или поздно поставит под вопрос свои ценности и свое устройство. Так что заблуждается тот, кто говорит, что для поддержания стабильности достаточно хлеба и зрелищ.

Собственно концепт царя-философа мне не нравится. Я слишком хорошо знаю философов и знаю, что занятия философией не ведут к автоматическому преодолению человеческих недостатков и слабостей. Следует опасаться философов у власти. Платон и Маймонид, на мой взгляд, были правы в отношении масс, но заблуждались насчет элит.

ЭТИ ПОДЛЫЕ СЕМИДЕСЯТЫЕ.

Стругацкие. Материалы к исследованию: письма, рабочие
дневники. 1972–1977

Издательство: ПринТерра, 2012

Dī ài Àdàèdì ài

Эта книга должна была выйти приличным тиражом в Москве, но вышла крохотным и в провинции. А могла бы совсем не выйти. Столичное издательство «АСТ», которое выпустило первые два тома новой серии (составители Светлана Бондаренко и Виктор Курильский), похоже, утратило интерес к проекту и пустило все на самотек.

Между тем у серии этой аналогов нет и не просматривается. И не только потому, что уникальна сама исследовательская группа «Люденъ», которая вот уже много лет занята публикацией и комментированием литнаследия Стругацких. Исторически сложилось так, что старший из соавторов, Аркадий Натанович, жил в Москве, а младший, Борис Натанович, — в северной столице (живет там и поныне). Поскольку междугородняя телефонная связь во второй половине XX века оставляла желать много лучшего, а Интернет и Скайп еще не изобрели, единственным надежным способом коммуникации оставалась обычная почта — как во времена Пушкина и Гоголя. В архиве фантастов сохранилось более тысячи (!) писем друг к другу, а если присовокупить к этому еще и переписку с издателями и коллегами, то едва ли не каждая неделя Стругацких может быть изучена. Читатели получают редкую возможность увидеть изнутри все стадии творческой работы фантастов — от зарождения идеи до ее практического воплощения.

Период с 1972 по 1977 год наиболее интересен: в то время создана одна из самых оригинальных повестей Стругацких «За миллиард лет до конца света». Тогда же началась работа над концепцией фильма «Сталкер» — не обошлось тут без проблем, причем отнюдь не только творческих. «Имейте в виду, что Стругацкие — сложные люди, — страшал Тарковского главный советский киноначальник Филипп Ермаш. — В сценарии для детской киностудии... они протаскивают сионистскую идею о том, что все евреи должны вернуться к себе на родину и воевать за ее интересы». Так интерпретируется сюжет «Парня из преисподней», и попробуй-ка объясни, что повесть о юноше с планеты Гиганда не про это...

На те же годы приходятся несколько наиболее драматических эпизодов в биографии писателей. После ареста в Ленинграде Михаила Хейфеца, друга Бориса Натановича, младшего из братьев впервые допрашивают в Большом доме (Хейфец был арестован за предисловие к самиздатскому собранию сочинений Бродского). После публикации на Западе повести Стругацких «Гадкие лебеди» шансы напечатать ее в СССР падают до нуля (да и книгу «Град Обреченный», которая только пишется, ожидает та же участь — авторы, впрочем, сами это осознают).

«Стало известно, что Казанцев и Колпаков написали чудовищно мракобесные доносы, — сообщает Аркадий Борису. — Суть — сионисты в фантастике заедают православных, с одной стороны, а с другой — интеллектуалы отлучают от издательств партийных. Бред, но отвратно». Беда была не в том, что подобные опусы сочинялись, а в том, что они находили чиновных читателей, готовых «изучать сигналы с мест» и «принимать меры». Начинается эпоха мягкого удушения Стругацких: книги удаляют из тематических планов издательств, повести выбрасывают из сборников, под разными предлогами торпедируются большинство их попыток пробиться в кино (хоть в научно-популярное, хоть в мультипликационное). Не все знают, что идею фильма по роману братьев-фантастов Алексей Герман вынашивал еще четыре десятилетия назад. Тщетно. Борис Натанович пишет брату: режиссер «хотел бы снимать ТББ [“Трудно быть богом”], но полагает, что сейчас сочетание Герман — Стругацкие может привести только к приступу падучей у начальства».

Даже беглый взгляд на библио-графию Стругацких позволяет понять: все семидесятые для них — самое подлое, самое «тухлое», самое «гнилое» время. В иные годы не выходит ни одной книги, даже переизданий, хотя спрос на их произведения колоссальный, и редкие публикации в «тонких» журналах ходят по рукам, перепечатываются на машинках, ксерокопируются. Стругацкие есть, но их как бы нет. Они не запрещены, но в то же самое время и не вполне разрешены. Дело доходит до того, что в какой-то момент им удается не впасть в совсем уж унижительную бедность только благодаря переводам их книг за рубежом. Наша страна, конечно, забирает в казну три четверти гонораров, но хоть сколько-то доходит и до писателей.

Немецкий переводчик Эрик Симон, приехавший в СССР как раз в середине 1970-х годов, вспоминает: «Атмосфера была явно тягостная, все чего-то боялись, в частности выдать информацию, которую могли бы использовать против них, причем впечатление было такое, что это может касаться буквально любой информации». Пущен слух, что братья подали заявление на выезд в Израиль, германскому гостю шепотом рассказывают о новой вещи Стругацких: «их враги начинают кампанию против сего произведения». Речь идет

о повести «Пикник на обочине». Несмотря на то, что она была опубликована в журнале «Аврора», издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия» (откуда были изгнаны либералы, а у руля встали национал-патриоты) делает все возможное и невозможное, чтобы книжное издание — несмотря на договор — никогда не состоялось. Будут увертки, отговорки, километры переписки с инстанциями, сотни идиотских и унижительных замечаний, явно рассчитанных на то, чтобы следование им было заведомо невозможным... Книга будет все-таки выпущена — но с такими проволочками, что год ее издания окажется уже за пределами рецензируемого тома.

АВТОРЫ НОМЕРА

РОМАН АРБИТМАН (р. 1962)

литературный критик. Автор «Истории советской фантастики» (под именем доктора филологии Р. С. Каца) и детективных романов (под маской Льва Гурского).

АСЯ ВАЙСМАН

филолог-востоковед. Редактор сайта «Букник». Преподает в ИСАА МГУ и проектах центра «Сефер».

МАЙЯ ВОЛЧЕК

историк, журналист, кинокритик. Публиковалась в журналах «Цветной телевизор», «GQ», в газете «Труд» и др.

ЕВГЕНИЯ ГЕРШКОВИЧ

историк изобразительного искусства и архитектуры, арт-критик, журналист. Автор книг «Высокий сталинский стиль», «Агитлак».

ИШАЙЯ ГИССЕР (Р. 1961)

раввин, автор книг и статей, ведущий научный сотрудник Института изучения иудаизма в СНГ, заведующий кафедрой иудаики Международного института «XXI век».

МИХАИЛ ГОЛЬД (р. 1972)

журналист, главный редактор журнала «Мост» (Киев), заместитель главного редактора газеты «Еврейский обозреватель».

МИХАИЛ ГОРЕЛИК (р. 1946)

эссеист, публицист, литературный критик.

ХАИМ ГРАДЕ (1919–1982)

один из крупнейших еврейских писателей XX века. Писал на идише. Получил светское и традиционное еврейское образование. Дебютировал как поэт, был членом литературной группы «Юнг Вильне». Автор сборников стихотворений, рассказов и романов «Безмужняя жена», «Цемах Атлас», «Немой миньян».

АЛЛЕГРА ГУДМАН

американская писательница. Автор романов «Катерскиллские водопады», «Парадиз-парк», «Интуиция», «Другая сторона Острова» и др. Рассказы А. Гудман постоянно печатает журнал «Нью-Йоркер».

ДАНИЛА ДАВЫДОВ (р. 1977)

филолог, поэт, прозаик и литературный критик. Лауреат премии «Дебют» (2000).

ЮЛИЯ ИДЛИС

журналист, писатель. Редактор отдела культуры еженедельника «Русский репортер». Автор сборников стихов («Сказки для...», «Воздух, вода») и книги «Рунет: сотворенные кумиры». Танцует танго.

АЛЕКСАНДР ИЛИЧЕВСКИЙ (Р. 1970)

прозаик, поэт; лауреат премий им. Ю. Казакова (2006), «Русский Букер» (2007), «Большая книга» (2010).

АРКАН КАРИВ (1963–2012)

писатель, автор книг об израильском сленге, триллера (вместе с Антоном Носиком), романов «Переводчик», «Однажды в Бишкеке».

МАРИНА КАРПОВА

преподаватель, переводчик, автор учебно-методических пособий по преподаванию еврейской традиции и классических текстов.

БОРИС КЛИН (р. 1970)

журналист, специальный корреспондент «ИТАР-ТАСС». Лауреат премии ФЕОР-«Человек года — 2006».

ЗОЯ КОПЕЛЬМАН

филолог, переводчик (Ш.-Й. Аг-нон, Й. Амихай, Й.-Х. Бреннер). Автор работ по ивритской литературе, преподаватель Открытого университета Израиля.

ГЕННАДИЙ КОСТЫРЧЕНКО (Р. 1954)

историк, старший научный сотрудник Института российской истории РАН. За монографию «Тайная политика Сталина. Власть и антисемитизм» был удостоен ФЕОР звания «Человек года — 2003».

МИХАИЛ ЛИПКИН (р. 1966)

переводчик с английского и иврита («Пять отцов-основателей сионизма» Бенциона Нетаньяху).

АЛЕКСАНДР ЛОКШИН (р. 1950)

историк. Автор статей и публикаций по истории и культуре евреев России и СССР.

ВЛАДИМИР МАК (р. 1955)

музыкальный критик, продюсер, экскурсовод.

ИРИНА МАК

журналист, публиковалась в «Известиях», «Vogue», «Time Out», на сайте «OpenSpace» и др.

АФАНАСИЙ МАМЕДОВ (Р. 1960)

писатель, журналист. Лауреат премий им. Ю. Казакова (2007), им. И. П. Белкина (2010).

АЛЕКСЕЙ МОКРОУСОВ (Р. 1965)

литературный и художественный критик, сотрудничает с журналами «Синий диван», «Теория моды», газетой «Ведомости». Арт-обозреватель «Известий».

ДАНИЭЛЬ НЬЮМАН (р. 1981)

колумнист, независимый интернет-разработчик.

АДА ШМЕРЛИНГ

театральный критик, обозреватель газеты «Известия-Неделя».

АДИН ШТЕЙНЗАЛЬЦ (р. 1937)

раввин, педагог, ученый, почетный доктор ряда университетов Израиля и США. Основатель Института изучения иудаизма (1990). В 1988 году удостоен высшей награды еврейского государства — Премии Израиля.

МИХАИЛ ЭДЕЛЬШТЕЙН (р. 1972)

филолог, литературный критик, заведующий редакцией биографического словаря «Русские писатели». Сотрудничает с «Русским журналом», «Знаменем», «НЛО», газетами «Русская мысль» и др.